

Независимый альманах

КОНЕЦ ВЕКА





Литературный альманах "КОНЕЦ ВЕКА" учрежден молодыми писателями Москвы. В 1991 году выйдут шесть его номеров. Мы возвращаем запрещенные цензурой имена и открываем новые таланты. Желающие читать "КОНЕЦ ВЕКА" № 3! Наш расчетный счет № 609871 в Дзержинском отделении ЖСБ г. Москвы, МФО 201638. Перечислив 9 рублей на наш счет (цена номера, стоимость справочных материалов о будущих номерах и книжных приложениях, а также почтовых расходов по доставке), копию сбербанковской платежки высылайте, пожалуйста, по адресу: 103055, Москва, К-55, аб. ящик 95. К сведению деловых людей! Искусственный бумажный "голод" тормозит выход отдельных номеров альманаха "КОНЕЦ ВЕКА", мешает сделать его периодическим! Предлагаем взаимовыгодное сотрудничество! Помогая защищать свободу слова, вы защищаете право на свой выбор! Приглашаем к сотрудничеству книготорговые организации!

ISSN 0868 - 8591

Независимый литературно-художественный и общественно-политический альманах “КОНЕЦ ВЕКА”.

Выходит с января 1991 года.

Над номером работали:

Юрий КАЛЕЩУК

Владимир ЛОКТИОНОВ

Александр НИКИШИН

(главный редактор альманаха)

Виталий САВЕНКОВ

Игорь ШЕИН

(главный художник)

Виктория ШОХИНА

К сведению уважаемых авторов! Наш адрес: 103055, Москва, К-55, абонентный ящик 95. Рукописи, представленные к рассмотрению, не рецензируются и не возвращаются.

При перепечатке ссылка на “Конец века” обязательна.

© Независимый альманах
“Конец века”. 1991.

с СП «ИНТЕРБУК»

ПИСЬМО РУССКОГО ОФИЦЕРА К ЦАРЮ

“Государь!

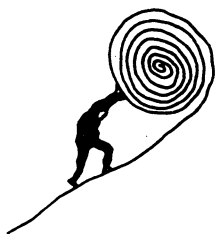
Прости мне, что я, офицер русской армии, осмеливаюсь написать тебе это письмо. Я бы охотно сказал тебе свое имя и еще охотнее лично высказал бы тебе все, что накопело, — если бы ты любил правду, если бы возможна была в твое царствование правда на Руси.

Зачем, Государь, ты заставляешь нас, военных, клятвопреступничать? Ведь мы давали присягу служить царю и отечеству; зачем же ты заставляешь нас идти против отечества? Неужели ты думаешь, что твой отец и ты сумели настолько ослабить нас военным воспитанием, что заставили вполне забыть, что есть правда и что — преступление? Неужели ты уверен, что, когда ты заставляешь нас стрелять в несчастных, голодных и обираемых рабочих и крестьян — наших братьев; когда заставляешь нас, в качестве полиции, вытравлять все молодое, светлое и живое в столицах и провинции, и мучить в крепостях, по заранее составленной программе, людей за то, что они просят правды и человеколюбия, — мы делаем это, не давая себе отчета? Какой же смысл имеет наша присяга, когда ты же заставляешь ее нарушать самым беззащитным образом!

Я исполнил свой долг, Государь, высказав тебе всю правду; я знаю, что далеко не все офицерство разделяет мои взгляды, особенно из числа обеспеченной и лживо воспитанной ее части; однако ручаюсь, что многие, очень многие одинаково со мною смотрят, несмотря на тщательное военное воспитание. Напрасно, Государь, ты будешь придумывать средства задушить правду, — ни в народе, ни в армии тебе этого не достигнуть, так как правда всегда правдой останется, пока есть в человеке мозг и живая душа, — и она возьмет свое.

Офицер“.

КОНЕЦ БЕКА



ВИКТОР СУВОРОВ

АКВАРИУМ

“Аквариум” Виктора Суворова написан от лица перебежчика, человека, изменившего воинской присяге. Книга, вернувшись из-за бугра, стала самиздатовским гимном Советской Армии. Консультант из ГРУ, Главного разведывательного управления, чью фамилию не указываем по его просьбе, считает: “Аквариум” не содержит военных тайн, в книге много вымысла и лихого авторского трепа, но книга “за” Армию, а не “против”. “Не желающий кормить свою армию обречен кормить чужую”, — пугают нас охранители своей, уставной, правды. Что ж, читатель сам сможет оценить, как можно писать на “военную тему”, если на глотке автора нет цензорской петли.

ПРОЛОГ

— Закон у нас простой: вход — рубль, выход — два. Это означает, что вступить в организацию трудно, но выйти из нее — труднее. Теоретически для всех членов организации предусмотрен только один выход из нее — через трубу. Для одних этот выход бывает почетным, для других — позорным, но для всех нас есть только одна труба. Только через нее мы выходим из организации. Вот она эта, труба... — Седой указывает мне на огромное во всю стену окно. — Полюбуйся на нее.

С высоты девятого этажа передо мной открывается панорама огромного бескрайнего пустынного аэродрома, который тянется до горизонта. А если смотреть вниз, то прямо под ногами лабиринт песчаных дорожек между упругими стенами кустов. Зелень сада и выгоревшая трава аэродрома разделены несокрушимой бетонной стеной с густой паутиной колючей проволоки на белых роликах.

— Вот она... — Седой указывает на невысокую, метров в десять, толстую квадратную трубу над плоской смоленой крышей. Черная крыша плывет по зеленым волнам сирени, как плот в океане или как старинный броненосец, низкобортный, с неуклюжей трубой. Над трубой вьется легкий прозрачный дымок.

— Это кто-то покидает организацию?

— Нет, — смеется седой. — Труба — это не только наш выход, труба — источник нашей энергии, труба — хранительница наших секретов. Это просто сейчас жгут секретные документы. Знаешь, лучше сжечь, чем хранить. Спокойнее. Когда кто-то из организации уходит, то дым не такой, дым тогда густой, жирный. Если ты вступишь в организацию, то и ты в один прекрасный день вылетишь в небо через эту трубу. Но это не сейчас. Сейчас организация дает тебе последнюю возможность отказаться, последнюю возможность подумать о своем выборе. А чтобы у тебя было над чем подумать, я тебе фильм покажу. Садись.

Седой нажимает кнопку на пульте и усаживается в кресло рядом со мной. Тяжелые коричневые шторы с легким скрипом закрывают необъятные окна, и тут же на экране без всяких титров

вступлений появляется изображение. Фильм черно-белый, старый и порядочно изношенный. Звука нет, и оттого отчетливее слышно стрекотание киноаппарата.

На экране высокая мрачная комната без окон. Среднее между цехом и котельной. Крупным планом — топка с заслонками, похожими на ворота маленькой крепости, и направляющие желоба, которые входят в топку, как рельсы в туннель. Возле топки люди в серых халатах. Кочегары. Вот подают гроб. Вот оно что! Крематорий. Тот самый, наверное, который я только что видел через окно. Люди в халатах поднимают гроб и устанавливают его на направляющие желоба. Заслонки плавно разошлись в стороны, гроб слегка подтолкнули, и он понес своего неведомого обитателя в ревущее пламя. А вот крупным планом камера показывает лицо живого человека. Лицо совершенно потное. Жарко у топки. Лицо показывают со всех сторон бесконечно долго. Наконец камера отходит в сторону, показывая человека полностью. Он не в халате. На нем дорогой черный костюм, правда, совершенно измятый. Галстук на шее скручен веревкой. Человек туго прикручен стальной проволокой к медицинским носилкам, а носилки поставлены к стенке на задние ручки так, чтобы человек мог видеть топку.

Все кочегары вдруг повернулись к привязанному. Это внимание привязанному, видимо, совсем не понравилось. Он кричит. Он страшно кричит. Звука нет, но я знаю, что от такого крика дребезжат окна. Четыре кочегара осторожно опускают носилки на пол, затем дружно поднимают их. Привязанный делает невероятное усилие, чтобы воспрепятствовать этому. Титаническое напряжение лица. Вена на лбу вздута так, что готова лопнуть. Но попытка укусить руку кочегара не удалась. Зубы привязанного впиваются в его собственную губу, и черная струйка крови побежала по подбородку. Острые у человека зубы, ничего не скажешь. Его тело скручено крепко, но оно извивается, как тело пойманной ящерики. Его голова, подчиняясь звериному инстинкту, мощными ритмичными ударами бьет о деревянную ручку, помогая телу. Привязанный бьется не за свою жизнь, а за легкую смерть. Его расчет понятен: раскачать носилки и упасть вместе с ними с направляющих желобов на цементный пол. Это будет или легкая смерть, или потеря сознания. А без сознания можно и в печь. Не страшно... Но кочегары знают свое дело. Они просто придерживают ручки носилок, не давая им раскачиваться. А дотянуться зубами до их рук привязанный не сможет,

даже если бы и лопнула его шея. Говорят, что в самый последний момент своей жизни человек может творить чудеса. Подчиняясь инстинкту самосохранения, все его мышцы, все его сознание и воля, все стремление жить вдруг концентрируются в одном коротком рывке... И он рванулся! Он рванулся всем телом. Он рванулся так, как рвется лиса из капкана, кусая и обрывая собственную окровавленную лапу. Он рванулся так, что металлические направляющие желоба задрожали. Он рванулся, ломая собственные кости, разрывая жилы и мышцы. Он рванулся...

Но проволока была прочной. И вот носилки плавно пошли вперед. Дверки топки разгались в стороны, озарив белым светом подошвы лакированных давно нечищенных ботинок. Вот подошвы приближаются к огню. Человек старается согнуть ноги в коленях, чтобы увеличить расстояние между подошвами и ревушим огнем. Но и это ему не удается. Оператор крупным планом показывает пальцы. Проволока туго впилась в них. Но кончики пальцев человека свободны. И вот ими он пытается тормозить свое движение. Кончики пальцев растопырены и напряжены. Если бы хоть что-то попало на их пути, то человек, несомненно, удержался бы. И вдруг носилки останавливаются у самой топки. Новый персонаж на экране, одетый в халат, как и все кочегары, делает им знак рукой. И, повинаясь его жесту, они снимают носилки с направляющих желобов и вновь устанавливают у стенки на задние ручки. В чем дело? Почему задержка? Ах, вот в чем дело. В зал крематория на низкой тележке вкатывается еще один гроб. Он уже заколочен. Он великолепен. Он элегантен. Он украшен бахромой и каемочками. Это почетный гроб. Дорогу почетному гробу! Кочегары устанавливают его на направляющие желоба, и вот он пошел в свой последний путь. Теперь неизмеримо долго нужно ждать, когда он сгорит. Нужно ждать и ждать. Нужно быть терпеливым...

А вот теперь наконец и очередь привязанного. Носилки вновь на направляющих желобах. И я снова слышу этот беззвучный вопль, который, наверное, способен срывать двери с петель. Я с надеждой вглядываюсь в лицо привязанного. Я стараюсь найти признаки безумия на этом лице. Сумасшедшим легко в этом мире. Но нет этих признаков на красивом мужественном лице. Не испорчено это лицо печатью безумия. Просто человеку не хочется в печку, и он это старается как-то выразить. А как выразишь, кроме крика? Вот он и кричит. К счастью, крик этот не увековечен. Вот лаковые

ботинки в огонь пошли. Пошли, черт побери. Бушует огонь. Наверное, кислород вдувают. Двое первых кочегаров отскакивают в стороны, двое последних с силой толкают носилки в глубину. Дверки топки закрываются, и треск аппарата стихает.

— Он... кто? — я и сам не знаю, зачем такой вопрос задаю.

— Он? Полковник. Бывший полковник. Он был в нашей организации. На высоких постах. Он организацию обманывал. За это его из организации исключили. И он ушел. Такой у нас закон. Силой мы никого не вовлекаем в организацию. Не хочешь — откажись. Но если вступил, то принадлежишь организации полностью. Вместе с ботинками и галстуком. И так... я даю последнюю возможность отказаться. На размышление одна минута.

— Мне не нужна минута на размышление.

— Таков порядок. Если тебе и не нужна эта минута, организация обязана тебе ее дать. Посиди и помолчи. — Седой шелкнул переключателем, и длинная худая стрелка, четко выбивая шаг, двинулась по сияющему циферблату. А я вновь увидел перед собой лицо полковника в самый последний момент, когда его ноги уже были в огне, а голова еще жила; еще пульсировала кровь, и еще в глазах светился ум, смертная тоска, жестокая мука и непобедимое желание жить. Если меня примут в эту организацию, я буду служить ей верой и правдой. Это серьезная и мощная организация. Мне нравится такой порядок. Но, черт побери, я почему-то наперед знаю, что если мне предстоит вылететь в короткую квадратную трубу, то никак не в гробу с бахромой и каемочкой. Не та у меня натура. Не из тех я, которые с бахромой... Не из тех.

— Время истекло. Тебе нужно еще время на размышление?

— Нет.

— Еще одна минута.

— Нет.

— Что ж, капитан. Тогда мне выпала честь первым поздравить тебя с вступлением в наше тайное братство, которое именуется Главное Разведывательное Управление Генерального Штаба, или сокращенно ГРУ. Тебе предстоит встреча с заместителем начальника ГРУ генерал-полковником Мещеряковым и визит в Центральный Комитет к генерал-полковнику Лемзенко. Я думаю, ты им понравишься. Только не вздумай хитрить. В данном случае лучше задать вопрос, чем промолчать. Иногда, в ходе наших экзаменов и психологических тестов, такое покажут, что вопрос сам к горлу

подступает. Не мучь себя. Задай вопрос. Веди себя так, как вел себя сегодня тут, и тогда все будет хорошо. Успехов тебе, капитан.

Глава первая

1.

Если вам захотелось работать в КГБ, то езжайте в любой областной центр. На центральной площади всенепременно статуя Ленина стоит, а позади нее обязательно огромное здание с колоннами — это обком партии. Где-то тут рядом и областное управление КГБ. Тут же на площади любого спросите, вам любой покажет: да вон то здание, серое, мрачное, да, да, именно на него Ленин своей железобетонной рукой указывает. Но можно в областное управление и не обращаться, можно в особый отдел по месту работы обратиться. Тут вам тоже каждый поможет: прямо по коридору и направо, дверь черной кожей обита. Можно стать сотрудником КГБ и проще. Надо к особисту обратиться. Особист на каждой захудалой железнодорожной станции есть, на каждом заводе, а бывает, что и в каждом цехе. Особист есть в каждом полку, в каждом институте, в каждой тюрьме, в каждом партийном комитете, в конструкторском бюро, а уж в комсомоле, в профсоюзах, в общественных организациях и в добровольных обществах их множество. Подходи и говори: хочу в КГБ! Другой вопрос — примут или нет (ну, конечно же, примут!), но дорога в КГБ открыта для всех, и искать эту дорогу совсем не надо.

А вот в ГРУ попасть не так легко. К кому обратиться? У кого совета просить? В какую дверь стучать? Может, в милиции поинтересоваться? В милиции плечами пожмут: нет такой организации.

В Грузии милиция даже номерные знаки выдает с буквами “ГРУ”, не подозревая, что буквы эти могут иметь некий таинственный смысл. Едет такая машина по стране — никто не удивится, никто вслед не посмотрит. Для нормального человека, как и для всей советской милиции, эти буквы ничего не говорят и никаких ассоциаций не вызывают. Не слышали честные граждане о таком, и милиция никогда не слышала.

В КГБ миллионы добровольцев, а в ГРУ их нет. В этом и состоит главное отличие. ГРУ — это организация секретная. О ней никто

не знает, и оттого — не идет в нее по своей инициативе. Но допустим, нашелся некий доброволец, каким-то образом нашел он ту дверь, в которую стучать надо, примите, говорит. Примут? Нет, не примут. Добровольцы не нужны. Добровольца немедленно арестуют, и ждет его тяжелое мучительное следствие. Много будет вопросов. Где ты эти три буквы услышал? Как ты нас найти сумел? Но главное, кто помог тебе? Кто? Кто? Кто? Отвечай, сука! Правильные ответы ГРУ вырывать умеет. Ответ из любого вырвут. Это я вам гарантирую. ГРУ обязательно найдет того, кто добровольцу помог. И снова следствие начнется: а тебе, падло, кто эти буквы сказал? Где ты их услышал? Долго ли, коротко ли — но найдут и первоисточник. Им окажется тот, кому тайна доверена, но у кого язык превышает установленные стандарты. О, ГРУ умеет такие языки вырывать. ГРУ такие языки вместе с головами отрывает. И каждый попавший в ГРУ знает об этом. Каждый попавший в ГРУ бережет свою голову, а сбересть ее можно, только сберегая язык. О ГРУ можно говорить только внутри ГРУ. Говорить можно так, чтобы голос твой не услышали за прозрачными стенами величественного здания на Х...ке. Каждый попавший в ГРУ свято чтит закон аквариума: все, о чем мы говорим внутри, пусть внутри и останется. Пусть ни одно наше слово не выйдет за прозрачные стены. И оттого, что такой порядок существует, мало кто за стеклянными стенами знает о том, что происходит внутри. А тот, кто знает, тот молчит. А потому, что все знающие молчат, лично я о ГРУ никогда ничего не слышал.

Был я ротным командиром. После освободительного похода в Чехословакию ураган перемещений подхватил и меня и бросил в 318-ю мотострелковую дивизию 13-й армии Прикарпатского военного округа. Под командование я получил вторую танковую роту в танковом батальоне 910-го мотострелкового полка. Рота моя не блистала, но и в отстающих не числилась. Жизнь свою я видел на много лет вперед: после роты — начальником штаба батальона, после этого надо будет прорваться в Бронетанковую академию им. маршала Малиновского, а потом будет батальон, полк, может быть, что и повыше. Отклонения могли быть только в скорости движения, но не по направлению. Направление я выбрал себе однажды на всю жизнь и менять его не собирался. Но судьба распорядилась иначе.

13 апреля 1969 года в 4 часа 10 минут взял меня осторожно за плечо мой посыльный:

— Вставай, старший лейтенант, вас ждут великие дела, — тут

же он сообразил, что спросонья я к шуткам не расположен, и потому, сменив тон, коротко объявил: — Боевая тревога!

Собрался я за три с половиной минуты: одеяло в сторону, брюки, носки, сапоги. Гимнастерку — на себя, не застегивая, — это на ходу сделать можно. Теперь портупею на самые последние дырочки затянуть, командирскую сумку через плечо и фуражку на голову. Ребром ладони — по козырьку: совпадает ли кокарда с линией носа. Вот и все сборы. И бегом вперед. Мой пистолет в комнате дежурного по полку хранится. Пистолет при входе в полк я из огромного сейфа схвачу. А мой вещмешок, шинель, комбинезон и шлем всегда в танке хранятся. Бегом по лестнице вниз. Эх, в душ бы сейчас, да щеки бритвой поскоблить. Но не время. Боевая тревога! Тупорылый ГАЗ-66 уже почти полон. Все молодые офицерики да их посыльные, которые и того моложе. А в небе уже звезды тают. Они уходят тихо, не прощаясь, как уходят из нашей жизни люди, воспоминания о которых сладкой болью тревожат наши черствые души.

2.

Гремит парк, ревет парк боевых машин сотнями двигателей. Серая мгла кругом да копоть солярная. Рычат потревоженные танки. По грязной бетонной дороге ползут серо-зеленые коробки, выстраиваются в нескончаемую очередь. Впереди широкогрудые плавающие танки разведывательной роты, вслед за ними бронетранспортеры штаба и роты связи, а за ними танковый батальон, а дальше за поворотом три мотострелковых батальона вытягивают колонны, а за ними артиллерия полковая, зенитная да противотанковая батарея, саперы, химики, ремонтники. А тыловым подразделениям и места нет в громадном парке. Они свои колонны вытягивать начнут, когда головные подразделения далеко вперед уйдут.

Бегу я вдоль колонны машин к своей роте. А командир полка материт кого-то от всей души. Начальник штаба полка с командирами батальонов ругается, криком сотни двигателей перекрывает. Бегу я. И другие офицеры бегут. Скорее, скорее. Вот она, рота моя. Три танка — первый взвод, три — второй, еще три — третий. А командирский мой танк впереди. Вся десятка на месте. И уж слышу я все свои десять двигателей. Из общего рева их выделяю. У каждого двигателя свой нрав, свой характер, свой голос. И не фальшивит ни один.

Для начала неплохо. Перед своим танком я учащаю шаги, резко прыгаю и по наклонному лобовому броневому листу избегаю к башне. Мой люк открыт, и радист протягивает мой шлем, уже подключенный к внутренней связи. Шлем из мира рева и грохота переносит меня в мир тишины и спокойствия. Но наушники оживают мгновенно, разрушая зыбкую иллюзию тишины. Сидящий рядом радист по внутренней связи (иначе пришлось бы орать на ухо) докладывает последние указания. Все о пустяках. Я его главным вопросом обрываю: война или учения? Хрен его знает — пожимает плечами.

Как бы там ни было, моя рота к бою готова, и ее надо немедленно выводить из парка, таков закон. Скопление сотен машин в парке — цель, о которой наши враги мечтают. Я вперед смотрю. А разве увидишь что? Первая танковая рота впереди меня стоит. Наверное, командир еще не прибыл. Все остальные впереди тоже ждут. Я на крышу башни выскакиваю. Так виднее. Похоже на то, что в разведывательной роте танк заглох, загородив дорогу всему полку. Я на часы смотрю. Восемь минут нашему командиру полка осталось, бате нашему. Если через восемь минут колонны полка не тронутся — с командира полка погони сорвут и выгонят из армии без пенсии, как старого пса. А к голове колонны ни один тягач из ремонтной роты сейчас не пробьется: вся центральная дорога, стиснутая серыми угрюмыми гаражами, забита танками от края до края. Я на запасные ворота смотрю. Дорога к ним глубоким рвом перерезана: там кабель какой-то или трубу начали прокладывать.

Я в люк прыгаю и водителю во всю глотку: “Влево, вперед!” И тут же всей роте: “Делай, как я!” А влево ворот нет никаких. Влево — стенка кирпичная между длинными блоками ремонтных мастерских. В командирском танке — лучший в роте водитель. Так установлено задолго до меня, и во всей армии. Я ему по внутренней связи кричу: “Ты в роте лучший! Я тебя, прохвоста, выбрал. Я тебя, проходимца, высшей чести удостоил — командирскую машину беречь да ласкать. Не посрами выбора командирского! Сокрушу, сгною!”

А водителю моему отвечать некогда. На совсем коротком отрезке разгоняет он броневое динозавра, перебрасывая передачи выше да выше. Страшен удар танком по стене кирпичной. Дрогнуло все у нас в танке, зазвенело, заныло. Кирпич битый лавиной на броню обрушился, ломая фары, антенны, срывая ящики с инструмента-

ми, калеча внешние топливные баки. Но взревел мой танк и, окутанный паутиной колючей проволоки, вырвался из кирпичной пыли на сонную улочку тихого украинского городка. А я в задний триплекс смотрю. Танки роты моей пошли в пролом за мной весело да хулиганисто. К пролому дежурный по парку бежит. Руками машет. Кричит что-то. Рот разинут широко. Да разве услышишь, что он там кричит. Как в немом кино, по мимике догадываться приходится. Полагаю, что матерится дежурный. Шибко матерная мимика. Не спутаешь.

Когда десятый танк моей роты через пролом выходил, там уж регулировщики появились: форма черная, португези и шлемы белые. Те порядок наведут. Те знают, кого первым выпускать. Разведку — вот кого. В каждом полку есть особая разведрота с особой техникой, с особыми солдатами и офицерами. Но, кроме нее, в каждом мотострелковом и танковом батальоне полка подготовлено еще по одной роте, которые ни особой техники, ни особых солдат не имеют, но и они могут использоваться для ведения разведки. Вот эти роты и нужно выпускать вперед. Нас, белые шлемы, выпускайте! Нам сейчас далеко вперед вырваться надо.

3.

Смотришь на роты в дивизии или в полку — все они одинаковы постороннему взгляду. Ан нет. В каждом батальоне первая рота и есть первая. Какие ни есть плохие солдаты в батальоне, а все, что есть лучшего, комбат в первую роту собирает. И если нехватка офицеров, то свежее офицерское пополнение обязательно первой роте отдадут. Потому как первая рота на главной оси батальона всегда идет. Она первая с врагом лбами сшибается. А от завязки боя и его исход во многом зависит.

Вторая рота в любом батальоне — средняя. Офицеры во вторых ротах без особых отличий, вроде меня, и солдаты тоже. Зато каждая вторая рота имеет дополнительную разведывательную подготовку. У нее вроде как смежная профессия есть. Прежде всего она тоже боевая рота, но если потребуются, то она может вести разведку в интересах своего батальона, а может и в интересах полка работать, заменяя собой или дополняя особую полковую разведроту.

В Советской Армии 2400 мотострелковых батальонов. И в каждом из них третья рота не только по номеру третья. В третьих ротах

обычно служат те, кто ни в первые, ни во вторые роты не попал: совсем молодые неопытные офицеры или перезрелые, бесперспективные. Солдат в третьих ротах всегда не хватает. Более того, на территории Союза третьи роты в подавляющем большинстве вообще солдат не имеют. Техника их боевая постоянно на консервации стоит. Война начнется — тысячи этих рот дополняют резервистами и быстро поднимают до уровня обычных боевых подразделений. В этой системе — глубокий смысл: добавить в дивизию резервистов, это в тысячу раз лучше, чем формировать новые дивизии целиком из резервистов.

Моя вторая танковая рота стремительно уходит вперед. На повороте я оглядываюсь и считаю танки. Пока скорость выдерживают все. Прямо за последним танком моей роты, выбивая искры из бетона, не отставая, идет гусеничный бронетранспортер с белым флажком. А у меня от сердца отлегло. Маленький белый флажок означает присутствие посредников. А их присутствие в свою очередь означает учения, но не войну. Значит, проживем еще.

А надо мною вертолет-стрекоза. Вниз скользит. Разворачивается и заходит прямо против ветра, чтоб не снесло его. С правого борта завис. Я на крыше башни. Рука правая над головой. Пилот рыжий совсем. Лицо, как сорочье яйцо, веснушками изукрашено. А зубы — снег. Смеется. Знает он, вертолетный человек, что тем ротным, кому он сейчас приказывает развез, денек выпал не из лучших. Вертолет тут же вверх и в сторону уходит. Только рыжий пилот смеется. Только зубы его блестят, лучи восходящего светила отражают.

4.

Танк-мой грудастый Вселенную пополам режет, и то, что единым было впереди, распадается надвое. И летят перелески справа и слева. Грохот внутри — адов. Карта на коленях. И многое становится ясно. Дивизию в прорыв бросили, и идет она стремительно на Запад. Только где противник — неясно. Ничего об этом карта не говорит. И оттого впереди дивизии рвутся два десятка рот, и моя — в их числе. Роты эти, как растопыренные пальцы одной ладони. Их задача — нащупать самое уязвимое место в обороне противника, на которое командир дивизии обрушит свой тысячетонный кулак. Уязвимое место противника ищут на огромных пространствах, и поэто-

му каждая из высланных вперед рот идет в полном одиночестве. Знаю я, что идут где-то рядом такие же роты лихо и стремительно, но обходя очаги сопротивления, деревни и города. И моя рота тоже в изнурительные стычки не ввязывается: встретил противника, сообщил в штаб и обходи. Скорее обходи и снова вперед. А где-то вдали главные силы, как ревуший поток, прорвавший плотину. Вперед, ребята, вперед на Запад!

А бронетранспортер с белым флагом не отстает. Он, проклятый, вдвое легче танка, а силищи в нем почти столько же. Пару раз пытался я оторваться, мол, высокие скорости — залог победы. Но не выгорело. Когда взводом командовал, то такие вещи вполне проходили, но с ротой не пройдет. Разорвешь колонну, танки по болотам порастеряешь. За это не жалуют, за это с роты снимают. Черт с вами, думаю, проверяйте на здоровье, а роту я растягивать не буду...

— Кран впереди! — кричит по радио командир шестого танка, высланного вперед.

Кран? Подъемный? Точно! Кран! Весь зелененький, стрела для маскировки ветками облеплена. Где на поле боя можно кран увидеть? Правильно! В ракетной батарее! Каждый ли день такая удача!

— Рота, — ору. — Ракетная батарея! К бою... Вперед!

А уж мои ребята знают, как с ракетными батареями расправляться. Первый взвод, обгоняя меня, рассыпается в боевую линию. Второй, резко увеличивая скорость, уходит вправо и, бросая в небо комья грязи из-под гусениц, несется вперед. Третий взвод уходит влево, огромным крюком охватывая батарею с фланга.

— Скорость! — рычу. А водители это и без меня понимают. Знаю, что у каждого водителя сейчас правая нога уперлась в броневой пол, вжав педаль до упора. И оттого двигатели взвыли непокорно и строптиво. И оттого рев такой. И оттого копоть невыносимая: топливо не успевает сгорать полностью в двигателях, и жутким напором газа его выбрасывает через выхлопные горловины.

— Разведку прекращаю... квадрат... 13 — 41... стартовая позиция... принимаю бой... — Это мой радист-заряжающий кричит в эфир наше, может быть, последнее послание. Ракетные подразделения и штабы противника должен атаковать каждый при первой встрече, без всяких на то команд, каковы бы ни были шансы, чего бы это ни стоило.

Заряжающий щелчком обрывает связь и бросает первый снаряд

на досылатель. Снаряд плавно уходит в казенник, и мощный затвор, как нож гильотины, дробящим сердцем ударом запирает ствол. Башня плывет в сторону, а под моими ногами полетела влево спина механика-водителя, боеукладка со снарядами. Казенник орудия, вздрогнув, плывет вверх. Наводчик вцепился руками в пульт прицела, и мощные стабилизаторы, повинувшись его корявым ладоням, легкими рывками удерживают орудие и башню, не позволяя им следовать бешеной пляске танка, летящего по пням и корягам. Большим пальцем правой руки наводчик плавно давит на спуск. С тем чтобы страшный удар не обрушился на наши уши внезапно, во всех шлемофонах раздается резкий щелчок, заставляя барабанные перепонки сжаться, встречая всеокрушающий грохот выстрела сверхмощной пушки. Щелчок в шлемофонах опережает выстрел на сотые доли секунды, и оттого мы не слышим самого выстрела.

Сорокотонная громада летящего вперед танка дрогнула. Орудийный ствол отлетел назад и изрыгнул из себя звенящую дымную гильзу. И тут же, вторя командирской пушке, бегло залаяли остальные. А заряжающий уже второй снаряд бросил на досылатель.

— Скорость! — ору я.

А грязь из-под гусениц фонтанами. А ляг гусениц даже громче пушечного грохота. А в шлемофонах щелчок — это наводчик опять на спуск давит. И снова мы своего собственного выстрела не слышим. Только орудие судорожно назад рванулось, только гильза страшно звенит, столкнувшись с отбойником. Мы слышим выстрелы только соседних танков. А они слышат нас. И эти пушечные выстрелы стегают моих доблестных азиатов, как плетью между ушей. И звереют они. Я каждого из них сейчас представить могу. В пятом танке наводчик между выстрелами резиновый налобник прицела от восторга гложет. Это не только в роте, во всем батальоне знают. Нехорошо это. Отвлекается он от наблюдения за обстановкой. Его за это даже чуть в заряжающие не перевели. Но уж очень точно стреляет прохвост. В восьмом танке командир всегда топор с собой держит, и когда его пушка захлебывается беглым огнем, он обухом по броне лупит. А в третьем танке прошлый раз командир включил рацию на передачу — да и забыл ее выключить, забывая всю связь в ротной сети. И вся рота слышала, как он скрежетал зубами и подвывал по-волчьи...

— Круши! — шепчу я. И шепот мой на тридцать километров

радиоволны разносят, вроде я каждому из своих милых свирепых азиатов это слово прямо в ушко нашептываю. — Круши-и-и-и!

А по ушам щелчок, а гильза снова звенит. Аромат у стреляных гильз дурацкий. Кто тот ядовитый аромат вдыхал, тот зверел сладострастно. Круши! От грохота, от мощи небывалой, от пулеметных трелей пьянеют мои танкисты. И не удержит их теперь никакая сила. Вот и водители всех танков вроде как с цепи посрывались. Рвут рычаги ручищами своими грубыми, терзают машины свои, гонят их, непокорных, в пекло прямо. А я назад смотрю: не обошли бы с тылов. А далеко позади бронетранспортер с белым флажком. Отстал, из сил выбился. Люди в нем несчастные: нет у них такой пушки сверхмощной, нет у них грохота одуряющего, нет аромата пьянящего. Нет у них в жизни наслаждения, не познали они его. Оттого труслив их водитель, камни да пни осторожно обходит. А ты не бойся! А ты машину ухвати лапами, рви ее и терзай. Бронева машина — существо нежное. Но если почувствует машина на себе могучего седока, то озверевает и она. И понесет она тебя вскачь по валунам гранитным, по пням тысячелетних дубов, по воронкам и ямам. Не бойся гусеницы изорвать, не бойся торсионы переломать. Рви и круши, и понесет тебя танк, как птица. Он, танк, тоже боем упивается. Он рожден для боя. Круши!

...Выводи роту из боя...

Искры из-под гусениц. Влетела рота на позиции ракетной батареи. Скрежет в уши, то ли гусеницы по стальному листу, то ли зубы моего наводчика в моих наушниках.

...Выводи роту из боя...

Чтоб не задеть друг друга, танки без всякой команды огонь прекратили, только режут, как волки, рвущие оленя на части. Бьют танки лбами своими броневыми хлипкие ракетные транспортеры, краны да пусковые установки, в жирный чернозем втаптывают красу и гордость ракетной артиллерии. Круши!

— ...Выводи роту из боя... — снова слышу я чей-то далекий скрипучий голос и вдруг понимаю, что это проверяющий ко мне обращается. Ах, черт! Да кто же в такой момент наивысшего, почти сексуального блаженства людей от любимого занятия отрывает? Проверяющий, твою мать, ты же моих жеребцов в импотентов превратишь! Кто тебе право дал портить великолепную танковую роту? Ты враг народа или буржуазный вредитель? Хуль тебе в зубы! Рота, круши! И треснув кулаком по броне, выматерив в открытый эфир

всю штабную сволочь, которая порохового дыма по своим канцеляриям не нюхала, я командую:

— Роте боевой отбой! Влево на поляну повзводно марш!

Мой водитель в сердцах рвет левый рычаг до упора, от чего танк всей массой своей почти опрокидывается вправо, ломая красавицу-березу. Мастерски водитель перебрасывает передачи, почти с секундным перерывом, и, мгновенно добравшись до верхней, бросает броневого динозавра вперед, через кусты и глубокие ямы, прямо на поляну, и, лихо развернувшись, снижает обороты почти до нуля, от чего машина замирает на месте, бросив нас далеко вперед, как при внезапном торможении самолета в самом конце разбега. Остальные танки с разочарованным ревом один за другим вырываются из леса и, судорожно тормозя, выстраиваются в четкую линию.

— Разряжай! Оружие к осмотру! — подаю команду и вырываю шнур шлемофона из разъема, а заряжающий щелчком вырубает всю связь.

5.

Бронетранспортер с проверяющими далеко отстал. Пока он доковылял до роты, я успел проверить вооружение, получил рапорта о состоянии машин, о расходе топлива и боеприпасов, построил роту и замер посредине поляны в готовности рапортовать.

Стою, в уме плюсы и минусы подсчитываю, за что меня хвалить могут, а за что наказывать: рота из парка начала выход на восемь минут раньше срока — за это хвалят, за это иногда командиру роты и золотые часики подбросить могут. В начале войны счет на секунды идет. Все танки, все самолеты, все штабы должны рывком из-под удара выйти. Тогда первый, самый страшный удар противника по пустым военным городкам будет нанесен. Восемь минут! Тут мне плюс несомненный. Все танки мои исправны и весь день таковыми оставались. Это моему зампотеху — плюс. Жаль, что из-за нехватки офицеров нет у меня в роте зампотеха. Я сам за него работаю. Опорные пункты мы обходили крутым маневром, вовремя и четко сообщая о них. Это плюс командира первого взвода. Жаль, и его в роте нет: опять же нехватка. Ракетную батарею не проморгали, не пропустили, унюхали, в землю ее втоптали. А ракетная батарея, самая захудалая, может пару Хиросим сотворить. Прекратив

разведку и бросив свои коробки против ракет, я эти самые Хиросимы предотвратил. За такое на войне орденишко на грудь вешают, а на учениях хвалят долго...

А вот и проверяющий полковник. Ручки белые, чистенькие, сапожки блестят. Лужи он брезгливо обходит, как кот, чтобы лапки не испачкать. Командир полка, батя наш, тоже полковник, да только ручищи у него мозолистые, как у палача, к тяжелому труду его ручищи приучены. А рожа у нашего бати обожжена морозом, солнцем и ветрами всех известных мне полигонов и стрельбищ, не в пример бледному личику проверяющего полковника.

— Равняйся! Смирно! Равнение направо!

Но проверяющий рапорта моего не слушает, он на полуслове обрывает:

— Увлекаетесь, старший лейтенант, в бою! Как мальчишка!

Я молчу. Я улыбаюсь ему. Вроде он не ругает меня, а медаль на грудь вешает. А он от моей улыбки еще пуще свирепеет. Свита его угрюмо молчит. Знает свита, что статья 97-я Дисциплинарного устава запрещает ругать меня в присутствии моих подчиненных. Знают майоры и подполковники, что, ругая меня в присутствии моих подчиненных, полковник не мой командирский авторитет подрывает, а авторитет всего офицерского состава доблестной Советской Армии, и в том числе свой собственный полковничий авторитет. А мне вроде бы и ничего. А я улыбаюсь.

— Это позорно, старший лейтенант, не слышать команд и не выполнять их.

Эх, полковник, а я бы на орудийных стволах вешал тех, кто в бою не увлекается, кого запах крови не пьянит. Это учения, а кабы в настоящем бою гусеницы наших танков были перепачканы настоящей кровью, не бутафорской, не театральной, так мои азиаты славные еще бы и не так распалились. Да только это не слабость. Это их сила. Их никто в мире остановить не смог бы.

— И еще со стенкой! Вы же стенку в парке поломали! Это преступление!

А про стенку я и думать забыл. Велика беда. Ее уж, наверно, восстановили. Долго ли? Пригони с губы десять арестантов, они за пару часов новую стенку сложат. И откуда мне, полковник, знать — учения это или война? Кто это во время тревоги знать может? А если всйна, и стенка целая осталась бы, а 200 человек и сотни великолепных боевых машин все в одной куче сгорели бы?

Ась, полковник? Большой титул ты носишь, именуешься ты начальником разведки 13-й армии, так поинтересуйся, сколько мои узбеки за день целей вскрыли. Они и по-русски не говорят, а цели вскрывают безошибочно. Похвали их, полковник! Не мне, так хоть им улыбнись. И я улыбаюсь ему. К роте своей я спиной сейчас стою, и повернуться мне к ней лицом никак нельзя. Только я и так знаю, что и вся моя рота сейчас улыбается. Просто так, без всякой причины. Они у меня такие, они в любой обстановке зубы скалят.

А полковнику это не нравится. Он, наверное, думает, что мы над ним смеемся. Озверел полковник. Зубами заскрежетал, как наводчик в бою. Наши улыбки он понять и оценить не способен. И оттого он кричит мне в лицо:

— Мальчишка, вы недостойны командовать ротой. Я отстраняю вас. Сдайте роту заместителю, пусть он ведет роту в казармы!

— Нет у меня сейчас заместителя, — улыбаюсь я ему.

— Тогда командиру первого взвода!

— Нет и его, — и чтобы полковнику всех командиров нижестоящих не перечислять, я объясняю: — Один я в роте офицер.

Полковник угас. Пыл с него сошел. Сошел, вроде и не было его. Ситуация, при которой в роте один только офицер, по нашей армии, особенно на территории Союза, почти стандартная. Офицерами быть много желающих, да только все полковниками быть хотят. А лейтенантский старт мало кого влечет. И оттого нехватка на самом низу. Нехватка офицеров жестокая. Но там наверху, в штабах, об этом как-то забывается. Вот и сейчас полковник просто не подумал, что я могу быть единственным офицером на всю роту. Меня он от командования отстранил, у него на это право есть. Но роту надо возвращать в казармы. А гнать роту, да еще танковую, одну без офицеров на десятки километров нельзя. Это преступление. Это непременно расценят как попытку государственного переворота. Тут тебе, полковник, исход летальный. Если уж ты отстранил командира в обстановке, когда у него нет заместителей, то этим самым ты роту под свою персональную ответственность принял и никому эту роту доверить не имеешь права. Если бы такое право предоставили, то каждый командир дивизии мог бы вывести войска в поле, сместить командиров, заменить их теми, кто ему подходит, и — переворот. Но нет у нас переворотов, ибо не допущен каждый к деликатному вопросу подбора и расстановки командирских кадров. Снимать — твое право. Снимать легко. Сни-

мать любой умеет. Это так же легко, как убить человека. Но возвращать командиров на их посты так же трудно, как мертвого к жизни вернуть. Ну что, полковник, думаешь меня вновь на роту поставить? Не выйдет. Не достоин я. И все это слышали. Не имеешь ты права ставить на роту недостойного. А если наверху узнают, что ты вблизи государственной границы снимал с танковых рот законных командиров и на их место недостойных ставил? Что с тобой будет? Ась? То-то.

Тут бы полковнику с командиром моего батальона или полка связаться, мол, заберите свою беспризорную роту. Но кончились учения. Кончились так же внезапно, как и начались. Кто же позволит боевой связью после учений пользоваться? Тех, кто допускал такие вольности, в 37-м расстреляли. После того никому не повадно такими вещами баловаться. Ну что же, полковник? Ну, веди роту. А может быть, ты уж и забыл, как ее водить? А может, ты никогда ее и не водил? Рос в штабах. Таких полковников множество. Любое занятие со стороны пустяковым кажется. И роту танковую вести тоже вроде несложно. Да только команды нужно подавать так, как они в новом уставе записаны. Люди в роте не русские, не поймут. Хуже если поймут, да не так. Тогда их и на вертолете по лесам и болотам не сыщешь. Тяжел танк, иногда на человека наехать может, под мост провалиться, в болоте может утонуть. А расплата всегда одна и та же.

Я не улыбаюсь больше. Ситуация серьезная, и смеяться незачем. Мне бы в самое время ладонь к козырьку: “Разрешите идти, товарищ полковник?” Все равно я тут теперь посторонний, не командир и не подчиненный. Вы кашу заварили, вы и расхлебывайте. Захотелось покомандовать, вот, товарищ полковник, и командуйте. Но злость и злорадство во мне быстро погасли. Рота родная, люди мои и машины мои. За роту я больше не отвечаю, но и не брошу ее просто так.

— Разрешите, товарищ полковник, — бросил я ладонь к козырьку, — последний раз роту провести. Вроде как попрощаться с ней.

— Да, — коротко согласился он. На одно мгновение показалось мне, что по привычке хочет он обычное наставление дать, мол, не гони, не увлекайся, колонну не растягивай. Но не сделал он этого. Может, у него и намерения такого не было, просто мне так показалось.

— Да, да, ведите роту. Считайте, что мой приказ еще в силу не вошел. Приведете роту в казарму, там ее и сдадите.

— Есть! — поворачиваюсь я резко кругом, только заметил усмешки в свите полковника. Как это так, пока командуйте? Понимает свита, что нет такого положения — пока командуйте. Командир или достоин своего подразделения и полностью за него отвечает, или он недостойн, и тогда его немедленно отстраняют. Пока командуйте — это не решение. И за такой подход может полковник дорого поплатиться. Мне это ясно, и свите его. Но не до этого мне сейчас. У меня дело серьезное. Я ротой командую. И нет мне дела до того, что и кто подумал, кто как поступил и как за это будет наказан.

Перед тем как первую команду подать, обязан командир свое подразделение воле своей подчинить. Обязан он глянуть на своих солдат так, чтобы по строю легкая зыбь побежала, чтобы замерли они, чтобы каждый почувствовал, что сейчас командирская команда последует. А команды в танковых войсках беззвучны. Два флажка в моих руках. Ими я и командую.

Белый флажок резко вверх. Это первая моя команда. Жестом этим, коротким и резким, я своей роте длинное сообщение передал: “Ротой командую — я! Работу радиостанций на передачу до встречи с противником запрещаю! В н и м а н и е!” Команды бывают предварительные и исполнительные. Предварительной командой командир как бы ухватывает своих подчиненных железной уздой своей воли. И, натянув поводья, должен командир выждать пять секунд перед подачей главной команды. Должен строй застыть, ожидая ее, должен каждый почувствовать железные удила, должен каждый чуть вздрогнуть, должны мускулы заиграть, как перед хлестким ударом, должен каждый исполнительный команды ждать, как хорошая лошадь ждет удара плетью.

Красный флажок резко вверх, и оба — через стороны — вниз. Дрогнула рота, рассыпалась, коваными сапогами по броне загрохотала.

Может, прощалась со мной рота, может, проверяющим выучку свою демонстрировала, может, просто злость разобрала, и никак эту злость по-другому выразить невозможно было. Ах, если бы секундомер кто включил! Но и без секундомера я в тот момент знал, что бьет моя рота рекорд дивизии, а может, и какой повыше. Знал я в тот момент, что много в свите полковника настоящих танкистов, и

что каждый сейчас моими азиатами любуются. Много я сам видел рекордов в танковых войсках, знаю цену тем рекордам. Повидал я и руки поломанные, и зубы выбитые. Но везло ребятам в тот момент. И знал я как-то наперед, что не оступится ни один, не скользнет, совершая немислимый прыжок в люк. Знал я, что и пальцы никому не отдавит. Не тот момент.

Десять двигателей хором взвыли. Я в люке командирском. Теперь белый флажок вверх в моей руке означает: “Я — готов!” И в ответ мне девять других флажков: Готов! Готов! Готов! Резкий круг над головой, и четкий жест в сторону востока: “Следуй за мной!”

Просто все. Элементарно. Примитивно? Да. Но никакая радиоразведка не может обнаружить даже выдвижение четырех танковых армий одновременно. А против других видов разведки есть столь же примитивные, но неотразимые приемы. И потому мы всегда внезапно появляемся. Плохо или хорошо, но внезапно. Даже в Чехословакии, даже семью армиями одновременно.

Проверяющий полковник вскарабкался на свой бронетранспортер. Свита за ним. Бронетранспортер взревел, круто развернулся и пошел в военный городок другой дорогой.

Свита полковника его явно ненавидит. В противном случае ему подсказали бы, что он должен идти прямо за моим танком. Я ведь теперь никто. Самозванец. Доверять мне роту — все равно, как если бы начальник полиции доверил проведение ареста бывшему полицейскому, выгнанному с работы. Если уж тебе и пришла в голову такая идея, так хоть будь рядом, чтобы вовремя вмешаться. Если уж отдал роту кому-то, если не умеешь ею управлять, так хоть будь рядом, чтобы на тормоза вовремя нажать. Но не подсказал никто полковнику, что он жизнь свою в руки молодого старшего лейтенанта отдал. А старший лейтенант, отстраненный от власти, может любую гадость сотворить, он в роте посторонний. Отвечать же тебе придется. А может быть, знали все в свите, что старший лейтенант роту приведет без всяких происшествий? Знали, что не будет старший лейтенант ломать полковничью судьбу. А мог бы...

6.

Так часто бывает — хлестнут дивизию плетью боевой тревоги, вырвется она на простор, а ее обратно возвращают. Глубокий смысл в этом. Так привычка вырабатывается. На настоящее дело

пойдут дивизии, как на обычные учения, — без эмоций. А заодно и у противника бдительность теряется. Вырываются советские дивизии из своих военных городков часто и внезапно. Противник на это реагировать перестает.

Дороги танковыми колоннами забиты. Ясно, что отбой дали всей дивизии одновременно. Кто знает, сколько дивизий сегодня по боевой тревоге было поднято, сколько их сейчас в свои военные городки возвращается! Может, одна наша дивизия, может, три дивизии, а может, и пять. Кто знает, может, и сто дивизий были одновременно подняты.

У ворот военного городка оркестр гремит.

Командир полка нашего, батя, на танке стоит — свои колонны встречает. Глаз у него опытный, придиричивый. Ему взгляда одного достаточно, чтобы оценить роту, батарею, батальон и их командира. Ежятся командиры под свинцовым батиным взглядом. Здоровенный он мужик, португеза на нем на последние дырочки застегнута, еле сходится. А голенища его исполинских сапог сзади разрезаны слегка, по-другому не натянешь их на могучие икры. Кулачище у него, как чайник. И этим чайником он машет кому-то. Наверное, командиру третьего мотострелкового батальона, бронетранспортеры которого сейчас втягиваются в прожорливую горловину ворот. Вот минометная батарея этого батальона прошла через ворота, и теперь моя очередь. И хотя я знаю, что все мои танки идут за мной, и хотя все равно мне теперь, идут они или нет, я им больше не командир, я в самый последний момент оглядываюсь: да, все идут, не отстал ни один. Командиры всех танков ловят мой взгляд. А я снова резко вперед поворачиваюсь, правую ладонь к черному шлему бросил, и командиры всех остальных девяти танков четко повторили это древнее военное приветствие.

Командир полка все еще что-то кричит обидное и угрожающее вслед колонне третьего батальона и наконец поворачивает свирепый взгляд свой на мою роту. Горилла лесная, атаман разбойничий, кто твой взгляд выдержать может? Встретив взгляд его, я вдруг неожиданно для себя самого принимаю решение этот многотонный взгляд выдержать. А он кулачище свой разжал в ладонь широченную, как лопата, — к козырьку. Не каждому батя на приветствие приветствием отвечает. И не ждал я этого. Хлопнул глазами, заморгал часто. Танк мой уж прошел мимо него, а я голову назад — на

командира смотрю. А он вдруг улыбнулся мне. Роба у него черная, как негатив, и оттого улыбка его белозубая всей моей роте видна и, наверное, гаубичной батарее, которая следом за мной идет, которую он сейчас кулачищем своим приветствовать будет.

Эх, командир. Не знаешь ты, что я не ротный уже. Сняли меня, командир, с роты. Сняли с позором. Вроде как публично высекли. Это, командир, ничего. Думаешь, я заплачу? Да никогда в жизни. Я улыбаться буду. Всегда. Всем назло. Радостно и гордо улыбаться буду, вот как тебе сейчас, командир, улыбаюсь. Роту я скоро новую получу. Нехватка офицеров, сам знаешь. Жаль только с моими азиатами расставаться. Уж очень ребята дружные подобрались. Ну, ничего — переживем. С меня и того достаточно, что полк вовремя по тревоге выход начал, что ты, командир, с полка не слетел. Стой тут и маши своим кулачищем. На то ты тут и поставлен. И не надо нам никакого другого командира в полку. Мы, командир, нрав твой крутой прощаем. И если надо, пойдем за тобой туда, куда ты нас поведешь. И я, командир, пойду за тобой, пусть не ротным, так взводным. А могу и простым наводчиком.

7.

При возвращении боевой машины в парк, что должно быть сделано в первую очередь? Правильно. Она должна быть заправлена. Исправленная или поломанная, но заправленная. Кто знает, когда новая тревога грянет? Каждая боевая машина должна быть готова повторить все сначала и в любую минуту. И оттого гудит снова парк. Сотни машин одновременно заправляются. Каждому танку минимум по тонне топлива надо. И бронетранспортеры тоже прожорливы. И артиллерийские тягачи тоже. И все транспортные машины заправить нужно. Тут же всем боевым машинам боекомплект пополнить надо. Снаряды танковые по 30 килограммов каждый. Сотни их подвезли. Каждая пара снарядов — в ящике. Каждый ящик нужно с транспортной машины снять. Снаряды вытащить. Упаковку с каждого снять. Почистить каждый, заводскую защитную смазку снять, и в танк его. А патроны — тоже в ящиках. По 880 штук в каждом. Патроны нужно в ленты снарядить. В ленте пулеметной 250 патронов. Потом ленты нужно в магазины заправить. В каждом танке по 13 магазинов. Теперь все стреляные гильзы нужно собрать, уложить их в ящики и сдать на склад. Стволы

позже чистить будем. По очереди всем взводом каждый танковый ствол, по многу часов каждый день, повторяя чистку много дней. Но сейчас пока нужно стволы маслом залить. А вот теперь танки нужно помыть. Это грубая мойка. Основная мойка и чистка будет потом. А вот теперь солдат нужно накормить. Обеда не было сегодня, и поэтому обед совмещен с ужином. А после ужина всех на техническое обслуживание. К утру все проверить нужно: двигатели, трансмиссии, подвеску, ходовую часть. Где нужно, траки сменить. В четвертом танке торсион поломан на левом борту. В восьмом — оборачивающий редуктор барахлит. А в первой танковой роте два двигателя сразу менять будут. А с утра начнется общая чистка стволов. Чтобы готово все было! Сокрушу! И вдруг чувствую я пустоту под сердцем. И вдруг вспомнил я, что не придется мне с утра в своей роте проверять качество обслуживания. Может быть, и не пустят меня завтра вообще в танковый парк? Знаю, что все документы на меня уж готовы, и что официально снимут меня не завтра утром, а уж сегодня вечером. И знаю, что положено офицеру на снятие идти в блеске, не хуже чем за орденом. И рота моя это знает. И потому, пока я с заправщиками ругался, пока ведомости расхода боеприпасов проверял, пока под третий танк лазил, уж кто-то мне и сапоги до зеркального блеска отполировал, и брюки выгладил, и воротничок свеженький пришил. Сбросил я грязный комбинезон, быстро в душ. Брился долго и старательно. А тут и посыльный из штаба полка.

Гремит парк. Через ворота разбитый бронетранспортер тягач тянет. Гильзы стреляные звенят. Гудят огромные “Уралы“, доверху пустыми снарядами ящиками переполненные. Электросварка салютом брызжет. Все к утру будет блестеть и сиять. А пока грязь, грязь кругом, шум, грохот, как на великой стройке. Офицера от солдата не отличишь. Все в комбинезонах, все грязные, все матерятся. И идет среди этого хаоса старший лейтенант Суворов. И умолкают все. Чумазные танкисты вслед мне смотрят. Ясно каждому — на снятие старший лейтенант идет. Никто не знает, за что слетел он. Но каждый знает, что зря его снимают. Чувство такое у каждого. В другое бы время и не заметили старшего лейтенанта в чужих ротах, а если и заметили бы, то сделали вид, что не заметили. Так бы в двигателях и ковырялись, выставив промасленные задницы. Но на снятие человек идет. И потому грязной пятерней под замусоленные пилотки приветствуют меня чужие, незнакомые тан-

кисты. И я их приветствую. И улыбаюсь я им. И они мне улыбаются, мол, бывает хуже, крепись.

А за стенами парка весь городок военный. Каштаны в три обхвата. Новобранцы громко, но нестройно песню орут. Стараются, но неуклюжи еще. Лихой ефрейтор покрикивает. Вот и новобранцы меня приветствуют. Эти еще телята. Эти еще ничего не понимают. Для них старший лейтенант — это очень большой начальник, гораздо выше ефрейтора. А что как-то особо сапоги у него блестят, так это, наверное, праздник у него какой-то...

Вот и штаб. Тут всегда чисто. Тут всегда тихо. Лестницы — мрамор. Румыны до войны строили. Ковры по всем коридорам. А вот и полуовальный зал, залитый светом. В пуленепробиваемом прозрачном конусе — опечатанное гербовыми печатями знамя полка. Под знаменем часовой замер. Короткий плоский штык дробит последний луч солнца, рассыпает его искрами по мрамору. Я приветствую знамя полка, а часовой под знаменем не шелохнется. Он ведь с автоматом. А вооруженный человек не использует никаких других форм приветствия. Его оружие и есть приветствие всем остальным людям.

Посыльный — прямо по коридору, к кабинету командира полка. Странно это. Почему не к начальнику штаба? Стукнул посыльный в командирскую дверь. Вошел, плотно закрыв дверь за собой. Тут же назад вышел, молча уступив проход, — входите.

За командирским дубовым столом незнакомый подполковник небольшого роста. Этого подполковника я сегодня в свите проверяющего полковника видел. Что за черт, дивлюсь, где же батя, где начальник штаба? И почему подполковник в командирском кресле сидит? Неужели по своему положению он выше нашего бати? Ну, конечно, выше. Иначе не сидел бы за его столом.

— Садитесь, старший лейтенант, — не слушая рапорта, предлагает подполковник.

Сел. На краешек. Знаю, что сейчас громкие слова последуют, и оттого вскочить придется. Оттого спина у меня прямая. Вроде в строю стою, на параде.

— Доложите, старший лейтенант, почему вы улыбались, когда вас полковник Ермолов с роты снимал?

Глаза подполковника в душу смотрят: только правду говори, я тебя, старлей, насквозь вижу.

Смотрю на подполковника, на свежий воротничок на уже ношенной, но чистенькой и выглаженной гимнастерке. А что ответить?

— Не знаю, товарищ подполковник.

— Жалко с ротой расставаться?

— Жалко.

— Рота твоя мастерски работала. Особенно в самом конце. А со стенкой все согласны: ее лучше сломать, чем весь полк под удар поставить. Стенку восстановить нетрудно...

— Ее уже восстановили.

— Вот что, старший лейтенант, зовут меня подполковник Кравцов. Я начальник разведки 13-й армии. Полковник Ермолов, снявший тебя с роты, думает, что он начальник разведки. Но он смещен, хотя об этом еще не догадывается. На его место уже назначен я. Сейчас мы объезжаем дивизии. Он думает, что он проверяет, а на самом деле это я дела принимаю, знакомлюсь с состоянием разведки в дивизиях. Все его решения и приказы никакой силы не имеют. Он распоряжается каждый день, а по вечерам я представляю свои документы командирам полков и дивизий, и все его приказы теряют всякую силу. Он об этом не догадывается. Он не знает, что его крик — это не более чем лесной шум. В системе Советской Армии и всего нашего государства он уже ноль, частное лицо, неудачник, изгнанный из армии без пенсии. Приказ об этом ему скоро объявят. Так что его приказ о смещении тебя с роты никакой силы не имеет.

— Спасибо, товарищ подполковник!

— Не спеши благодарить. Он не имеет права тебя отстранить от командования ротой. Поэтому я тебя отстраняю, — и сменив тон, он тихо, но властно сказал: — Приказываю роту сдать!

У меня привычка давняя встречать удары судьбы улыбкой.

Но удар оказался внезапным, и улыбки не получилось.

Я встал, бросил ладонь к козырьку и четко ответил:

— Есть! Сдать роту.

— Садись.

Сел.

— Есть разница. Полковник Ермолов снял тебя, потому что считал, что роты для тебя много. Я снимаю тебя, считая, что роты для тебя мало. У меня для тебя есть должность начальника штаба разведывательного батальона дивизии.

— Я только старший лейтенант.

— Я тоже только подполковник. А вот вызвали и приказали принять всю разведку целой армии. Я сейчас не только принимаю дела, но и формирую свою команду. Кое-кого я за собой перетаскил со своей прежней работы. Я был начальником разведки 87-й дивизии. Но у меня теперь хозяйство во много раз больше, и мне нужно очень много толковых исполнительных ребят, на которых можно положиться. И штаб разведывательного батальона — это минимум для тебя. Я попробую тебя и на более высоком посту. Если справишься... — он смотрит на часы. — Двадцать минут тебе на сборы. В 21.30 отсюда в Ровно, в штаб 13-й армии пойдет наш автобус. В нем зарезервировано место и для тебя. Я заберу тебя к себе в разведывательный отдел штаба 13-й армии, если завтра ты сдашь экзамены.

Экзамены я сдал.

Глава вторая

1.

От офицерской гостиницы до штаба 13-й армии — двести сорок шагов. Каждое утро я, не спеша, иду вдоль шеренги старых кленов, мимо пустых зеленых скамеек прямо к высокой кирпичной стене. Там, за стеной, в густом саду — старинный особняк. Когда-то очень давно тут жил богатый человек. Его, конечно, убили, ибо это несправедливо, чтоб у одних большие дома были, а у других — маленькие. Перед войной в этом особняке размещалось НКВД, а во время нее — Гестапо. Очень уж место удобное. После войны тут разместился штаб одной из наших многочисленных армий. В этом штабе я теперь служу.

Штаб — это концентрация власти, жестокой, неумолимой, нестигаемой. В сравнении с любым из наших противников — наши штабы очень малы и предельно подвижны. Штаб армии — это семьдесят генералов и офицеров да рота охраны. Это все. Никакой бюрократии. Штаб армии может в любой момент разместиться на десяти бронетранспортерах и раствориться в серо-зеленой массе подчиненных ему войск, не теряя при этом руководства ими. В этой его незаметности и подвижности — неуязвимость. Но и в мирное время он защищен от всяких случайностей. Еще первый владелец

огородил свой дом и большой сад высокой кирпичной стеной. А все последующие владельцы стену эту укрепляли, надстраивали, дополняли всякими штуками, чтобы начисто отбить охоту через стену перелезть.

У зеленых ворот — часовой. Предъявим ему пропуск. Он его внимательно рассмотрит и — рука к козырьку: проходите, пожалуйста. От контрольного пункта самого здания не видно. К нему ведет дорога между стен густых кустов. С дороги не свернешь — в кустах непролазная чаща колючей проволоки. Так что иди по дороге, как по туннелю. А дорога плавно поворачивает к особняку, спрятанному среди каштанов. Окна его первого этажа много лет назад замурованы. На окнах второго этажа — крепкие решетки снаружи и плотные шторы изнутри. Площадка перед центральным входом вымощена чистыми белыми плитами и окружена стеной кустов. Если присмотреться, то, кроме колючей проволоки в кустах, можно увидеть и серый шершавый бетон. Это пулеметные казематы, соединенные подземными коридорами с подвальным помещением штаба, где размещается караул.

Отсюда, от центрального двора, дорога поворачивает вокруг особняка к новому трехэтажному корпусу, пристроенному к главному зданию. Отсюда можно наконец попасть в парк, который зеленой мглой окутывает весь наш Белый дом.

Днем на дорожках парка можно увидеть только штабных офицеров, ночью — караулы с собаками. Тут же в парке, совсем неприметный со стороны, вход в подземный командный пункт, сооруженный глубоко под землей и защищенный тысячами тонн бетона и стали. Там под землей — рабочие и жилые помещения, узел связи, столовая, госпиталь, склады и все, что необходимо для жизни и работы в условиях полной изоляции. Но, кроме этого подземного КП, есть еще один. Тот не только бетоном, сталью и собаками защищен, но и тайной. Тот КП — призрак. Мало кто знает, где он расположен.

До начала рабочего дня — двадцать минут, и я брожу по дорожкам, шурша первым золотом осени. Далеко-далеко в небе истребитель чертит небо, пугая журавлей, кружащих над невидимым отсюда полем.

Вот офицеры потянулись к Белому дому. Время. Двинемся и мы. По дорожке, к широкой аллее, мимо журчащего ручья, теперь

обогнем левое крыло особняка, вот мы снова на центральном дворике, среди густых кустов, под тяжелыми взглядами пулеметных амбразур из-под низких бетонных лбов сумрачных казематов.

Предъявим снова пропуск козыряющему часовому и войдем в гулкой беломраморный зал, где когда-то звенели шпоры, шелестели шелком юбки и за страусовыми перьями вееров прятали томные взгляды. Теперь тут юбок нет. Редко-редко мелькнет телеграфистка с узла связи. Юбка на ней суконная, форменная, хаки, в обтяжку. Что, полковники, вслед смотрите? Нравится?

По беломраморной лестнице — вверх. Тут уж мне вслед смотрят. Там наверху часовой. Там еще одна проверка документов. И сюда наверх отнюдь не каждому штабному полковнику вход разрешен. А я только старший лейтенант, но пропускают меня часовые. Внизу удивляются. Что за птица? Отчего по мраморной лестнице вверх ходит?

Предъявим еще раз пропуск и войдем в затемненный коридор. Тут ковры совсем заглушат наши шаги. В конце коридора — четыре двери, в начале — тоже четыре. Там, в конце коридора, кабинеты командующего армией, его первого заместителя, начальника штаба и политического шамана 13-й армии, который именуется — член Военного совета.

А четыре двери в начале коридора — это самые важные отделы штаба: первый, второй, восьмой и особый. Первый отдел — оперативный, он занимается боевым планированием. Второй отдел — разведывательный, он поставляет первому отделу всю информацию о противнике. Восьмой отдел названия не имеет, у него есть только номер. Мало кто знает, чем этот отдел занимается. А у особого отдела наоборот — номера нет, только название. Чем занимается — все знают.

Наш коридор — наиболее охраняемая часть штаба, и доступ сюда разрешен очень ограниченному числу офицеров. Конечно, в наш коридор и некоторые лейтенанты ходят: особисты и генеральские адъютанты. Вот и мне вслед полковники смотрят: что за гусь? А я не особист и не адъютант. Я — офицер второго отдела. А вот наша черная кожаная дверь — первая налево. Набрали шифр на пульте — и дверь плавно открылась. А за ней еще одна, на этот раз бронированная, как в танке. Нажмем на кнопку звонка, на нас глянет бдительное око через пуленепробиваемую смотровую щель, и щелкнет замок — вот мы и дома.

Раньше тут, видимо, был один большой зал, потом его разделили на шесть не очень больших кабинетов. В тесноте, но не в обиде. В одном кабинете — начальник разведки 13-й армии, мой благодетель и покровитель, пока еще подполковник, Кравцов. В остальных пяти кабинетах работают пять групп отдела. Первая группа руководит всей нижестоящей разведкой — разведывательными батальонами дивизий, разведротами полков, внештатными разведротами, артиллерийской, инженерной и химической разведкой. Пятая группа занимается электронной разведкой. В ее подчинении два батальона пеленгации и радиоперехвата, а кроме того, эта группа контролирует электронную разведку во всех дивизиях, входящих в состав нашей 13-й армии. Вторая и третья группы для меня — терра инкогнита. Но проработав в четвертой группе месяц, я начинаю догадываться о том, чем эти совершенно секретные группы занимаются. Дело в том, что наша четвертая группа занимается окончательной обработкой информации, поступающей из всех остальных групп отдела. А кроме того, к нам стекается информация: снизу — от штабов дивизий, сверху — из штаба округа, сбоку — от соседей, пограничных войск КГБ.

В нашей группе в мирное время три человека. В военное время должно быть десять. В кабинете три рабочих стола. Тут работают два подполковника — аналитик и прогнозист, и я — старший лейтенант. Я работаю на самой простой работе — на перемещениях. Понятно, что аналитик в нашей группе старший.

Раньше на перемещениях тоже работал подполковник. Но новый начальник разведки его изгнал из отдела, освободив место для меня. Но должность эта по штату подполковничья, и это означает, что если мне на ней удастся удержаться, то очень скоро стану капитаном, а потом через четыре года — так же автоматически майором, а еще через пять лет — подполковником. Если за эти годы мне удастся прорваться выше, то и следующие звания будут идти автоматически по выслуге лет. Но если я скачусь вниз, то за каждую новую звезду придется грызть кому-то глотку.

Подполковникам совсем не нравится инициатива нового начальника разведки — посадить в подполковничье кресло старшего лейтенанта, мое появление унижает их авторитет и опыт, но не это главное. Главное в том, что и в их кресла новый начальник может посадить молодых и порывистых. Они оба смотрят на меня и только слабыми кивками отвечают на приветствие.

В рабочем кабинете информационной группы разведывательного отдела три стола, три больших сейфа, книжные полки во всю стену и карта Европы — тоже во всю стену. Прямо напротив входа — небольшой портрет молодявого генерала. На погонах по три звезды. Иногда, когда никто не видит, я улыбаюсь генерал-полковнику и подмигиваю ему. Но генерал-полковник с портрета никогда мне не улыбается. Взгляд его холоден, суров и серьезен. Глаза, зеркало души, жестоки и властны. В уголках губ — легкая тень презрения. Под портретом нет никакой надписи. Нет ее и на обратной стороне портрета. Я проверял, когда в комнате никого не было. Вместо имени там стоит печать “Войсковая часть 44388” и грозное предупреждение: “Содержать только в защищенных помещениях Аквариума и подчиненных ему учреждений”. Командный состав Советской Армии я знаю хорошо. Офицер обязан это знать. Но совершенно уверен, что генерал-полковника с портрета я не видел ни в одном военном журнале, включая и секретные. Ладно, товарищ генерал, не мешайте работать.

Передо мной на столе пачка шифровок, поступивших за прошлую ночь. Моя работа разобраться с ними, изменения в составе и дислокации войск противника внести в “Журнал перегруппировок” и нанести на Большую карту, которая хранится в первом отделе штаба армии.

Первая шифровка сразу ставит в тупик: на железнодорожном мосту через Рейн вблизи Кельна зарегистрирован эшелон, двадцать британских танков “Чифтен”. Идиоты! В каком направлении прошел эшелон? Это усиление или ослабление? 20 танков — пустяк. Но из таких крупниц, и только из них, создается общая картина происходящего. И аналитик, и прогнозист имеют на столах точно такие же копии шифровок. И оттого, что они совершенно четко представляют себе картину происходящего, оттого, что в своих головах они держат тысячи цифр, дат, имен и названий, им, конечно, не надо поднимать шифровки предыдущих дней, чтобы там найти ключ к разгадке такого пустякового вопроса. Они испытующе смотрят на меня и совсем не спешат подсказать нужный ответ. Я поднимаюсь со своего места и иду к сейфу. Если перечитать снова все шифровки предыдущих дней, то, наверное, ответ будет однозначным. А четыре злых глаза мне в спину: трудись, старлей, знай, за что подполковники свой хлеб жуют.

2.

Мы работаем до 17.00 с одним часовым перерывом на обед. Тот, кто имеет срочную работу, может оставаться в кабинете до 21.00. После этого все документы полагается сдать в секретную библиотеку, а сейфы и двери опечатать. Только подземный командный пункт не спит.

Во время обострения обстановки мы по очереди остаемся в штабе. В каждой группе по одному офицеру. А в моменты кризисов — все офицеры штаба по несколько дней живут и работают в своих кабинетах или под землей. В подземном КП условия для жизни гораздо лучше, но там нет солнца, и потому, если можно, большую часть времени мы проводим в наших немного тесных кабинетах.

Если нет шифровок, то я читаю “Разведывательную сводку“ Генерального штаба. Я полюбил эту пухлую, в 600 страниц, книгу. Я зачитываюсь ею, многие страницы знаю чуть ли не наизусть, несмотря на то, что каждая из них вмещает иногда по несколько сот цифр и названий. Когда нет кризисов и напряженного положения, то подполковники ровно в 17.00 исчезают. У них, как у павловских подопытных псов, в определенное время слюна выделяется, чтобы плюнуть на печать и вдавить ее в пластилин на сейфе. С этого момента я остаюсь один. Я читаю “Разведывательную сводку“ сотый раз. А кроме общей сводки, есть такая же толстая книга о бронетанковой технике, о флоте, о системе мобилизации бундесвера, о французских ядерных исследованиях, о системе тревог НАТО и еще черт знает о чем.

— Ты спишь когда-нибудь?

Я и не заметил, как на пороге появился подполковник Кравцов.

— Иногда, а вы?

— Я тоже иногда. — Кравцов смеется. Я знаю, что Кравцов каждый вечер сидит допоздна или же неделями пропадает в подчиненных ему подразделениях.

— Тебя проверить?

— Да.

— Где находится 406-е тактическое истребительное тренировочное крыло ВВС США?

— Сарагоса, Испания.

— Что входит в состав 5-го армейского корпуса США?

— 3-я бронетанковая, 8-я механизированная дивизии и 11-й бронекавалерийский полк.

— Для начала неплохо. Смотри, Суворов, скоро будет проверка, если ты не справишься с работой, то тебя выгонят из штаба. Меня не выгонят, но по шею дадут.

— Стараюсь, товарищ подполковник.

— А сейчас иди спать.

— Еще час можно поработать.

— Я сказал, иди спать. Ты мне рехнувшийся тоже не нужен.

3.

Через две недели, когда подполковник-прогнозист находился в штабе округа, мне пришлось работать вместо него. За один день и две ночи я подготовил свой первый разведывательный прогноз: два тонких печатных листа с названием “Предполагаемая боевая активность 3-го корпуса бундесвера на предстоящий месяц”. Эти листы начальник разведки просмотрел и приказал передать в первый отдел. Все прошло как-то буднично. Меня никто не хвалил, но никто и не смеялся над моим творением.

4.

Воздушная волна бумаги со столов сорвала. Подполковники их телами накрывают. Не разлетелись бы. За каждую бумажку по 15 лет получить можно. Дверь кабинета без стука на всю ширину раскрылась. В двери лейтенант.

— Здравствуйте, Константин Николаевич, — улыбаются лейтенанту подполковники. Красив лейтенант, высок, плечист. Ногти розовые, полированные. Лейтенанта в штабе только по имени-отчеству называют. Положение его завидное — адъютант начальника штаба армии. Если просто его назвать “товарищ лейтенант” — это вроде как обидеть его. Поэтому — Константин Николаевич.

— Перемещения, — небрежно бросает Константин Николаевич. Можно, конечно, сказать: “Начальник штаба требует к себе офицера по перемещениям с докладом об изменениях в группировке противника за прошлую ночь”. Но можно и проще это сделать, как это Константин Николаевич делает: коротко, с легким презрением.

Я быстро шифровки в папку собираю. Адъютант генеральский чуть подобрел, даже улыбнулся: “Не суетись под клиентом”.

Подполковники адъютантской шутке зубки скалят. Суки штабные. За места теплые держитесь. А я этого терпеть не буду. Мне, кроме своих цепей, терять нечего:

— Не хаами, лейтенант.

Лицо адъютанта вытянулось. Подполковники умолкли, на меня звериные взгляды устави́ли. Дурак, выскочка, хам. Как же ты с адъютантом разговариваешь? С Константином Николаевичем? Тут тебе не батальон. Тут штаб! Тут обстановку тонко чувствовать надо. Ты, деревенщина неотесанная, и на нас гнев накликаешь!

Выхожу из кабинета, генеральского адъютанта вперед себя не пропустив. И не пропущу никогда. Подумаешь, адъютантишко! Холуй генеральский. Ты солдата видел ли когда-нибудь на огневом рубеже? На стрельбище? Когда у него автомат с патронами, а у тебя только флажок красный в руке? Почувствовав оружие, идет солдат на мишени и мыслью терзается — а не врезать ли длинную очередь по командиру своему? За свою жизнь я каждого своего солдата десятки раз через огневой рубеж водил. И не однажды видел сомнение в солдатских глазах: по фанерке стрелять или насладиться смертью настоящей? А ты, адъютантик, водил солдат на огневой рубеж? А видел ты их один на один в лесу, в поле, на морозе, в горах? А видел ты злобу солдатскую? А случилось тебе вдруг застать всю роту пьяной с боевым оружием? Ты, адъютант, на мягких коврах карьеру делаешь и не рыпайся на Витю Суворова. Я терпел бы, если б ты капитаном был или если хотя бы одного возраста со мной оказался. А ты же сопляк, мальчишка, как минимум, на год младше меня.

В коридоре генеральский адъютант как бы нечаянно мне больно на ногу наступил. Я ждал выходки какой-нибудь и готов к ней был. Шел я чуть впереди адъютанта и чуть левее. И потому правым своим локтем двинул резко назад. В мягкое попал. Что-то в адъютанте булькнуло. Охнул адъютант, ртом разинутым воздух хватает, изогнулся, к стенке привалился. Медленно разгибается адъютант. Выше он меня и в кости шире. Кисти рук огромные. Мячик баскетбольный, наверное, той кистью без труда держать можно. Но пузечко слабеньким оказалось. А может, просто не ожидал удара. Это ты, адъютант, дурака сваял. Удара всегда ожидать нужно. Каждое мгновение. Тогда и не будет такого сокрушительного эффекта.

Медленно адъютант выпрямляется, от моей руки взгляда не отрывает. А у меня два пальца рогаткой растопырены. Во всех странах этот жест викторию означает, победу то есть. А у нас этот жест означает: “Гляделки, сука, выколю”.

Поднимается он медленно по стеночке, от растопыренных пальцев взгляд не отрывает. И понимает он, что его высокий покровитель ему сейчас не защита. Мы один на один, в пустом коридоре, как единоборцы на древнем поле боя, когда перед кровавой битвой от двух несметных армий вышли на середину только двое и будут бить друг друга. Он выше меня и шире, но сейчас он понимает, что суета жизни простилась со мной, и уже ничего, кроме победы, для меня неважно, и что за победу я готов платить любую цену, даже собственную жизнь. Он уже знает, что на любое его действие или даже слово я отвечу жутким ударом растопыренных пальцев в глаза и тут же вцеплюсь ему в глотку, чтобы уже никогда ее не отпустить.

Он, не моргая, медленно поднимает свои руки к горлу и, нащупав галстук, поправляет его:

— Начальник штаба ждет...

— Вас... — подсказываю я.

— Начальник штаба ждет ВАС.

Мне трудно возвращаться в этот мир. Я уже простился с ним перед смертельной звериной схваткой. Но он боя не принял. Я втягиваю воздух в себя и тру онемевшие от напряжения руки. Он не отрывает взгляда от моего лица. Мое лицо, видимо, изменилось, что-то говорит ему, что я его пока убивать не намерен. Я поворачиваюсь и иду по коридору. Он идет сзади. Я старший лейтенант, а ты еще только лейтенант, вот и топай сзади.

В приемной два стола, один против другого. Они, как бастионы, прикрывают каждый свою дверь. Одна дверь в кабинет командующего, другая в кабинет начальника штаба. У двери командующего за полированным столом — его адъютант. Он тоже лейтенант, но и его никто по званию или по фамилии в штабе не называет — Арнольд Николаевич его имя. Тоже высокий, тоже красивый. Форма на нем не офицерского — генеральского сукна. Ко мне с его стороны тоже никакого почтения, сквозь меня смотрит, не замечая. Есть на то причина: мой шеф, начальник разведки подполковник Кравцов, назначен на свой высокий пост без согласия командующего армией, его заместителя и начальника штаба, вытеснив их человека с этого важного поста. И оттого к моему шефу презрение ко-

мандующего, придирки начальника штаба. Оттого ко всем нам, ко-го Кравцов за собой привел, общая ненависть офицеров штаба, особенно тех, кто работает на Олимпе, на втором этаже. Мы — чужаки. Мы незваные гости в теплой компании.

Начальник штаба генерал-майор Шевченко вопросы ставит толково, слушает, не перебивая. Я ждал придирок, но он только пристально смотрит мне в лицо. В штабе появляются новые офицеры. Чья-то невидимая мощная рука толкает их прямо на мягкие ковры второго этажа. Мнения начальника штаба теперь почему-то не спрашивают, и это не может ему нравиться. Власть мягко, как вода, струится сквозь пальцы, как ее удержать? Он отворачивается к окну и смотрит в сад, заложив руки за спину. Кожа на его щеках фиолетовая, чуть-чуть жилки проступают. Я стою у двери, не зная, что делать.

— Товарищ генерал, разрешите идти?

Не отвечает. Молчит. Может, вопроса не услышал. Нет, услышал. Помолчав еще, он коротко отвечает “да“, не повернув ко мне головы.

В приемной оба адъютанта встречают меня недобрыми взглядами. Ясно, что адъютант начальника штаба уже все рассказал своему коллеге. Конечно, они еще не доложили о случившемся своим покровителям, но непременно это сделают. Для этого они должны выбрать удобный момент, когда босс в соответствующем для подобного доклада настроении.

Я иду к двери, спиной чувствуя их ненавидящие взгляды, как пистолеты в затылок. Чувства во мне два сейчас — облегчение и досада. Служба моя штабная завершена, и ждет меня белая бескрайняя ледяная пустыня за Полярным кругом или желтая раскаленная пустыня, возможно, еще и суд офицерской чести.

Подполковники встречают меня гробовым молчанием. Они, конечно, не знают того, что случилось в коридоре, но и того, что случилось тут в кабинете, вполне достаточно, чтобы уже меня не замечать. Я — выскочка. Я внезапно взлетел высоко, но, не понимая этого и по достоинству не оценив случившегося, на этом месте не удержался и сорвался в пропасть. Я — никто. И моя участь их не беспокоит. Их интересует более важный вопрос: будет ли удар по мне перенесен и на моего, столь ими ненавидимого шефа.

Я запираю документы в сейф и спешу к подполковнику Кравцову, предупредить о грозящих ему неприятностях.

— С адъютантами не надо ссориться, — назидательно говорит он, не проявляя, однако, особого беспокойства по поводу случившегося. О том, что я ему рассказал, он, кажется, забывает мгновенно. — Чем ты намерен заниматься сегодня вечером?

— Готовиться к сдаче должности.

— Тебя еще никто из штаба не выгоняет.

— Значит, скоро выгонят.

— Руки коротки. Я тебя сюда, Суворов, за собой привел, и только я тебе могу дать команду убираться отсюда. Так чем ты намерен заниматься вечером?

— Изучать 69-ю группу сил 6-го флота США.

— Хорошо. Но тебе, кроме умственных, нужны и физические нагрузки. Ты — разведчик, ты должен пройти курс нашей подготовки. Ты знаешь, чем занимается вторая группа нашего отдела?

— Знаю.

— Как ты это можешь знать?

— Догадался.

— Так чем вторая группа, по твоему мнению, занимается?

— Руководит агентурной разведкой.

— Правильно. А может, ты знаешь и чем третья группа занимается. — Он недоверчиво смотрит на меня.

— Знаю.

Он ходит по комнате, стараясь осмыслить то, что я ему сказал. Затем он порывисто садится на стул.

— Садись.

Я сел.

— Вот что, Суворов, из второй группы ты получал для обработки крупницы информации, и поэтому ты мог догадаться об их происхождении. Но из третьей группы ты ни черта не получал...

— Из этого я сделал вывод, что силы, подчиненные третьей группе, действуют только во время войны, а дальше догадался.

— Твоя догадка могла быть неверной...

— Но офицеры в третьей группе очень высокие, все как один...

— Чем же они, по-твоему, занимаются?

— Во время войны они вырывают информацию силой...

— ...и хитростью, — вставил он.

— Они диверсанты, террористы.

— Ты знаешь, как это называется?

— Этого я знать не могу.

— Это называется Спецназ. Разведка специального назначения. Диверсионная, силовая разведка. Мог ли ты догадаться, сколько диверсантов в подчинении третьей группы?

— Батальон.

Он вскочил со стула:

— Кто тебе это сказал?

— Догадался.

— Как?

— По аналогии. В каждой дивизии одна рота занимается глубокой разведкой. Это, конечно, не Спецназ, но нечто очень похожее. Армия на ступень выше дивизии, значит, в вашем распоряжении должна быть не рота, а батальон, то есть на ступень выше.

— Четыре раза в неделю по вечерам будешь являться вот по этому адресу, имея с собой спортивный костюм. Все. Иди.

— Есть!

— Если придет новый командующий армии и новый начальник штаба, а следовательно, и новые адъютанты, постарайся иметь с ними хорошие отношения.

— Вы думаете, что командование нашей армии скоро сменится?

— Я тебе этого не говорил.

5.

В нашей информационной группе разведывательного отдела небольшие изменения. Подполковник, который работал на прогнозах, внезапно уволен в запас. Его вызвали на медицинскую комиссию, которая нашла нечто такое, что мешает ему оставаться в армии. На пенсии ему будет лучше. Уходить ему никак не хотелось, ибо каждый год после двадцати пяти дает солидную надбавку к пенсии. Но доктора неумолимы: ваше здоровье дороже всего.

Вместо подполковника на должность прогнозиста назначен капитан из разведки 87-й дивизии.

6.

Начальник штаба должен знать все о противнике, поэтому каждое утро, разобравшись с шифровками, я иду к нему на доклад. Он

никогда не вызывает меня по телефону, просто посылает адъютанта.

После нашей стычки прошло уже две недели. Я уверен, что адъютант давно доложил своему шефу о случившемся, конечно, в выгодном для себя свете. Но я все еще хожу по коридорам второго этажа, я еще не провалился в тартарары. Это генеральским адъютантам не совсем понятно. Им ясно, что я какое-то исключение в правиле, но они не знают, какое и почему, и потому они не хамят мне больше. Этот вопрос и меня занимает самого — отчего, черт побери, я исключение?

7.

У нас изменения. Начальник первого отдела штаба смещен. Вместе с ним уволены старшие групп и некоторые ведущие офицеры. Вместо полковника на должность поставлен подполковник. За собой он привел целый табун капитанов и старших лейтенантов и рассадил их по подполковничьим местам.

8.

— Начальник разведки 13-й армии приказал мне пройти сокращенный курс подготовки для работы в третьей группе.

— Да... да... я знаю... заходи. — Он широко улыбается. Ручищи у него, как клешни у краба. — Информаторы должны работать у нас, они должны понимать, как кусочки информации собираются и какова им цена. Переодевайся.

Сам он босиком, в зеленой куртке и в зеленых брюках, мягких, но, видимо, прочных. Руки по локоть обнажены и напоминают мне здоровенные, необычно чистые, волосатые лапы хирурга, который лет пять назад собирал меня из кусочков.

Мы в широкое солнечное спортивное зале. Посреди зала два одиноких стула кажутся совсем маленькими в этой необъятной шири.

— Садись.

Мы сели на стулья лицом к лицу.

— Руки на колени положи и расслабь их, как плети. Всегда так сиди. В любой обстановке ты должен быть предельно расслаблен.

Нижние зубы не должны касаться верхних. Челюсть должна отвисать, слегка, конечно. Шею расслабь. Ноги. Ступни. Ногу на ногу никогда не клади — это нарушает кровообращение. Т-а-а-к. — Он встал, обошел меня со всех сторон, придирчиво оглядывая. Потом ручищами ощупал шею, мышцы спины, кисти рук.

— Никогда не барабань пальцами по столу. Так делают только неврастеники. Советская военная разведка таких в своих рядах не держит. Что ж, ты достаточно расслаблен, приступим к занятиям.

Он садится на стул, руками держится за сиденье, потом качается на двух задних ножках стула и вдруг, качнувшись резко назад, опрокидывается на спину вместе со стулом. Улыбается. Вскакивает. Поднимает стул и садится на него, скрестив руки на коленях.

— Запомни, если ты падаешь назад, сидя на стуле, с тобой ничего не может случиться, если, конечно, сзади нет стенки или ямы. Падать назад, сидя на стуле, так же просто и безопасно, как опуститься на колени или встать на четвереньки. Но природа наша человеческая противится падению назад. Нас сдерживает только наша психика... Возьмись руками за сиденье... Я тебя подстраховывать не буду, удариться ты все равно не можешь... Покачайся на задних ножках стула... Стой, стой, боишься?

— Боюсь.

— Это ничего. Это нормально. Было бы странно, если бы не боялся. Все боятся. Возьмись руками за сиденье. Начинай без моих команд. Покачались...

Я качался на стуле, балансируя, затем слегка нарушил баланс, качнувшись чуть больше, и стул медленно пополз в бездну. Я вжался в сиденье. Я втянул голову в плечи. Потолок стремительно уходил вверх, но падение затянулось. Время остановилось. И вдруг спинка стула грохнулась об пол. Только тут я по-настоящему испугался и в то же мгновение радостно рассмеялся: со мной решительно ничего не случилось. Голова, повинувшись рефлексу, чуть ушла вперед, и оттого я просто не мог удариться затылком. Удар приняла спина, плотно прижатая к спинке стула. Но площадь спины гораздо больше площади ступней, и оттого падение назад менее неприятно, чем прыжок со стула на землю.

Он протянул мне руку.

— А можно я еще попробую?

— Конечно, можно, — улыбается.

Я сел на стул, ухватился руками за сиденье и повалился назад.

— Я еще попробую, — радостно кричу я.

— Да, да, наслаждайся.

9.

— По нашему заказу Академия наук разработала методику прыжков из скоростного поезда, а равно из автомобиля, трамвая... Математические формулы тебе не нужны, пойми только вывод: из стремительно несущегося поезда надо прыгать задом и назад, приземляться на согнутые ноги, стараясь сохранить равновесие и не коснувшись руками земли. В момент касания земли нужно мощно оттолкнуться и несколько секунд продолжать бег рядом с поездом, постепенно снижая скорость. Наши ребята прыгают с поездов на скоростях 75 километров в час. Это общий стандарт. Но есть одиночки, которые этот стандарт значительно перекрывают, прыгая с гораздо более скорых поездов, прыгая под уклон, с мостов, прыгая с оружием в руках и со значительным весом за спиной. Запомни, главное — не коснуться руками земли. Ноги вынесут тебя. Мышцы ног обладают исключительной силой, динамичностью и выносливостью. Касание рукой может нарушить стремительный ритм движения ног. За этим следует падение и мучительная смерть. Потренируемся. Вначале тренажер. Настоящий поезд будет позже. Начинаем со скорости десять километров в час...

10.

А через месяц мы вдвоем стояли на перилах железнодорожного моста. Далеко внизу холодная свинцовая река медленно несет свои воды, сворачиваясь в могучие змеинные кольца у бетонных опор. Я уже грамотен и понимаю, что человек может ходить и по телеграфному проводу над бездонной пропастью. Все дело в психической закалке. Человек должен быть уверен, что ничего плохого не случится, и тогда все будет нормально. Цирковые артисты тратят годы на элементарные вещи. Они ошибаются. У них нет научного подхода. Они базируют свою подготовку на физических упражнениях, не уделяя достаточного внимания психологии. Они тренируются много, но не любят смерть, боятся ее, стараются ее обойти, забывая о том, что можно наслаждаться не только чужой смертью, но и своей

собственной. И только люди, не боящиеся смерти, могут творить чудеса вместе с богами.

— Дураки говорят, что вниз смотреть нельзя, — кричит он. — Какое наслаждение смотреть вниз на водовороты!

Я смотрю в глубину, и она больше не кажется мне жуткой и влекущей, как змеиная пасть для лягушонка. И ладони мои больше не покрываются отвратительной холодной влагой.

11.

Опять изменения в руководстве 13-й армии. В каждой армии по два генерал-майора артиллерии. Один командует ракетными подразделениями и артиллерией, второй — ПВО. В 13-й смещены оба.

12.

В Прикарпатском военном округе грандиозные изменения.

Скоропостижно скончался командующий Прикарпатским военным округом генерал-полковник Бисярин. Еще не прошло и года с того времени, когда он командовал Прикарпатским фронтом в Чехословакии. Он был бодр и здоров и правил четырьмя армиями своего фронта легко и свободно. Говорят, что он никогда не болел. И вот его нет.

Командование военным округом принял генерал-лейтенант танковых войск Обатуров. И тут же в штабе военного округа произошло массовое смещение людей Бисярина и их замена людьми Обатурова. И тут же волна изменений покатила вниз в штабы армий. В округе их четыре: 57-я воздушная, 8-я гвардейская танковая, 13-я и 38-я. По мягкому ковру нашего коридора быстро прошли два новых генерала — новый командующий нашей 13-й армией и новый начальник штаба.

В этот день броневую дверь разведывательного отдела всем посетителям открывал я. Звонок. Через танковый триплекс я вижу незнакомого лейтенанта. О, я знаю, кто это.

— Пароль?

— Омск.

— Допуск?

— 106.

— Заходите, — тяжелая дверь плавно отошла в сторону, пропускающая лейтенанта.

— Доброе утро. Товарищ старший лейтенант, мне нужен начальник разведки.

— Я доложу ему. Одну минуту подождите, пожалуйста. — Я стукнул в дверь своего шефа и тут же вошел:

— Товарищ подполковник, к вам адъютант нового командующего армии.

— Просите.

Лейтенант входит:

— Товарищ подполковник, вас просит командующий.

Я знаю наперед, что будут учения, что шифровки будут сыпаться, как из рога изобилия, что молодые адъютанты устанут смертельно, у них будут красные, воспаленные глаза, когда ночами мы будем вместе с ними работать над большой картой. Я знаю, что после первых учений два новых адъютанта и я напьемся до зеленых чертиков и станем друзьями. Я буду рассказывать им похабные анекдоты, а они мне — смешные истории из интимной жизни их покровителей. Но и сейчас уже, после самой первой встречи, уже по тому, как адъютант приветствовал меня, и по тому, как он входил в кабинет моего шефа, я понимаю, что мы фигуры одного цвета. Новые генералы в штабе армии — люди Обатурова. Новые начальники отделов, включая и Кравцова, — люди Обатурова. Новые адъютанты, новые офицеры в штабе — все они люди Обатурова. Я осознаю впервые, что и я член этой группы. И я знаю, что сам новый командующий Прикарпатским военным округом генерал-лейтенант Обатуров — человек какой-то мощной группы, стремительно и неудержимо идущей к власти.

Все, кто пришел в этот штаб и в другие штабы округа раньше нас, все они — фигуры другого цвета. И их время кончилось. Тех, кто стар достаточно, будут вышибать на пенсию, остальных — в раскаленные пески. Старая группа под мощным, но невидимым со стороны ударом рухнула и рассыпалась, и ее осколкам никогда не быть верными слугами воротил этого общества, никогда не нежиться в лучах могущества...

В секретной библиотеке я столкнулся с бывшим адъютантом бывшего начальника штаба. Он сдавал документы. Он едет куда-то очень далеко командовать взводом. Он более двух лет уже офицер,

но никогда не имел в своем распоряжении недисциплинированных, полупьяных, совершенно неуправляемых солдат. Если бы с этого началась его служба, то все было бы нормально. Но его служба началась с мягких ковров. В любой обстановке он сытно ел и был в тепле. Теперь все ломалось. Человек привыкает быть на дне пропасти. А если он всегда там находился, то и с трудом представляет, что может быть какая-либо другая жизнь. Но лейтенант был вознесен к вершинам, а теперь снова падал в пропасть. На самое дно. И это падение было мучительным.

Он улыбается мне. А улыбка его кажется собачьей. Когда-то очень давно на Дальнем Востоке я видел двух псов, прибившихся к чужой своре. Но свора рычала, не желая принимать чужаков в свою среду. И тогда один из этих псов бросился на своего несчастного товарища и загрыз его. Их борьба продолжалась долго, и свора терпеливо следила за исходом поединка. Один ревел, а другой, более слабый, жутко визжал, не желая расставаться с жизнью. Убив своего товарища, а может быть, и брата, весь искусанный и изорванный пес, поджав хвост, подошел к своре, демонстрируя свою покорность. И тогда свора бросилась на него и разорвала.

Почему-то бывший адъютант мне напомнил того пса с поджатым хвостом, готового грызть кого угодно, лишь бы быть принятым в свору победителей. Дурак. Будь гордым. Езжай в свою пустыню и не виляй хвостом, пока тебя не загрызли.

13.

В ту ночь снился мне старый добрый еврей дядя Миша. Было мне тогда 15 лет. Учился я в школе и работал в колхозе. Зимой работал время от времени, летом — наравне с матерыми мужиками. Поэтому, когда на обсуждение встал серьезный вопрос, то на собрание позвали и меня. Дело вот в чем было: в конце августа каждый год наш колхоз отправлял в город Запорожье одного человека на две-три недели торговать арбузами. Конец августа приближался, и нужно было решить, кто из мужиков поедет в этом году торговать колхозными арбузами.

Сидят мужики в клубе. Пора горячая — уборка в разгаре, а мужикам не до уборки. Спорят все, кричат. Председатель предложил на арбузы зятя своего Сережку послать. Первые ряды молчат, а с задних свистят, стучат ногами и скамейками. Председатель ставит

вопрос на голосование. Разгорячился он, голову теряет. В таких случаях нужно сначала спросить: “Кто против?” Никто, конечно, не поднимет руку. Тогда и голосованию конец, значит, все согласны. Но председатель по ошибке спрашивает: “Кто за?” Он привык так вопрос ставить, когда нужно мудрую политику нашей родной партии одобрять. Но тут вопрос кровный. Тут все руки вверх единогласно не будут тянуть.

— Кто за? — повторяет председатель.

А зал молчит. Ни одна рука вверх не поднялась. Просчитался председатель. Не так вопрос поставил. Сережку, зятя председателева, нельзя посылать, значит. Махнул он рукой, сами тогда решайте. Опять шум и крик. Все с мест повскакали. Снова все недовольны.

А я в углу сижу. О чем люди спорят, никак в толк не возьму. Те мужики, что в прошлые годы арбузами торговать ездили, уверяют всех, что работа эта опасна: шпана на базаре зарезать может. Если ошибешься в расчетах, милиция арестует или придется потом с колхозом своими собственными деньгами рассчитываться. Но, странное дело, ни один из них, раньше торговавших, вроде бы и не очень упирается, если его на эту опасную неблагодарную работу вновь выдвигают. Зато все остальные сразу ногами топают и кричат, что он мошенник и плут и что от него только убыток колхозу.

Опять же странно, если работа опасная и неблагодарная, отчего его и не сунуть на эту работу вместо себя. Но нет. Не пускает собрание ни одного из названных.

Все новых кандидатов называют. И все так же решительно собрание их отклоняет. Чудеса. Нет бы первого, кого председатель назвал, и послать на это проклятое место. Всем бы облегчение. Так нет же, никому не хочется посылать туда ни врага своего, ни друга, ни соседа. Такое впечатление, что каждый сам туда норовит попасть, да другие его не пускают. А коли я туда не попал, так и тебя не пушу.

Спорили, спорили, утомились. Всех перебрали. Всех отклонили.

— Кого ж тогда? Витьку Суворова, что ли? Мал он еще.

Но мужики на этот счет другое мнение имели. Я им не равен ни по возрасту, ни по опыту, ни по авторитету, для мужиков вроде бы как никто. И послать меня означало для них почти то же самое, что не послать никого. Пусть Витька едет, рассуждал каждый, лишь бы мой враг туда не попал. Так и порешили. Проголосовали единогласно.

но. Председатель и даже зять его Сережка — и те руки вверх подняли.

Привезли меня в город два лохматых мужика в три часа ночи. Вместе мы арбузы разгрузили, уложили их в деревянный короб у зеленого дощатого навеса, в котором мне предстояло проработать шестнадцать дней и проспять пятнадцать ночей.

В пять утра базар уже гудел тысячами голосов. Мужики давно уехали, а я один со своими арбузами остался. Торгую. Из-за прилавка не выхожу. Стесняюсь. Ноги босые, а в городе никто так не ходит.

Торгую, судьбу проклиная. Еще меня никто и резать не собирается, а жизнь уж в моих глазах меркнет. Арбузы у меня отменные. Очередь у прилавка огромная. Все кричат, как на колхозном собрании. А я считаю. Цена моим арбузам — 17 копеек за килограмм. Это государственная цена, отклониться от нее — в тюрьму посадят. Считаю. Математику я любил. Но ничего у меня не получается. Весит, допустим, арбуз 4 кг 870 граммов, если по 17 копеек за килограмм брать, то сколько такой арбуз стоит? Если б толпа не шумела, если б та баба жирная меня за волосы ухватить не норовила, то я мигом бы сосчитал. А так ни черта не получается. Ни карандаша, ни бумажки с собой нет. Откуда знать было, что потребуются?

Толстые женщины в очереди злятся на медлительность, напирают на прилавок. Те, что купили, в сторонке сдачу подсчитывают, снова к прилавку подбегают, кричат, милицию вызвать грозятся. А арбузы самые разные, и вес у них разный, и цена разная, а копейка на доли не делится. Вспомнил я слова мужиков на собрании: просчитаешься, потом с колхозом своими деньгами рассчитываться будешь. А откуда у меня свои деньги? Ни черта у меня не получается. Я толпе кричу, что закрываю торговлю. Тут меня чуть не разорвали. Уж больно арбузы хорошие.

А напротив меня в лавочке старый еврей с косматыми белыми бровями сидит. Шнурками торгует. Смотрит он на меня, морщится, как от зубной боли. Невыносимо ему на эту коммерцию смотреть. То отвернется, то глаза к небу закатит, то на пол плюнет.

Долго он так сидел, мучился. Не выдержал. Закрыв лоточек свой, встал со мной рядом и давай торговать. Я ему арбузы кидаю,

на которые он длинным костлявым пальцем указывает, и пока успеваю я арбуз из кучи выхватить, он предыдущий на лету ловит, взвешивает, подает, деньги принимает, сдачу отсчитывает, мне на следующий пальцем тычет, да еще и улыбаться всем успевает. Да и тычет не на всякий арбуз, а с понятием: то меня на самый верх кучи гонит, то к основанию, то с другой стороны кучи забежать мне приходится, то обратно вернуться. А он всем улыбается. Ему все улыбаются. Все его знают. Все ему кланяются. “Спасибо, дядя Миша“, — говорят.

За час он всю очередь пропустил. А куча наполовину уменьшилась. Только мы с очередью управились, он мне кучу денег вывалил: трешки мятые, рубли рваные, кое-где и пятерки попадают. Мелочь звенящую он отдельной кучкой сложил, сдачу чтоб давать.

— Вот, — говорит, — выручка твоя. В правый карман ее положи, тут достаточно, чтобы с твоим колхозом за сегодня рассчитаться. А все, что сегодня еще выручишь, смело в свой левый карман клади.

— Ну, дядя Миша, — говорю, — век не забуду!

— Это не все, — говорит. — Это только я практику преподаю, а теперь теорию слушай.

Принес он лист бумаги. Написал цены на нем 1 кг — 17 копеек, 2 кг — 34... и так до десяти. Но с килограммами у меня проблемы не было, с граммами проблема. Вот и их он отдельным столбиком пишет: 50, 100, 150...

— Копейка на доли не делится, поэтому за 50 граммов ничего можно не взять, а можно взять целую копейку. И так правильно, и так. За 100 граммов можешь взять 1 копейку, а можешь 2 копейки взять. С хорошего человека бери всегда минимум, а с нормального человека всегда бери максимум.

Быстро он мне цены пишет... 750 — минимум 12 копеек, максимум — 13.

— Как же вы, дядя Миша, так считаете быстро?

— А я не считаю, я просто цены знаю.

— Черт побери, — говорю, — цены же меняются!

— Ну и что, — говорит, — если завтра тебе по 18 копеек прикажут продавать, значит, например, за 5 килограмм 920 грамм можно минимум взять рубль и 6 копеек, а максимум — рубль и 8 копеек. Граммы тоже округлять нужно для хорошего человека в сторону минимума, а для нормального — в сторону максимума. Хоро-

шему человеку хороший арбуз давай. Нормальному человеку — нормальный.

Как хороший арбуз от нормального отличить — я знаю. У хорошего арбуза хвостик засушен, а на боку желтая лысинка. А вот как хороших людей от обычных отличить? Если спрошу, ведь он смеяться будет. Вздыхнул я, но ведь и мне когда-то ума набираться надо, и спросил его...

От этого вопроса он аж присел. Долго вздыхал он, головой качал, глупости моей удивлялся.

— Заприметь хозяек из окрестных домов, тех, которые у тебя каждый день покупают. Вот им и давай лучшие арбузы, да по минимальной цене. Их немного, но они о тебе славу разносят, рекламу тебе делают, мол, честный, точный и арбузы сладкие. Они тебе очередь формируют. Раз две-три возле тебя стоят, значит, десять других вслед им пристроятся. Но это уж покупатели одноразовые. Им-то и давай обычные арбузы похуже, а бери максимум с них. Понял?

Картон с ценами он над моей головой приладил. Со стороны не видно, но стоит мне голову вверх задрать, вроде цены вычисляя, — все цены передо мной.

Так и пошла торговля. Быстро да с доходом. Хороши арбузы! Ах, хороши! Подходи — налетай! Через день окрестные домохозяйки меня узнавать стали. Улыбаются. Я им арбузы по минимальной цене — улыбаюсь. Всем остальным — по максимальной, тоже улыбаюсь.

С одного покупателя — доли копейки. С другого — тоже. Вдруг я понял выражение, что деньги к деньгам липнут. Не обманывал я людей, просто доли копейки в свою пользу округлял, но появились в моем левом кармане трешки мятые, рубли рваные, иногда и пятерки.

Посчитаю доход — все лишние деньги у меня. Сдам колхозу выручку, а в моем собственном кармане все прибывает. Появилась в кармане хрустящая десятка. Пошел я к дяде Мише, протягиваю.

— Спасибо, дядя Миша, — говорю. — Научил, как жить.

— Дурак, — говорит дядя Миша, — вон милиционер стоит. Ему дай. А у меня и своих достаточно.

— Зачем же милиционеру? — дивлюсь я.

— Просто так, — говорит. — Подойди и дай. От тебя не убудет. А милиционеру приятно.

— Я же преступления не совершаю. Зачем ему давать?

— Дай, говорю, — дядя Миша сердится. — Да когда давать будешь, не болтай. Просто сунь в карман и отойди.

Пошел я к милиционеру. Суровый стоит. Рубаха на нем серая, шея потная, глаза оловянные. Подошел к нему прямо вплотную. Аж страшно. А он и не шевелится. В нагрудный карманчик ему ту десятку, трубочкой свернутую, сунул. А он и не заметил. Стоит, как статуя, глазом не моргнет. Не шелохнется. Пропали, думаю, мои денежки. Он и не почувствовал, как я ему сунул.

На следующее утро тот милиционер снова на посту: “Здравствуй, Витя“, — говорит.

Удивляюсь я. Откуда б ему имя мое знать?

— Здравствуйте, гражданин начальник, — отвечаю.

А каждый вечер машина из колхоза приезжала. Отвалят мужики две-три тонны арбузов на новый день, а я за прошедший день отчет держу: было ровно две тонны; продал 1816 кг, остальные не проданы — битые и мятые, их 184 кг. Вот выручка — 308 рублей 72 копейки. Взвесят мужики брак, в бумагу запишут и домой поехали. А я битые арбузы корзиной через весь базар на свалку таскаю. За этим занятием меня дядя Миша застал. Охает, кричит, моей тупости дивится. Отчего, говорит, ты тяжелую грязную работу делаешь, да еще и без всякой для себя прибыли?

— Какая от них польза? — удивляюсь я. — Кто же их гнилые да битые купит?

Опять он сокрушается, глаза к небу закатывает. Продавать, говорит, их не надо. Но и таскать их на свалку тоже не надо. Оставь их, сохрани. Придет завтра контроль, а ты их и покажи второй раз, да вместе с теми, что завтра битыми окажутся. Продашь ты завтра, допустим, 1800 кг, а говори, что только 1650. А еще через день снова продашь 1800, но показывай все битые арбузы, что за три дня скопились, и говори, что удалось продать только 1500 килограммов.

Так и пошло.

— Не увлекайся, — дядя Миша учит. — Жадность фраера губит.

Это я и сам понимаю. Не увлскаюсь. Если 150 кг в день у меня битых, я только 300 кг показываю, но не больше. А ведь мог бы и полтонны показать. На этих битых арбузах в день я по 25 рублей в свой левый карман клал. В колхозе я и в месяц по столько не зара-

батывал. Да от долей тех копеечных в карманах оседало. Да еще несколько секретов дядя Миша шепнул.

В последний вечер захватил я шесть бутылок коньяка, надел новые туфли лакированные, пошел к дяде Мише.

— Дурак, — говорит дядя Миша. — Ты, — говорит, — эти бутылки своему председателю отдай, чтоб он и на следующее лето твою кандидатуру на собрании выдвинул.

— Нет, — говорю, — у тебя, может, и своих много, но возьми и мои тоже. Возьми их от меня на память. Если не нравятся — разбей об стенку. Но я тебе их принес и обратно не заберу.

Взял он их.

— Я, — говорю, — две недели торговал. А вы сколько?

— Мне, — отвечает, — семьдесят три сейчас, а вошел я в коммерцию с шести лет. При государе Николае Александровиче.

— Вы за свою жизнь, наверное, всем торговали?

— Нет, — отвечает, — только шнурками.

— А если б золотом пришлось торговать, сумели бы?

— Сумел бы. Но не думай, что на золоте проще деньги делать, чем на других вещах. Вдобавок все наперед знают, что ты миллионер подпольный. На шнурках больше заработать можно, и спокойнее с ними.

— А чем тяжелее всего торговать?

— Спичками. Наука исключительной сложности. Но если овладеть ею, то миллион за год сколотить можно.

— Вы, дядя Миша, если бы в капиталистическом мире жили, то давно бы миллионером были...

На это он промолчал.

— А у нас-то в социализме не развернешься, быстро расстреляют.

— Нет, — не соглашается дядя Миша, — и при социализме не всех миллионеров расстреливают. Нужно только десятку трубочкой свернуть — и милиционеру в карманшек. Тогда не расстреляют.

А еще говорил дядя Миша, что деньги собирать не надо. Их тратить надо. Ради них на преступление идти не стоит и рисковать из-за них незачем. Не стоят они того. Другое дело, если они сами к рукам липнут — тут уж судьбе противиться не нужно. Бери их и наслаждайся.

А на земле нет такого места, нет такого человека, к которому миллион бы сам в руки не шел. Правда, многие этих возможностей

просто не видят, не используют. И сказав это, он трижды повторил, что счастье не в деньгах. А в чем счастье, он мне не сказал.

Редко дядя Миша мне снится. Трудно сказать почему, но в те ночи, когда добрый старик приходит ко мне на пыльный базар, я плачу во сне. В жизни я редко плакал, даже и в детстве. А во сне — только когда его вижу. Шепчет дядя Миша на ухо мудрость жизни, а я все запоминаю и радуюсь, что ничего не упустил. И все им сказанное в уме стараюсь удержать до пробуждения. Все просто, истины — прописные. Но просыпаюсь — и не помню ничего.

Разбудил меня лучик яркого света. Потянулся я и улыбнулся мыслям своим. Долго вспоминал, что мне дядя Миша на ухо шептал. Нет, ничего не помню. А было что-то важное, чего никак забывать нельзя. Из тысячи правил только самый маленький кусочек остался: людям улыбаться надо.

Глава третья

1.

Главный элемент снаряжения диверсанта — обувь. После парашюта, конечно.

Матерый диверсант со шрамом на щеке выдал мне со склада пару ботинок, и я их с интересом разглядываю. Обувь эта — не то что ботинки, но и не сапоги. Нечто среднее. Гибрид, сочетающий в себе лучшие качества и сапога, и ботинка. В ведомости эта обувь числится под названием Бэ-Пэ — Ботинки Прыжковые. Так их и будем называть.

Сделаны эти ботинки из толстой мягкой воловьей кожи и весят гораздо меньше, чем это кажется по их виду. Ремней и пряжек на каждом ботинке много: два ремня вокруг пятки, один широкий вокруг ступни, два — вокруг голени. Ремни тоже очень мягкие. Каждый ботинок впитал в себя опыт тысячелетий. Ведь так ходили в походы наши предки: обернув ногу мягкой кожей и затянув ее ремнями. Мои сапоги именно так и сделаны: мягкая кожа да ремни.

Но вот таких подошв наши предки не знали. Подошвы толстые, широкие и мягкие. Мягкие, конечно, не значит, что не прочные. В каждой подошве по три титановых пластинки, они, как чешуя, одна

на другую наложены — и прочно, и гибко. Такие титановые пластинки-чешуйки в бронежилетах используются — пулей не пробьешь. Конечно, в подошвы они не против пуль вставлены. Эти титановые пластинки защищают ступни от шипов и кольев, что в изобилии встречаются на подступах к особо важным объектам. При случае с такими подошвами и по огню бегать можно. Пластинки и еще одну роль выполняют, они чуть выступают в стороны из подошв и служат опорами для лыжных креплений.

Рисунок на подошвах ботинок скопирован с подошв солдатской обуви наших вероятных противников. В зависимости от того, в каких районах предстоит действовать, мы можем оставлять за собой стандартный американский, французский, испанский или любой другой след.

И все же главная хитрость не в этом. Диверсионный, точнее прыжковый, ботинок имеет каблук впереди, а подошву сзади. Так что когда диверсант идет в одну сторону, его следы повернуты в другую. Понятно, что каблуки сделаны более тонкими, а подошвы более толстыми, так, чтобы ноге было удобно, чтобы перестановка каблук — вперед, подошва — назад не создавала трудностей при ходьбе.

Опытного следопыта вряд ли, конечно, обманешь. Он-то знает, что при энергичной, быстрой ходьбе носок оставляет более глубокую вмятину, чем пятка. Но много ли людей всматриваются в отпечатки солдатских подошв? Многие ли из них знают, что носок оставляет более четкий след? Многие ли обратят внимание на то, что вдруг появился след, у которого все наоборот? Многие ли смогут по достоинству оценить увиденное? Кому может прийти в голову идея сапога, у которого каблук на носке, а подошва на пятке? Кому в голову придет мысль, что, если следы ведут на восток, значит, человек прошел на запад?

Да ведь и мы не глупые. Диверсанты, как волки, они по одному не ходят. И, как волки, мы идем след в след. Пойми поди, сколько нас в группе было, трое или сто. А когда по одному следу прошло много ног, то уловить тонкий нюанс, что наши каблуки вдавили грунт больше, чем носки, почти невозможно.

К диверсионному ботинку есть только один тип носка: очень толстый, чистой шерсти. И куда бы мы ни шли, в тайгу или в знойную пустыню, носки будут всегда одинаковыми: толстые очень, шерстяные, серого цвета. Такой носок и греет хорошо, и хранит но-

гу от пота, не трет ее и не стирается сам. А носков у диверсанта две пары. Хоть на день идешь, хоть на месяц. Две пары. Крутись как хочешь.

Белье льняное, тонкое. Оно должно быть новым, но уже немного ношенным и минимум один раз стиранным. Поверх тонкого белья одевается “сетка” — второе белье, выполненное из толстых мягких веревок в палец толщиной. Так что между верхней одеждой и тонким бельем всегда остается воздушная прослойка почти в сантиметр. Умная голова это придумала. Если жарко, если пот катит, если все тело горит, такая сетка — спасение. Одежда к телу не липнет, и вентиляция под одеждой отменная. Когда холодно — воздушная прослойка хранит тепло, как перина, и вдобавок не весит ничего. Сетка и еще одно назначение имеет. Комариный нос, проткнув одежду, попадает в пустоту, не доставая до тела. Диверсанта в поле только злая судьба выгнать может. Диверсанта в лесу да на болоте обитает. Он часами в жгучей осоке, в огневой крапиве лежит под звенящим зудом комариным. И только сетка его и спасает. А уж сверху брюки и куртка — зеленые, из хлопчатой ткани. Швы везде тройные. Куртка и брюки мягкие, но прочные. На сгибах, на локтях и коленях, на плечах материя тройная, для большей прочности.

На голове диверсанта шлем. Зимой он кожаный, меховой, с шелковым подшлемником, летом — хлопчатый. Диверсионный шлем из двух частей: собственно шлем и маска. Шлем должен не слетать с головы ни при каких условиях, даже при десантировании. Он не должен иметь никаких пряжек, ремешков и выступов на внешней части, ибо он в момент прыжка находится прямо у парашюта. На шлеме не должно быть ничего, что могло бы помешать куполу и стропам четко раскрыться. Поэтому десантный шлем выполнен точно по форме человеческой головы и плотно закрывает голову, шею и подбородок, оставляя открытыми только глаза, нос и рот. Во время сильных морозов, а также при выполнении задания, маскировки ради глаза, нос и рот закрываются маской.

Есть у диверсанта еще и куртка. Она толстая, теплая, легкая, непромокаемая. В ней можно в болоте лежать — не промокнешь, и спать в снегу — не замерзнешь. Длина куртки — до середины бедра — и ходить не мешает, и если надо на льду сутками сидеть, чтоб она и сиденьем служила. Снизу куртка широкая. При беге и быстрой ходьбе это очень важно — вентиляция. Но если нужно, нижняя часть может быть стянута туго, облекая ноги и сохраняя тепло.

Раньше диверсанты и брюки такие же имели, толстые да теплые. Но это было неправильно. Когда идешь сутками, не останавливаясь, такие брюки — помеха. Они всю вентиляцию нарушают. Наши предки мудрые никогда меховых брюк не нашивали. Вместо этого они имели длинные шубы до пят. Правы они были. В меховых брюках сопреешь, а в длинной шубе — нет. Древний опыт теперь учтен, и диверсант имеет только куртку, но в случае необходимости к ней пристегиваются длинные полы, которые закрывают тело почти до самых пят: всегда тепло, но никогда не жарко. Эти полы легко отстегиваются и скручиваются рулоном, не занимая много места в багаже диверсанта.

Раньше куртки выворачивались на две стороны. Одна сторона белая, другая — серо-зеленая, пятнистая. Но и это было неправильно. Куртка изнутри нежной должна быть, как кожа женщины, она должна ласкать диверсантское тело. А снаружи она должна быть грубой, как шкура носорога. Поэтому куртки теперь не выворачиваются на две стороны. Они нежные изнутри и корявые снаружи. А цвета они светло-серого, как прошлогодняя трава или как грязный снег. Цвет выбран очень удачно. Ну а если нужда острая, поверх куртки можно надеть белый легкий маскировочный халат.

Все снаряжение диверсанта умещается в РД — ранец десантный. РД, как и вся одежда и снаряжение диверсанта, светло-серый. Он небольшой, форма его прямоугольная. Выполнен он из плотной материи. Чтобы не оттягивал плечи назад, он сделан плоским, но широким и длинным. Крепления десантного ранца выполнены так, что он может закрепляться на теле в самых разных положениях. Его можно повесить на грудь, можно закрепить высоко за спиной, можно опустить вниз на самую задницу и закрепить на поясе, высвободив на время растертые плечи.

Куда бы диверсант ни шел, у него только одна фляга воды — 810 граммов. Кроме этого, он имеет флакончик с маленькими коричневыми обеззараживающими таблетками. Такую таблетку можно бросить в воду, загрязненную нефтью, бактериями дизентерии, мыльной пеной. Через минуту вся грязь оседает вниз, а верхний слой можно слить и выпить. Чистая вода, полученная таким способом, имеет отвратительный вкус и режущий запах хлора. Но диверсант пьет ее. Тот, кто знает, что такое настоящая жажда, пьет и такую воду с величайшим наслаждением.

Если диверсант идет на задание на неделю или на месяц, время

роли никакой не играет, он несет с собой всегда одинаковое количество продовольствия — 2.765 граммов. Часто в ходе выполнения задания ему могут подбросить с самолета и продовольствия, и воды, и боеприпасов. Но этого может и не случиться, и тогда живи — как знаешь. Почти три килограмма продовольствия — это очень много, учитывая необычную калорийность специально р. зработанной и изготовленной пищи. Но если этого не хватит, продовольствие нужно добывать самостоятельно. Можно убить оленя или кабана, можно наловить рыбы, можно есть ягоды, грибы, ежей, лягушек, змей, улиток, земляных червей, можно вываривать березовую кору и желуди, можно... да мало ли что может съесть голодный человек, особенно если он владеет концентрированным опытом тысячелетий.

Кроме продовольствия, в десантном ранце диверсант несет с собой четыре коробки саперных спичек, которые не намокают, горят на любом ветру и под водой. У него сто таблеток сухого спирта. Он не имеет права разжигать костер. Поэтому он греется и готовит пищу у огонька таблетки. Этот огонек точно такой же, как огонек свечки, только более устойчив на ветру. Есть в его ранце и два десятка других таблеток, на этот раз медицинских. Это от всяких болезней и против отравлений.

А еще в десантном ранце — одно полотенце, зубная щетка и паста, безопасная бритва, тюбик жидкого мыла, рыболовный крючок с леской, иголка с ниткой. Расческу диверсант с собой не носит. Перед выброской его стригут наголо — меньше голова потеет и волосы мокрые не залепят глаза. За месяц отрастают новые волосы, но не настолько длинные, чтобы тратить драгоценное место для расчески. Он и так много несет на себе.

Есть два варианта вооружения диверсанта: полный комплект вооружения и облегченный комплект.

Полный комплект — это автомат Калашникова АКМС и 300 патронов к нему. Некоторые автоматы имеют дополнительно ПБС — прибор бесшумной и беспламенной стрельбы — и НСП-3 — ночной бесподсветный прицел. Во время десантирования автомат находится в чехле, чтобы не помешать правильному раскрытию парашюта. Чтобы в первый момент после приземления не оказаться беззащитным, каждый диверсант имеет бесшумный пистолет П-8 и 32 патрона к нему. А кроме того, на правом его голенище висит огромный диверсионный нож-стропорез, а на левом голенище — четыре запасных лезвия для ножа. Диверсионный нож — не обыч-

ный. В его лезвии могучая пружина. Можно снять предохранитель, а затем нажать на кнопку спуска, и лезвие ножа с жутким свистом метнется вперед, отбрасывая руку с пустой рукояткой назад. Тяжелое лезвие ножа выбрасывается вперед на 25 метров. Если оно попадет в дерево, то вытащить его обратно не всегда возможно, и тогда диверсант вставляет в пустую рукоять новое запасное лезвие, всем своим телом наваливаясь на рукоять, чтобы согнуть мощную пружину. Затем застегивается предохранитель, и диверсионным ножом снова можно пользоваться как обычным: резать людей и хлеб, пользоваться им как напильником или саперными ножницами для резания колючей проволоки. Если диверсант несет полный комплект вооружения, то вдобавок ко всему этому в его сумке шесть гранат, пластическая взрывчатка, мины направленного действия или другое тяжелое вооружение.

Облегченный комплект вооружения несут офицеры и солдаты-радисты. В облегченный комплект входит автомат со 120 патронами, бесшумный пистолет и нож. Все это на складе выдает мне бывалый диверсант. Пистолет у меня настоящий. Я иду с группой диверсантов посредником. Я проверяющий, и потому мне не нужно стрелять. Но я тоже офицер разведки и тоже должен чувствовать вес автомата и патронов. Поэтому мой автомат учебный. Он такой же, как и боевые автоматы, но уже порядочно изношен и списан. В патроннике ствола просверлено отверстие и выбита надпись “учебный”. Я вешаю автомат через плечо. Носить учебный автомат с дыркой в патроннике мне не приходилось уже много лет. С таких автоматов начинают службу самые молодые солдаты и курсанты военных училищ. Тот, кто носит такой автомат, обычно является в армии объектом легких, незлых шуток. Я, конечно, не чувствую себя молодым и желторотым. Но все же в диверсионных войсках я совсем новый человек. И, получив автомат с дыркой, вдруг совершенно автоматически решаю проверить, не считают ли они меня желторотым и не подбросили ли они мне одну из старых армейских шуток. Я быстро снимаю ранец с плеч, открываю его, из небольшого карманчика достаю ложку. На ложке, как и на казеннике автомата, просверлена дыра и красуется точно такая же надпись “учебная”.

— Извините, товарищ старший лейтенант, — матерый диверсант делает смущенное лицо, — недосмотрели.

Ему немного жаль, что я в армии не первый день, знаю все эти

древние шутки и проявил достаточно бдительности. Он вызывает своего помощника, совсем молоденького солдатика, и тут же при мне отчитывает его за невнимание. И он, и я понимаем, что молоденький солдатик тут ни при чем, что учебную ложку мне подсунул сам сержант. Сержант тут же приказывает учебную ложку немедленно выбросить, чтоб такая глупая шутка больше никогда не повторялась. Конечно, я понимаю, что ее не выбросят. Она будет служить еще многим поколениям диверсантов. Но порядок есть порядок. Сержант должен дать необходимые указания, а молодой солдат должен быть наказан. Сержант быстро достает другую ложку и подает мне. Шутка не получилась, но он видит, что я армейский юмор понимаю, умею его ценить и не нарушу старых традиций криком: на шутки в армии обижаться не положено. Он снова серьезен и деловит:

- Удачи вам, товарищ старший лейтенант.
- Спасибо, сержант.

2.

Каждый в Советской Армии укладывает свой собственный парашют лично. Это и к генералам относится; не знаю, прыгал ли Маргелов, став генералом армии, но будучи генерал-полковником, — прыгал. Это я знаю точно. И конечно, сам для себя парашют укладывал. А, кроме Маргелова, в воздушно-десантных войсках много генералов, и все прыгают. А, кроме них, десятки генералов в военной разведке, и те из них, кто прыгать продолжает, сами себе парашюты укладывают. Это мудро. Если ты гробанулся, то и вся ответственность на тебе на мертвом. А живые за тебя ответственности не несут.

Все парашюты хранятся на складе. Они уложены, опечатаны, всегда готовы к использованию. На каждом парашюте расписка на шелке: "Рядовой Иванов. Этот парашют я укладывал сам".

Но если нас поднимает не ночная тревога, если нас используют по плану с полным циклом подготовки, то все парашюты распускают и укладывают вновь. И вновь каждый на нем распишется: "Этот парашют я укладывал сам".

Укладка производится в тех условиях, в которых придется прыгать. А прыгать придется на морозе, оттого и укладка тоже на морозе. Шесть часов.

Укладывает парашюты сегодня весь батальон. На широкой площади, отгороженной высоким забором от любопытных взглядов посторонних солдат.

Приготовили парашютные столы. Парашютный стол — это не стол вообще. Это просто кусок длинного брезента, который расстилают на бетоне и крепят специальными колышками. Укладка идет в две очереди. Вначале вдвоем укладываем твой парашют: ты — старший, я — помогающий. Потом уложим мой парашют: ролями поменяемся. Потом уложим твой запасной, снова ты старший, а потом мой запасной — тогда я буду старшим. Некоторых из нас будут бросать не с двумя, а с одним парашютом. Но кому выпадет этот жребий, пока неясно. И оттого каждый готовит оба своих парашюта.

Начали.

Операция первая. Растянули купол и стропы по парашютному столу. В каждой роте есть офицер — заместитель командира роты по парашютно-десантной службе — зам по ПДС. Он подает всей роте команду. И он проверяет правильность ее исполнения. Убедившись, что все ее выполнили правильно, он подает вторую команду: “Вершину купола закрепить!” И опять пошел по рядам, проверяя правильность выполнения. У каждого за плечами большой опыт укладки. Но мы люди. И мы ошибаемся. Если ошибка будет обнаружена у кого-то, то его парашют немедленно распустят, и он начнет укладку с самого начала. Первая операция. Правильно. Вторая операция... Рота терпеливо ждет, пока тот, кто ошибся, выполнит все с самого начала и догонит роту. Операция семнадцать. А мороз трескучий...

Вместе с батальоном укладку парашютов ведут офицеры разведывательного отдела армии. Мы — проверяющие. Значит, и нам идти вместе с диверсантами неделями через снега...

Темнеет зимой рано. И мы полностью завершаем укладку уже при свете прожекторов в морозной мгле. Мы уйдем в теплые казармы, а наши парашюты под мощным конвоем останутся на морозе. Если их занести в помещение, то на холодной материи осядут невидимые глазу капельки влаги. А завтра их вновь вынесут на мороз, капельки превратятся в мельчайшие льдинки, крепко прихватив пласты пиркала и шелка. Это смерть. Вещь простая. Вещь понятная даже самым молодым солдатам. А ведь случается такое, и гибнут диверсанты все вместе. Всем взводом, всей ротой. Ошибок, воз-

можных при укладке и хранении, — сотни. Расплата всегда одна — жизнь.

Закоченевшей рукой я расписываюсь на шелковых полосках двух моих парашютов: “Старший лейтенант Суворов. Этот парашют я укладывал сам“. И еще на одном “...укладывал сам“. Я разобьюсь, а виновного найдут. Это буду, конечно, я.

3.

Мы греемся в приятном тепле казарм. Потом поздний ужин. А уж после того последние приготовления. Все уже пострижены наголо. Всех в баню, в парную. Попарьте, ребята, косточки, не скоро вам еще придется с горячей водой встретиться. Далеко за полночь — всем спать. Каждый должен выспаться на много недель вперед. Сон каждому по десять часов. Все окна в казармах плотно завешены, чтобы утром никто не проснулся рано. Сон у каждого глубоким должен быть. Для этого небольшой секрет есть. Нужно лечь на спину, нужно вытянуться, нужно расслабить все тело. А потом нужно закрыть глаза и под закрытыми веками закатить зрачки вверх. Это нормальное состояние глаз во время сна. И приняв это положение, человек засыпает быстро, легко и глубоко. Поднимут нас очень поздно. Это не будет: “Рота, подъем! Построение через 30 секунд!“ Нет, несколько солдат и сержантов, которые не прыгают на этот раз, которые несут охрану рот, их вооружения и парашютов, будут подходить тихо к каждому и осторожно будить: “Вставай, Коля, время“. “Вставайте, товарищ старший лейтенант, время“. — Время. Время. Время. Вставайте, ребята. Наше время.

4.

Сорок третья диверсионная группа 296-го отдельного разведывательного батальона Спецназ в своем составе имеет 12 человек. Я, офицер информации, иду с группой тринадцатым. Я — посредник, контролер действий группы. Мне легче всех. Мне не нужно принимать решений. Моя задача — в самые неожиданные моменты задавать вопросы то солдатам, то командиру группы, то его заместителю. У меня с собой лист с сотней вопросов. На многие из них я пока не знаю точных ответов. Мое дело вопрос задать и ответ зафиксировать. После офицеры третьей группы под ру-

ководством подполковника Кравцова разберут, кто ошибался, а кто нет.

Диверсионная группа несет с собой две радиостанции типа Р-351 М, аппаратуру засекречивания, аппаратуру сверхскоростной передачи сигналов.

Сегодня ночью будет произведена массированная операция по ослеплению радиолокационных станций 8-й гвардейской танковой армии, против которой мы сейчас действуем. Одновременно с этим будет произведен массовый ракетный и авиационный удар по ее командным пунктам и скоплениям войск, и в ходе этого удара будут высажены двадцать восемь первых диверсионных групп нашего батальона. Группы имеют разные задачи и разный состав, от трех до сорока человек. Во главе некоторых групп — сержанты, во главе других — офицеры. В последующие ночи будет производиться выброска все новых групп. От трех до восьми групп в ночь. Выброска производится в разных районах с разных маршрутов и с разных высот. Нас сегодня бросают со сверхмалой высоты. Сверхмалая — это сто метров. У каждого из нас только по одному парашюту. Раскрытие не свободное, а принудительное. Второй парашют на сверхмалой высоте совсем не нужен.

5.

Страх животный видел в глазах людских? А я видел. Это когда на сверхмалой высоте с принудительным раскрытием бросают. Всех нас перед полетом взвесили вместе со всем, что на нас навешано. И сидим мы в самолете в соответствии с нашим весом. Самый тяжелый должен выходить самым первым, а за ним чуть менее тяжелый — и так до самого легкого. Так делается для того, чтобы более тяжелые не влетели в купола более легких и не погасили бы их парашютов. Первым пойдет большой скуластый радист. Фамилии его я не знаю. В группе у него кличка Лысый Тарзан. Это большой угрюмый человечеще. В группе есть и потяжелее. Но его взвешивали вместе с радиостанцией, и оттого он самым тяжелым получился, а потому и самым первым. Вслед за ним пойдет еще один радист по кличке Брат Евлампий. Третьим по весу числится Чингиз-Хан — шифровальщик группы. У этих первых троих — очень сложный прыжок. Каждый имеет с собой контейнер на длинном, метров в пятнадцать, леере. Каждый из них прыгает, прижимая тяжеленный контейнер к груди, и после

раскрытия парашюта бросает его вниз. Контейнер летит вместе с парашютистом, но на пятнадцать метров ниже его. Контейнер ударяется о землю первым, и после этого парашютист становится как бы легче, и в последние доли секунды падения его скорость несколько снижается. Приземляется он прямо рядом с контейнером. От скорости и от ветра парашютист немного сносится в сторону, почти никогда не падая на свой контейнер. От этого, однако, не легче. И прыжок с контейнером — очень рискованное занятие, особенно на сверхмалой высоте. Четвертым идет заместитель командира группы старший сержант Дроздов. В группе он самый большой. Кличка у него Кисть. Я смотрю на титаническую руку и понимаю, что лучшей клички придумать нельзя. Велик человек. Огромен. Уродит же природа такое чудо! Вслед за Кистью пойдет командир группы лейтенант Елисеев. Тоже огромный, хотя и не так, как его заместитель. Лейтенанта по номеру группы называют 43-1. Конечно, и у него кличка какая-то есть, но разве в присутствии офицера кто-нибудь осмелится назвать кличку другого офицера?

А вслед за командиром сидят богатырского вида, широкие, как шкафы, рядовые диверсанты: Плетка, Вампир, Утюг, Николай Третий, Негатив, Шопен, Карл де ля Дюшес. Меня они, конечно, тоже как-то между собой называют за глаза, он официально у меня клички нет, только номер 43-К. Контроль, значит.

В 43-й диверсионной группе я самый маленький и самый легкий. Поэтому мне — покидать самолет последним. Но это не значит, что я сижу самым последним. Наоборот, я у самого десантного люка. Тот, кто выходит последним, — выпускающий. Выпускающий, стоя у самого люка, в самый последний момент проверяет правильность выхода и в случае необходимости имеет право в любой момент десантирование прекратить. Тяжелая работа у выпускающего. Хотя бы потому, что сидит он в самом хвосте и лица всех к нему обращены. Получается, что выпускающий как на сцене, все на него смотрят. Куда я ни гляну, всюду глаза диверсанта на меня в упор смотрят. Шальные глаза у всех. Нет, пожалуй, командир группы исключение. Дремлет спокойно. Расслаблен совсем. Но у всех остальных глаза с легким блеском помешательства. Хорошо с трех тысяч прыгать! Красота. А тут только сто. Много всяких хитростей придумано, чтобы страх заглушить, но куда же от него уйдешь? Тут он — страх. С нами в обнимку сидит.

Уши заломило, самолет резко вниз пошел. Верхушки деревьев рядом мелькают. Роль у меня плохая: у всех вытяжные тросики пристегнуты к центральному лееру, лишь у меня он на груди поκειται. Пропустив всех мимо себя, я в последний момент должен свой тросик защелкнуть над своей головой. А если промахнусь? А если сгоряча выйду, не успев его застегнуть? Открыть парашют руками будет уже невозможно: земля рядом совсем несется. Я вдруг представил себе, что валюсь вниз без парашюта, как кот, расставив лапы. Вот крику-то будет! Я представляю свой предсмертный вой, и мне смешно. Диверсанты на меня понимающе смотрят: истерика у проверяющего. А у меня не истерика. Мне просто смешно.

Синяя лампа над грузовым люком нервно замигала.

— Встать! Наклонись.

Первый диверсант, Лысый Тарзан, наклонился, выставив для устойчивости правую ногу вперед. Брат Евлампий своей тушей навалился на него. Третий навалился на спину второго, и так вся группа, слившись воедино, ждет сигнала. По сигналу задние напрут на передних, и вся группа почти одновременно вылетит в широкий люк. Хорошо им. А меня никто толкать не будет.

Гигантские створки люка, чуть шурша, разошлись в стороны. Морозом в лицо. Ночь безлунная, но снег яркий, слепящий. Все как днем видно. Земля, вот она. Кусты и пролески взбесились, диким галопом мимо несутся. ПОШЛИ!

Братцы! ПОШЛИ!!!

Хуже этого человечество ничего не придумало. Глаза сумасшедшие мимо меня все сразу. Сирена кричит, как зверь умирающий. Рев ее уши рвет. Это чтоб страх вглубь загнать. А лица перекошены. Каждый кричит страшное слово ПОШЛИ! Увернуться некуда. Напор сзади неотвратимый. Передние посыпались в морозную мглу. Ветра поток каждого вверх ногами бросает. ПОШЛИ!!! А задние, увлекаемые стадным инстинктом, тут же в черный снежный вихрь вылетают. Я руку вверх бросил. Щелчок. И вылетаю в морозный мрак, где порядочные люди не летают. Тут черти да ведьмы на помеле, да Витя Суворов с парашютом.

Все на сверхмалой высоте одновременно происходит: голова вниз, жаркий мороз плетью-семихвосткой по роже, ноги вверх,

жуткий рывок за шиворот, ноги вниз, ветер за пазуху, под меховой жилет, удар по ногам, жесткими парашютными стропами опять же по морде, а в перчатках и в рукавах по локоть снег горячий и сразу таять начинает. Противно...

Парашюты в снег зарыли, какой-то гадостью вокруг посыпали. Это против собак. Вся местная милиция, КГБ, части МВД — все сейчас тренируются. Все они сейчас против наших несчастных групп брошены. А у нас руки, считай, связаны. Если бы война, мы захватили бы себе несколько бронетранспортеров или машин, да и развезжали бы по округе. Но сейчас не война, и транспорт нам захватывать запрещено. Драконовский приказ. Ножками, ножками. От собак.

Лыжи у нас короткие, широкие. Снизу настоящим лисьим мехом отделаны. Такие легко на парашюте бросать. Такие лыжи скользят вперед, а назад отдачи нет. Лисий мех дыбом тогда становится, не пускает. Лыжи эти диверсионные, часто следа не оставляют, особенно на плотном лежалом снегу. Они широкие очень, не проваливаются. Из таких лыж и избушку в снегу сложить можно — мехом внутрь, спи, ребята, по очереди. Но самое главное, лыжи эти не обмерзают, ледяной коркой не покрываются.

6.

К утру выбились из сил. Три часа из района выброски уходили, следы путали. Куртки мокрые. Лица красные. Пот ручьями. Сердце наружу рвется. Язык вываливается, как у собаки на жаре. Это всегда так сначала бывает. На четвертый-пятый день втянемся и будем идти, как машины. Но первый день всегда очень тяжелый. Первая ночь и двое последующих суток — ужасны. Потом легче будет.

— Командир, в деревне собаки брешут. Не к добру. Значит, там чужие люди.

Это любому понятно. Кто в такой глуши в такую рань деревенских собак потревожить мог?

— Обходить будем. Влево пойдем.

— Влево засада КГБ. Вон в том лесочке. Смотри, командир, птицы над лесом кружат.

Тоже правильно. Кто их в такой мороз с мест поднял? Птицы сейчас на ветках нахохлившись сидят, инеем покрытые. Туда идти, конечно, нельзя. Остается только путь через овраги, через бурелом,

где добрые люди не ходят. Там только волкам дорога да диверсантам из Спецназа.

— Готовы? Вперед.

7.

Нормы жестокие. Восемь километров в час.

Вечер. Мороз силу набирает. За день прошли 67 километров. Отдыхали дважды. Пора бы и еще в снегу полежать.

— Ни черта, дармоеды, — командир подбадривает, — вчера спать надо было.

Злой командир. Группа маршевой скорости не выдерживает. Группа злая. Ночь надвигается. Плохо это. Днем иногда группа может залечь, в снегу, в кустах, в болоте, и переждать. Но ночью этого никогда не случается. Ночь для работы придумана. Мы как проститутки — ночами работаем. Если днем не отдыхал, то ночью не дадут.

— Снег не жрать! — командир суров. — Сокрушу!

Это не ко мне относится. Это он Чингиз-Хану и Утюгу угрозы адресует. Меня положение обязывает. Проверяющий. Нельзя мне снег в рот брать. А если бы не проверяющим я был, то обязательно тайком белой влаги наглотался бы. Горстями бы в глотку снег запихивал. Жарко. Пот струйками по лбу катит. Хорошо, голова бритая, иначе волосы в один комок слиплись бы. Куртки у всех на спинах парят. Все потом пропитано, все морозом прихвачено. Одежда вся колом стоит, как из досок сшитая. Перед глазами оранжевые круги. Группа маршевой скорости не выдерживает... Не жрите снег!.. Сокрушу... Лучше вниз смотреть, на концы лыж. Если далеко вперед смотреть, сдохнешь. Если под ноги смотришь, дуреешь, идешь чисто механически, недосыгаемый горизонт не злит.

— Огорока чертовы! Желудки! — командир свиреп. — Вперед смотреть! В засаду влетим! Негатив слева огонек не заметил. Смотри, Негатив, зубы палкой лыжной вышибу!

Группа знает, что командир шуток не любит. Вышибет. Вперед, желудки!

8.

Над миром встает кровавая заря. В морозной мгле над лиловыми верхушками елей выкатилось лохматое надменное солнце. Мороз трещит по просекам леса.

Мы в ельнике лежим. За ночь второй раз. Ждем высланный вперед дозор. Лица у всех белые, ни кровиночки, как у мертвецов. Ноги гудят. Их вверх поднять надо. Так кровь отливает. Так ногам легче. Радисты спинами на снегу лежат, ноги на свои контейнеры положили. Все остальные тоже ноги вверх подняли. После десантирования прошло уже более суток. Мы все время идем. Останавливаемся через три-четыре часа на пятнадцать-двадцать минут. За обстановкой наблюдают двое, и двое выходят вперед, остальные ложатся на спины и засыпают сразу. Карл де ля Дюшес запрокинул спящую голову, из-под расстегнутой его куртки медленно струится пар. Аккуратно вырезанная снежинка медленно опустилась на его раскрытое горло и плавно исчезла. Мои глаза слипаются. Под веки вроде бы золы насыпали. Проморгать бы, да и закрыть их, и не раскрывать минут шестьсот.

Командир группы подбородок трет: нехороший признак. Мрачен командир. И заместитель его Кисть мрачен. К узлу связи танковой армии шли одновременно с разных сторон пять диверсионных групп. Приказ прост был: кто до трех ночи к узлу связи доберется, тот в 3.40 атакует его. Те, кто к условному времени не успеют, в бой не вступают, обходя узел связи большим крюком, и идут к следующей цели. Наша 43-я группа ко времени не успела. Мрачен потому командир. Вдали мы слышали взрывы и стрельбу длинными очередями. В упор били, значит. С нулевой дистанции. Ко времени успели минимум три группы. Но если даже и только одна группа ко времени успела, сняла часовых и появилась на узле связи в конце холодной неуютной ночи... О, одна группа много может сделать против узла связи, пригревшегося в теплых контейнерах, против очкастых ожиревших связистов, против распутных телефонисток, погрязших в ревности и блюде. Жаль командиру, что не успели его солдаты к такой заманчивой цели. Знает командир наверняка, что группа лейтенанта Злого уж точно ко времени поспела. Наверное, и старший сержант Акл своих молодцов вовремя успел привести. Акл — это Акула значит. У старшего сержанта зубы острые, крепкие, но неровные, вроде как в два ряда. За то его Акулой величают. А может быть, и не только за это. Скрипит наш командир зубами. Ясно, что он сегодня группе расслабляться не позволит. Держитесь, желудки!

Спим. Идет одиннадцатый день после выброски. Днями поднять головы невозможно. Вертолеты в небе. На всех дорогах кордоны. На опушке каждого леса — засада. Появилось много ложных объектов: ракетные батареи, узлы связи, командные пункты. Диверсионные группы выходят на них, но попадают в ловушки. Батальон уже потерял десятки своих диверсионных групп. Мы не знаем, сколько. Нам бросают посылки с неба каждую ночь: боеприпасы, взрывчатка, продовольствие, иногда спирт. Такое внимание означает только одно: нас мало осталось. За эти дни наша группа нашла линию радиорелейной связи, не известную нашему штабу раньше. По ориентировке приемных и передающих антенн группа нашла мощный узел связи и тыловой командный пункт. Тогда на пятый день операции группа впервые вышла в эфир, сообщив о своем открытии. Группа получила благодарность лично от командующего 13-й армии и приказ из этого района уходить. Наверное, его обработали ракетами или авиацией. На седьмой день группа объединилась с четырьмя другими, образовав диверсионный отряд капитана по кличке Четвертый Лишний. Отряд в полном составе успешно атаковал аэродром прямо днем, прямо во время проведения взлета истребительного авиаполка. Отряд без потерь ушел от преследования и рассыпался на мелкие группы. Наша 43-я временно не существовала, превратившись в две — 431-ю и 432-ю. Теперь они вновь объединились. Но работать активно пока не удастся: вертолеты в небе, кордоны на дорогах, засады в лесах, ловушки у объектов. А все же мы свое дело делаем: 8-я гвардейская танковая армия парализована почти полностью, и вместо того, чтобы воевать, она ловит нас по своим тылам.

День угасает. Никто нас днем не тревожил. Отдохнули. Нашу группу пока не накрыли, ибо командир хитер как змей. Змеем его, оказывается, и зовут. Он нашел склад боеприпасов наших врагов, у этого склада мы проводим дни. Тут у нас база, все тяжелое снаряжение тут свалено. А по ночам часть группы налегке уходит далеко от базы и там проводит дерзкие нападения, а потом на базу возвращается. Все группы, которые по лесам непроходимым прятались, давно уже уничтожены. А мы пока нет. Трудно нашим противникам поверить и понять, что наша база прямо под самым носом

спрятана, и потому вертолеты нам не докучают. А с засадами и кордонами надо быть просто осторожным.

— Готовы, желудки?

Группа готова. Лыжи подогнаны, ремни проверены.

— Попрыгали.

Перед выходом на месте попрыгать положено, убедиться, не гремит ли что, не звенит ли.

— Время. Пошли.

10.

— Слушай, Шопен, представь себе, что мы на настоящей войне. Заместитель командира убит, а у командира прострелена нога. Тащить с собой — всех погубишь, бросить его — тоже смерть группе. Враги из командира печень вырежут, а говорить заставят. Эвакуации у нас в Спецназе нет. Представь себе, Шопен, что ты руководство группой принял, что ты с раненым командиром делать будешь?

Шопен достает из маленького карманчика на рукаве куртки шприц-тюбик одноразового действия. Это “блаженная смерть”.

— Правильно, Шопен, правильно. На войне у нас единственный способ выжить: убивать своих раненых самим, — в контрольной тетрадке я рисую еще один плюс.

Идет семнадцатый день после выброски. Активно действуют только пять-шесть диверсионных групп, и наша в их числе. Группа Акулы, как и группа Злого, давно поймана. Командир 43-й знает это каким-то особым чутьем. И Злой, и Акула — его друзья и его соперники. Наверное, лейтенант Змей думает о них сейчас и слабо сам себе улыбается.

— Готово? Попрыгали. Время. Пошли, ребята.

Своих солдат он больше не называет желудками.

Глава четвертая

1.

Я иду по красному ковру. Тут я не был двадцать три дня. Отвык от тишины, от ковров, от тепла. Одичал. Вообще человек дичает

быстро и возвращается в животный мир легко и свободно, без затруднений.

В коридорах штаба спокойно и уютно. Тут сытые чистые люди, тут бритые лица. Тут нет простуженного командирского хрипа и нетерпеливого повизгивания собак, которых вот-вот спустят с поводков.

Нашу 43-ю диверсионную группу захватили в числе последних. Обложили, загнали в овраг. Все, как на войне настоящей. И собаки настоящие были. А они, четвероногие друзья человека, разницы совсем не понимают: настоящая травля или учебная... Им один черт.

Тонкий, гибкий солдат Плетка вывернулся и из этого переплетта. Его первого от группы отбили и погнали к реке, на которой уже тронулся лед. Думали к берегу прижать. Но он сбросил куртку, бросил автомат и поплыл между льдин. Вертолет за одним не послали, а собаки в воду не пошли, не дурные. Через четыре дня он пришел в казармы своего батальона, вконец отощавший, в темно-синей милицейской шинели. Украл.

За это Плетке было пожаловано сержантское звание и пятнадцать суток отпуска. Вообще таких ребят в батальоне немало. По одному они возвращаются в батальон на сломанных лыжах, в изорванных куртках, иногда с кровавыми ранами.

Нашу группу захватили в глубоком овраге, отрезав все пути. Нас привезли в казармы полка МВД. Встретили как старых друзей. Выпарили в бане, накормили, дали сутки отоспаться. Для захваченных групп была заранее освобождена одна казарма, и санитарная часть полка работала только на нас.

В бане солдаты МВД на нас с уважением и испугом смотрят: скелеты.

— Тяжкая вам, братишки, служба выпала.

Не спорим. Тяжкая. Да только каждый год в Спецназе за полтора года службы считается. Прослужи десять лет — пятнадцать запишут. Соответственно с этим и по полторы полочки платят, и за прыжки платят, да за каждый рейдовый день особо добавляют. А жиру мы скоро нового нагуляем. Не зря нас желудками зовут. Отоспался я. Отдохнул. И вот вновь по мягкому ковру иду. Штаб меня шутками встречает:

— Расскажи, Витя, как ты вес сбрасываешь?

— Эй, разведчик, ты откуда такой загорелый?

Лицо мое обожжено морозом, ветром и безжалостным зимним солнцем. Губы черные, растрескались. Нос облупился.

— Давай, Витя, в воскресенье на лыжах покатаемся?

Это жестокая шутка. Такие шутки я переношу с трудом. И вообще после Спецназа я больше всего в мире ненавижу людей, которые добровольно надевают лыжи, просто из-за того, что им нечего делать.

Мой путь — к начальнику разведки.

— Разрешите войти? Товарищ подполковник! Извините...

На новеньких погонах Кравцова не по две, по три звезды.

— Товарищ полковник, старший лейтенант Суворов с выполнения учебно-боевого задания прибыл!

— Здравствуй.

— Здравия желаю, товарищ полковник! Поздравляю вас.

— Спасибо. Садись. — он смотрит на мои обтянутые скулы. — Эко тебя обтесало. Отоспался?

— Да.

— Работы много. За время твоего отсутствия мир изменился. В кратчайший срок постарайся войти в курс дел. Все забыл в рейде?

— Старался все, что знаю, повторять в уме...

— Тебя проверить?

— Да.

— Шпангдалем.

— Шпангдалем — авиабаза ВВС США в Западной Германии. 25 километров севернее города Трир. Постоянно базируется 52-е тактическое истребительное крыло. Семьдесят два истребителя Р-4. Взлетная полоса одна. Длина — 3050 метров. Ширина 45 метров. В состав крыла входят...

— Хорошо. Иди.

2.

Мир стремительно меняется. Двадцать три дня я не имел доступа к информации, и вот теперь передо мной толстые папки с разведывательными сводками, приказами, шифровками. За двадцать три дня мир изменился неузнаваемо. Я понимаю, что начальник разведки пощадил мое самолюбие и задал легкий вопрос о неподвижном объекте, об авиабазе. Если бы он спросил о 6-й мотопехотной дивизии бундесвера, например, то я непременно попал бы в неловкое положение. За обстановкой нужно следить постоянно, иначе превра-

тишься в носителя устаревшей информации. Итак... Совершенно секретно... Агентурной разведкой Белорусского военного округа обнаружено усиление охраны стартовых батарей ракет "Першинг" на территории Западной Германии... Совершенно секретно... 5-й отдел разведывательного управления Балтийского флота зарегистрировал полную смену системы кодирования в правительственных и военных каналах связи Дании... Совершенно секретно... Агентурной разведкой Генерального штаба вскрыты... Совершенно секретно... Агентурной разведкой 11-й гвардейской армии Прибалтийского военного округа на территории Западной Германии зарегистрированы работы по строительству колодцев для ядерных фугасов. Приказываю начальнику Второго Главного управления Генерального штаба, начальникам разведки ГСВГ, СГВ, ЦГВ, Прибалтийского, Белорусского и Прикарпатского военных округов обратить особое внимание на сбор информации о системе ядерных фугасов на территории ФРГ. Начальник Генерального штаба генерал армии Куликов.

Двадцать три дня назад никто не слышал ничего о ядерных фугасах... А теперь колоссальные силы агентурной разведки брошены на вскрытие этой таинственной системы самозащиты Запада... Меняется лицо и нашей армии... Секретно... О результатах экспериментальных учений 8-й воздушно-штурмовой бригады Забайкальского военного округа... Не было таких бригад еще двадцать три дня назад... Совершенно секретно... Приказываю принять на вооружение истребительно-противотанковой артиллерии изделие "Малютка-М" с системой наведения по двум точкам... Министр обороны Маршал Советского Союза А.Гречко... Совершенно секретно... Только для офицеров Спецназа... Расследование обстоятельств гибели иностранных курсантов Одесского особого центра подготовки в ходе учебных боев с куклами... Приказываю усилить контроль и охрану... Особое внимание обратить...

Этот приказ я перечитываю три раза. Ясно, как нужно обходиться с куклой, как ее содержать и охранять. Только не ясно, что такое кукла.

3.

Нелегко готовить иностранных бойцов и агентуру Спецназа. Мы — советские бойцы Спецназа будем действовать во время войны, а эти ребята действуют уже сейчас и по всему миру. Они бес-

страшно умирают за свои светлые идеалы, не подозревая, что и они бойцы Спецназа. Удивительные люди! Мы их готовим, мы тратим миллионы на их содержание, мы рискуем репутацией нашего государства, а они наивно считают себя независимыми. Тяжело иметь дело с этой публикой. Приходя к нам на подготовку, они приносят с собой дух удивительной беззаботности Запада. Они наивны, как дети, и великодушны, как герои романов. Их сердца пылают, а головы забиты предрассудками. Говорят, что некоторые из них считают, что нельзя убивать людей во время свадьбы, другие думают, что нельзя убивать во время похорон. Чудаки. Кладбище на то и придумано, чтобы там мертвые были.

Особый центр подготовки эту романтику и дурь быстро вышибает. Их тоже рвут собаками, их тоже по огню бегать заставляют. Их учат не бояться высоты, крови, скорости, не бояться смерти. Эти ребята часто демонстрируют всему миру свое презрение к смерти чужой и собственной, когда молниеносным налетом они захватывают самолет или посольство. Особый центр их учит убивать. Убивать умело, спокойно, с наслаждением. Но что же в этой подготовке может скрываться под термином “кукла“?

Наша система сохранения тайн отработана, отточена, отшлифована. Мы храним свои секреты путем истребления тех, кто способен сказать лишнее, путем тотального скрытия колоссального количества фактов, часто и не очень секретных. Мы храним тайны особой системой отбора людей, системой допусков, системой вертикального и горизонтального ограничения доступа к секретам. Мы охраняем свои тайны собаками, караулами, сигнальными системами, сейфами, печатями, стальными дверями, тотальной цензурой. А еще мы охраняем их особым языком, особым жаргоном. Если кто-то и проникнет в наши сейфы, то и там он немного поймет.

Когда мы говорим о врагах, то употребляем нормальные, всем понятные слова: ракета, ядерная боеголовка, химическое оружие, диверсант, шпион. Те же самые советские средства именуется: изделие ГЧ, специальное оружие, Спецназ, особый источник. Многие термины имеют разное значение. “Чистка“ в одном случае — исключение из партии, в другом — массовое истребление людей.

Одно нормальное слово может иметь множество синонимов на жаргоне. Советских диверсантов можно называть общим термином

“Спецназ“, а кроме того, глубинной разведкой, туристами, любознательными, рейдовиками. Что же в нашем языке кроется под именем “кукла“? Используют ли кукол и для тренировки советских бойцов, или это привилегия для иностранных курсантов? Существовали ли куклы раньше, или это нововведение наподобие воздушно-штурмовых бригад?

Я закрываю папку с твердым намерением узнать значение этого странного термина. Для этого есть только один путь: сделать вид, что я понимаю, о чем идет речь, и тогда в случайном разговоре кто-либо действительно знающий может сказать чуть больше положенного. А одной крупницы иногда достаточно, чтобы догадаться.

4.

296-й отдельный разведывательный батальон Спецназа спрятан со знанием дела, со вкусом. Есть в 13-й армии полк связи. Полк обеспечивает штаб и командные пункты. Через полк проходят секреты государственной важности, и потому он особо охраняется. А на территории полка отгорожена особая территория, на которой и живет наш батальон. Все диверсанты носят форму войск связи. Все машины в батальоне — закрытые фургоны, точно как у связистов. Так что со стороны виден только полк связи, и ничего больше. Мало того, и внутри полка большинство солдат и офицеров считает, что есть три обычных батальона связи, а один необычный, особо секретный, наверное, правительственная связь.

Но и внутри батальона Спецназа немало тайн. Многие диверсанты считают, что в их батальоне три парашютные роты, укомплектованные обычными, но только сильными и выносливыми солдатами. Только сейчас я узнал, что это не все. Кроме трех рот, существует еще особый взвод, укомплектованный профессионалами. Этот взвод содержится в другом месте, вдали от батальона. Он предназначен для выполнения особо сложных заданий. Узнал я о его существовании только потому, что мне как офицеру информации предстоит обучать этих людей вопросам моего ремесла: правильному и быстрому обнаружению важных объектов на территории противника. Я еду в особый взвод впервые и немного волнуюсь. Везет меня туда полковник Кравцов лично. Он представит меня.

— Догадайся, какую маскировку мы для этого взвода придумали?

— Это выше всех моих способностей, товарищ полковник. У меня нет никаких фактов для анализа.

— Все же попытайся это сделать. Это тебе экзамен на сообразительность. Представь их, на то у тебя воображение, и попытайся их спрятать, вообразив себя начальником разведки 13-й армии.

— Они должны четко представлять местность, на которой им предстоит действовать, поэтому они должны часто выезжать за рубеж. Они должны быть отлично натренированы... Я бы их, товарищ полковник, объединил в спортивную команду. И маскировка, и возможность за рубежом ездить...

— Правильно... — смеется он. — Все просто. Они — спортивная команда общества ЦСКА: парашютисты, бегуны, стрелки, боксеры, борцы. Каждая армия и флотилия имеют такую команду. Каждый военный округ, флот, группа войск имеют еще более мощные и еще лучше подготовленные спортивные команды. На спорт мы денег не жалеем. А где бы ты своим спортсменам учебный центр спрятал?

— В Дубровице.

Он разведчик. Он владеет собой. Только зубы слегка заскрепели, да желваки на щеках заиграли.

— Отчего же в Дубровице?

— В составе нашей любимой 13-й только один штрафной батальон для непокорных солдат, и он в Дубровице. Военная тюрьма. Из нашей дивизии часто туда солдатиков загребали. Заборы там высокие, собаки злые, колючей проволоки много рядов. Отгородил себе сектор, да и размещай любой особо секретный объект. Людей нужных туда в арестантских машинах возить можно — никто не дознается...

— Мало ли в нашей 13-й объектов хорошо охраняемых. АПРТБ*, к примеру...

— В АПРТБ, товарищ полковник, куклу негде содержать...

Он только подарил мне долгий тяжелый взгляд, но ничего не сказал.

* АПРТБ — армейская подвижная ракетно-техническая база — подразделение в составе общевойсковых и танковых армий, занимается транспортировкой, хранением и техническим обслуживанием ракет для ракетной бригады армии и ракетных подразделений дивизий, входящих в состав данной армии.

5.

Только осенней ночью так много звезд. Только холодной сентябрьской ночью их можно видеть так отчетливо, словно серебряные гвоздики в черном бархате.

Сколько их смотрит на нас из холодной черной пустоты! Если смотреть на Большую Медведицу, то рядом с яркой звездой, той, что на переломе ручки ковша, можно разглядеть совсем маленькую звездочку. Она, может быть, совсем и не маленькая, просто она очень далеко. Может быть, это громадное светило с десятками огромных планет вокруг. А может быть — это галактика с миллиардами светил...

Во Вселенной мы, конечно, не одни. В космосе миллиарды планет, очень похожих на нашу. На каком основании мы должны считать себя исключением? Мы не исключение. Мы такие же, как и все. Разве только форма и цвет глаз у нас могут быть разными. У жителей одних планет глаза голубые, как у полковника Кравцова, а у кого-то — зеленые, треугольные, с изумрудным отливом. Но на этом, видимо, и кончаются все различия. Во всем остальном мы одинаковы — все мы звери. Звери, конечно, разные бывают: мыслящие, цивилизованные, и не мыслящие. Первые отличаются от вторых тем, что свою звериную натуру маскировать стараются. Когда у нас много пищи, тепла и самок, мы можем позволить себе доброту и сострадание. Но как только природа и судьба ставят вопрос ребром: одному выжить, другому сдохнуть, мы немедленно впишем свои желтые клыки в горло соседа, брата, матери.

Все мы звери. Я — точно, и не стараюсь этого скрывать. И обитатель двенадцатой планеты оранжевого светила, затерянного в недрах галактики, не имеющей названия, — он тоже зверюга, только старается добрым казаться. И начальник разведки 13-й армии полковник Кравцов — зверь. Он зверюга, каких редко встретишь. Вот он у костра сидит, палочкой угли помешивает. Роста небольшого, подтянут, лицо красивое, молодое, чуть надменное. Улыбка широкая, подкупающая, но уголки рта всегда чуть вниз — признак сдержанности и точного расчета. Взгляд сокрушающий, цепкий. Взгляд его заставляет собеседника моргать и отводить глаза. Руки точеные, не пролетарские. Полковничьи погоны ему очень к лицу. Люди такого типа иногда имеют совершенно странные наклонности. Некоторые из них, я слышал, копейки ржавые собирают. Интересно,

чем наш полковник увлекается? Для меня и всех нас он — загадка. Мы знаем о нем удивительно мало, он знает о каждом из нас все. Он — зверь. Маленький, кровожадный, смертельно опасный. Он знает свою цель и идет к ней, не сворачивая. Я знаю его путеводную звезду. Зовется она *власть*. Он сидит у костра, и красные тени мечутся по скуластому волевому лицу. Черный правильный профиль. Красные тени. Ничего более. Никаких переходов. Никаких компромиссов. Если я совершу одну ошибку, то он сомнет меня, сокрушит. Если я обману его, он поймет это по моим глазам — интеллект у него могучий.

— Суворов, ты что-то хочешь спросить?

Мы одни у костра, в небольшом овражке, в бескрайней степи. Наша машина спрятана во-о-он там в кустах, и водителю спать разрешено. У нас впереди длинная осенняя ночь.

— Да, товарищ полковник, я давно хочу спросить вас... В вашем подчинении сотни молодых толковых перспективных офицеров с великолепной подготовкой, утонченными манерами... А я крестьянин, я не читал многих книг, о которых вы говорите, мне трудно в вашем кругу... Мне неинтересны писатели и художники, которыми восхищаетесь вы... Почему вы выбрали меня?

Он долго возится с чайником, видимо, соображая — сказать мне что-то обычное о моем трудолюбии и моей сообразительности или сказать правду. В чайнике он варит варварский напиток: смесь кофе с коньяком. Выпьешь — сутки спать не будешь.

— Я тебе, Виктор, правду скажу, потому что ты ее понимаешь сам, потому что тебя трудно обмануть, потому что ты ее знать должен. Наш мир жесток. Выжить в нем можно, только карабкаясь вверх. Если остановишься, то скатишься вниз, и тебя затопчут те, кто по твоим костям вверх идет. Наш мир — это кровавая бескомпромиссная борьба систем, одновременно с этим — это борьба личностей. В этой борьбе каждый нуждается в помощи и поддержке. Мне нужны помощники, готовые на любое дело, готовые на смертельный риск ради победы. Но мои помощники не должны предать меня в самый тяжелый момент. Для этого существует только один путь: набирать помощников с самого низа. Ты всем обязан мне, и если выгонят меня, то выгонят и тебя. Если я потеряю все — ты тоже потеряешь все. Я тебя поднял, я тебя нашел в толпе не за твои таланты, а из-за того, что ты — человек толпы. Ты никому не нужен. Что-то случится со мной, и ты снова очутишься в толпе, поте-

ряв власть и привилегии. Этот способ выбора помощников и телохранителей стар как мир. Так делали все правители. Предашь меня — потеряешь все. Меня точно так же в пыли подобрали. Мой покровитель идет вверх и тянет меня за собой, рассчитывая на мою поддержку в любой ситуации. Если погибнет он, кому я нужен?

— Ваш покровитель генерал-лейтенант Обатуров?

— Да. Он выбрал меня в свою группу, когда он был майором, а я лейтенантом... не очень успешным.

— Но и он кому-то служит. Его тоже кто-то вверх тянет?

— Конечно. Только не твоего это ума дело. Будь уверен, что ты в правильной группе, что и у генерал-лейтенанта Обатурова могущественные покровители в Генеральном штабе. Но тебя, Суворов, я знаю уже хорошо. У меня такое чувство, что это не тот вопрос, который тебя мучает. Что у тебя?

— Расскажите мне про Аквариум.

— Ты и это знаешь? Услышать это слово ты не мог. Значит, ты его где-то увидел. Дай подумать, и я тебе скажу, где ты его мог увидеть.

— На обратной стороне портрета.

— Ах, вот где. Слушай, Суворов, про это никогда никого не спрашивай. Аквариум слишком серьезно относится к своим тайнам. Ты вопрос просто задашь, а тебя на крючок подвешат. Нет, я не шучу. За челюсть или за ребро — и вверх. Рассказать тебе об Аквариуме я просто не могу. Дело в том, что ты можешь рассказать еще кому-то, а он еще кому-то. Но настанет момент, когда события начнут развиваться в другом направлении. Одного арестуют, узнают у него, где он слышал это слово, он на тебя укажет, а ты на меня.

— Вы думаете, что, если меня пытать начнут, я назову ваше имя?

-- В этом я не сомневаюсь, и ты не сомневайся. Дураки говорят, что есть сильные люди, которые могут пытки выдержать, и слабые, которые не выдерживают. Это чепуха. Есть хорошие следователи и есть плохие. В Аквариуме следователи хорошие... Если попадешь на конвейер, то осознаешься во всем, включая и то, чего никогда не было. Но... я верю, Виктор, что мы с тобой на конвейер не попадем, и потому тебе об Аквариуме немного расскажу...

— Что за рыбы там водятся?

— Там только одна порода — пираньи.

— Вы работали в Аквариуме?

— Нет, этой чести меня не удостоили. Может, в будущем... Там, наверное, считают, что зубы у меня еще недостаточно остры. Итак, слушай. Аквариум — это центральное здание 2-го Главного управления Генерального штаба, то есть Главного разведывательного управления — ГРУ. Военная разведка под различными названиями существует с 21 октября 1918 года. В это время Красная Армия уже была огромным и мощным организмом. Управлял армией Главный штаб — мозг армии. Но реакция штаба была замедленной и неточной, оттого что организм был слепым и глухим. Информация о противнике поступала из ЧК. Это как если бы мозг получал информацию не от своих глаз и ушей, а со слов другого человека. Да и чекисты всегда рассматривали заявки армии как нечто второстепенное. По-другому и быть не может: у тайной полиции свои приоритеты, а у Генерального штаба свои. И сколько Генеральному штабу ни давай информации со стороны, ее никогда не будет достаточно. Представь себе, случилась неудача, с кого спрашивать? Генеральный штаб всегда может сказать, что информации о противнике было недостаточно, оттого и неудача. И он всегда будет прав, потому что сколько ее ни собирай, начальник Генерального штаба сможет поставить еще миллион вопросов, на которые нет ответа. Вот поэтому и было решено отдать военную разведку в руки Генерального штаба — пусть начальник Генерального штаба ею управляет: если недостаточно сведений о противнике, так это вина самого Генерального штаба.

— И КГБ никогда не стремилось установить власть над ГРУ?

— Всегда стремилось. И сейчас стремится. Это однажды удалось Ежову: он был одновременно шефом НКВД и военной разведки. За это его пришлось немедленно уничтожить. В его руках оказалось слишком много власти. Он стал монопольным контролером всей тайной деятельности. Для верховного руководства это страшная монополия. Пока существуют минимум две тайные организации, ведущие тайную борьбу между собой, — можно не бояться заговора внутри одной из них. Пока есть две организации — есть качество работы, так как существует конкуренция. Тот день, когда одна организация поглотит другую, — станет последним днем для Политбюро. Но Политбюро этого не допустит. Деятельность КГБ ограничена деятельностью враждебных организаций. Внутри страны МВД делает очень сходную работу. МВД и КГБ готовы сожрать

друг друга. Кроме того, внутри страны действует еще одна тайная полиция — Народный контроль. Сталин стал диктатором, придя с поста руководителя именно этой тайной организации — из Народного контроля. А за рубежом тайную деятельность КГБ уравнивает деятельность Аквариума. ГРУ и ГБ постоянно дерутся за источники информации, и оттого обе организации так успешны.

Я молчу, переваривая смысл сказанного. Долгая ночь впереди. Метрах в тридцати от нас в ивняке спрятана большая резиновая надувная ракета “Першинг“ — точная копия американского оригинала. Прошлой ночью весь диверсионный батальон Спецназа был выброшен небольшими группами вдали от этого места. Соревнования. Маршрут 307 километров. На маршруте пять контрольных точек: ракеты, радиолокатор, штаб. Группа, которая первой пройдет весь маршрут, обнаружив все объекты и сообщив их точные координаты, получит отпуск и золотые часы каждому солдату. Все солдаты победившей группы станут младшими сержантами, а сержанты — старшими сержантами. Высший командный состав разведывательного отдела контролирует прохождение групп. Сам Кравцов обычно на вертолете вдоль трассы соревнований летает. Но сегодня он почему-то решил находиться на контрольной точке, и в помощники он выбрал меня.

— Кажется, идут.

— Поговорим потом.

6.

Камешки чуть шуршат под ногами и катятся вниз. В овраг тихо, по-змеиному скользя, спускается гигантская тень. Огонь костра в ночи чуть ослепил широкого диверсанта. Он всматривается в наши лица и, узнав Кравцова, докладывает: “Товарищ полковник, 29-я рейдовая группа 2-й роты Спецназ. Командир сержант Полищук“.

— Добро пожаловать, сержант.

Сержант оборачивается к группе и тихо свистит, как свистят суслики. По откосу вниз зашуршали диверсантские подошвы. Двое занимают позицию на гребне: наблюдение и оборона. Радист быстро разбрасывает антенну. Двое растягивают брезент: под брезентом будет колдовать шифровальщик группы. Как он готовит сообщение, знать обычным смертным неположено, и оттого во время работы его

его всегда накрывают брезентом. В боевой обстановке командир группы головой за шифры и шифровальщика отвечает. В случае, если группе угрожает опасность, командир обязан шифровальщика убить, шифры и шифровальную машину уничтожить. Если он этого не сделает, отвечать жизнью будет не только он сам, но и вся группа.

Вот готово сообщение. Теперь мы все его видим: обыкновенная киноплёнка с несколькими рядами аккуратных дырочек на ней. Сообщение вкладывается в радиостанцию. Станция еще не включена и не подстроена. Радист на хронометр смотрит. И вот жмет на кнопку. Радиостанция включается, автоматически подстраивается, протаскивает сквозь недра кусок пленки, тут же выплевывая его. Несколько цветных лампочек на радиостанции сразу гаснут. Весь сеанс связи длится не более секунды. Заряд информации радиостанция практически выстреливает.

Шифровальщик подносит спичку к пленке, и та мгновенно исчезает, злобно шипя. Киноплёнка только кажется обычной. Горит она так же быстро, как радиостанция передает зашифрованное сообщение.

— Готовы? Попрыгали. Время. Пошли.

Жесток сержант Полищук и на руку дерзок. Группу сгрызет, а гнать будет без остановки. Да только цыплят на финише считают. Пока все хорошо. А если группа на первых двух сотнях сдохнет? Командирам групп большие права даны. На то и соревнования. Хочешь, останови группу. Хочешь, спать ее положи. Хочешь, через каждые 10 минут хода — отдыхай. Но если в последней десятке групп окажешься — сорвут лычки сержантские, в рядовые спишут, а на твое сержантское место много любителей.

— Товарищ полковник, 11-я группа 1-й роты. Командир — сержант Столяр.

— Добро пожаловать, сержант. Действуй, на наше присутствие внимания не обращай.

— Есть! Носорог и Гадкий утенок — на стремя!

— Есть!

— Блевантин!

— Я!

— Связь давай.

— Есть связь.

— Готовы?! Попрыгали. Время. Пошли.

Теперь группы потоком пойдут. Так всегда на соревнованиях бывает. Несколько групп вырывается далеко вперед, потом идет основная масса с короткими перерывами или без перерывов вообще, а потом отставшие, заблудившиеся. Некоторые отдыхают у нашего костра по часу. Некоторые по два. Некоторые останавливаются, только чтобы развернуть связь, передать сообщение, и — вперед. Рядом с нами сразу несколько групп готовят свой нехитрый ужин. В ходе учений огонь разводить запрещено, и тогда диверсант готовит себе пищу на спиртовой таблетке. Но на соревнованиях можно пользоваться и огнем. Главное на соревнованиях — точное ориентирование, скорость, определение координат и связь. Остальное не так важно.

От костра пряным запахом потянуло. Диверсанты курицу жарят. Жарят ее особым методом: выпотрошили, срезали голову и ноги, но перья не ощипывали. Курицу толстым слоем глины мокрой измазали, и в костер. Вот уж и запах пошел. Скоро она и готова. Нет у диверсанта кастрюли, и оттого в глине готовить приходится. Когда совсем она изжарится, глину собьют, а вместе с глиной слетят с нее и перья, и курочка во всем своем жиру — прямо к столу.

— Товарищ полковник, милости просим.

— Спасибо. А где ж вы курицу взяли?

— Дикая, товарищ полковник. Беспризорная.

В ходе соревнований часто Спецназы и дикую свинку найти могут, и курочку, и петушка. Иногда дикая картошка попадется, дикие помидоры и огурцы, дикая кукуруза. Кукурузу другая группа в чайнике огромном варит.

— А чайник откуда?

— Да как сказать. Лежал на дороге. Чего ж, думаем, добру пропадать. Отведайте кукурузки! Хороша.

У Кравцова правило — приглашение солдата он принимает с благодарностью, как принимает приглашение начальника штаба округа или самого командующего. Разницы он не делает. Весело у костра:

— Обмани ближнего, или дальний приблизится и обманет тебя.

Шутник полковник. За него любой диверсант глотку перегрызет. Непросто такого уважения среди них добиться. Подчиняются они всякому поставленному над ними начальнику, а уважают не всякого, и тысячи способов зверехитрый диверсант знает, чтобы командиру своему продемонстрировать уважение или неуважение. А

за что они Кравцова уважают? За то, что тот натуру звериную свою не прячет и прятать не пытается. Диверсанты уверены в том, что натура людская порочна и неискоренима. Им виднее. Они каждый день жизнью рискуют и каждый день имеют возможность наблюдать человека на грани смерти. И поэтому всех людей они делят на хороших и плохих. Хороший, по их понятиям, тот человек, который не прячет зверя, сидящего внутри него. А тот, кто старается хорошим казаться, тот опасен. Самые опасные люди те, которые не только демонстрируют свои положительные качества, но и внутренне верят в то, что являются хорошими. Отвратительный, мерзкий преступник может убить человека или десять человек, или сто. Но преступник никогда не убивает людей миллионами. Миллионами убивают только те, кто считает себя добрым. Робеспьеры получают не из преступников, а из самых добрых, из самых гуманных. И гильотину придумали не преступники, а гуманисты. Самые чудовищные преступления в истории человечества совершили люди, которые не пили водки, не курили, не изменяли жене и кормили белочек с ладони.

Ребята, с которыми мы сейчас жуем кукурузу, уверены в том, что человек может быть хорошим только до определенного предела. Если жизнь припрет, хорошие люди станут плохими, и это может случиться в самый неподходящий момент. Чтобы не быть застигнутым врасплох такой переменной, лучше с хорошими не водиться. Лучше иметь дело с теми, кто сейчас плохой. По крайней мере знаешь, чего от него ждать, когда фортуна оскал продемонстрирует. Полковник Кравцов в этом смысле для них свой человек. Идет, к примеру, девочка грудастая по улице. Ягодицы, как два арбуза в авоське, перекатываются. Что диверсант в этом случае делать будет? По крайней мере взглядом изнасилует, если по-другому нельзя. Но и полковник Кравцов так же поступит, не постесняется. За это его уважают. Опасен тот, кто женщине вслед не смотрит. Опасен тот, кто старается показать, что это его не интересует совсем. Вот именно среди этой публики можно найти тайных садистов и убийц.

Кравцов к этой категории не относится. Любит он женский пол (а кто не любит?) и секрета из этого не делает. Любит власть — зачем же свою любовь скрывать? А любит он ее крепко. Любую власть. Почувствовал я это, когда впервые увидел, как он куклу бил. Это был апофеоз мощи и беспощадной власти.

Кукла — это человек такой. Человек для тренировки. Когда ведешь учебный бой против своего товарища, то наперед знаешь, что он тебя не убьет. И он знает, что ты его не убьешь. Поэтому интерес к учебному бою теряется. А вот кукла тебя убить может, но и тебя ругать не очень будут, если ты кукле ребра переломашь или шею.

Работа у нас ответственная. И рука наша не должна дрогнуть в ответственный момент. И не дрогнет. А чтоб командиры наши полную уверенность в том имели — подбрасывают нам для тренировок кукол. Куклы не нами выдуманы. Их и до нас использовали, и гораздо шире, но назывались они по-другому. В ЧК их называли гладиаторами, в НКВД — волонтерами, в СМЕРШе — робинзонами, а у нас они — куклы.

Кукла — это преступник, приговоренный к смерти. Тех, кто стар, болен, слаб, тех, кто знает очень много, уничтожают сразу после вынесения приговора. Но тот, кто силен да крепок, — того перед смертью используют для усиления мощи нашего государства. Говорят, что приговоренных к смерти на уран посылают. Чепуха. На уране обычные зэки работают. Приговоренных к смерти более продуктивно используют. Один из видов такого использования — сделать его куклой в Спецназе. И нам хорошо, и ему. Мы можем отрабатывать приемы борьбы, не боясь покалечить противника, а у него отсрочка от смерти получается.

Раньше гладиаторов да кукол на всех достаточно было. Теперь нехватка. Во всем у нас нехватка. То мяса нет, то хлеба, а теперь вот и кукол не хватает на всех. А желающих использовать кукол не убавляется. А где ты их наберешь? Потому приказывают куклу длительно использовать, осторожно. Но это на качество занятий не очень влияет. Ты его не можешь сильно калечить, а у него ограничений нет. Он в любой момент озвереть может. Терять ему нечего. Шею свернуть запросто может. Оттого бой с куклой в сто раз полезнее, чем тренировка с инструктором или с коллегой. Бой с куклой — настоящий бой, настоящий риск.

Во всем батальоне Спецназ только один особый профессиональный взвод допущен к тренировкам с куклами. Три обычные диверсионные роты о существовании кукол просто не знают. Особый взвод отделен от батальона Спецназ и спрятан в Дубровице, внутри штрафного батальона: и место хорошо охраняется, и кукол содержать есть где.

Не любит Кравцов зря рисковать. Но любит власть. И потому,

попав в Дубровицу, он каждый раз переодевается и идет лично сам тренироваться на куклах. Он тренируется долго и упорно. Он очень настойчив.

7.

Немного воды, полбанки кофе, коньяка солидную порцию — и на огонь. Это варварское месиво должно долго вариться. Попьешь — будешь прыгать, как молодой козлик. Приятный аромат щечочет ноздри.

Серый рассвет. Холодный туман. Едкий дым костра. Мы снова одни.

— Много ГБ нашей крови выпило?

— Ты, Витя, про всю армию или только про разведку?

— И про армию, и про разведку.

— Много.

— Почему так получилось?

— Мы были очень наивны. Мы служили Родине, а чекисты служили сами себе и партии.

— Это может повториться?

— Да. Если мы будем так же наивны, как и раньше...

Он мешает ложкой коньячное варево. А мне кажется, что он судьбу мою вершит. Не зря он один со мной в глухой степи оказался. Не зря он разговоры такие ведет. Рассказав мне об Аквариуме, он доверил мне свою судьбу. Я же ее поломать могу. Зачем он рискует так? Не иначе, он от меня требует мою собственную судьбу. Я согласен рисковать вместе с Кравцовым и ради него. Но как мне выразить это?

— Мы не должны им позволить, чтобы это повторилось. Ради благополучия нашей Родины мы должны быть сильными. Армия должна быть не менее сильной, чем ГБ... — внезапно я чувствую, что это именно то, чего он ждет от меня. — Мы не должны им позволить этого. Монополия чекистской власти может удушить советскую власть... — продолжаю я.

— Но и монополия власти военной может уничтожить советскую власть. Ты этого не боишься, Виктор? — он смотрит в упор.

— Не боюсь.

— Что бы ты на моем месте делал? На месте советских генералов и маршалов?

— Я бы поддерживал жесткий контакт с коллегами. Если один в опасности, все генералы и маршалы должны его защищать. Нам нужна солидарность.

— Представь, что есть такая солидарность. Тайная, конечно. Представь, что партия и ГБ решили свергнуть одного из нас. Как же всем остальным реагировать? Бастовать? Всем в отставку подать?

— Я думаю, что мы должны отвечать ударом на удар. Но не по всем нашим врагам, а только по самым опасным. Если вы лично имеете проблемы с местным партийным руководством или с ГБ, не вам с ними биться, но все ваши друзья со всего Союза должны наносить тайные удары по вашим врагам. И наоборот, когда кто-то из ваших далеких друзей в беде, вы обязаны использовать всю свою мощь для нанесения тайных ударов по его врагам...

— Хорошо, Суворов, но помни, что этого разговора никогда не было. Ты просто перепился коньяку и все это сам придумал. Запомни, что лучше всего стоять в стороне от всех этих драк, но тогда ты так и останешься в пыли. Драка за власть — жестокая драка. Тот, кто проиграл, — преступник. Для победителя все равно, совершал ты преступления или нет. Все равно преступник. Так что лучше уж их делать, чем быть наивным дураком. С волками жить... А то ведь съедят. Но уж если ты встал на этот путь, то лучше не попадаться, а если попадаться, так не сознаваться, а уж если и сознаваться, то в простом деле, а не в организованном. Каждый, кто дерется за власть, имеет свою группу, свою организацию, и каждый не прощает этого своим соперникам. Участие в организации — это самое страшное, в чем ты можешь признаться. Это жуткий конец для тебя лично. Под самыми страшными пытками лучше признаться, что ты действовал один. В противном случае пытки станут еще страшнее. А теперь слушай внимательно.

Его голос резко изменился, как и выражение лица.

— Через неделю ты пойдешь контролером с группой Спецназ. Вас выбросят на Стороженецком полигоне. На второй день группа распадется надвое. С этого момента ты исчезнешь. Твой путь в Кишинев. Ехать только товарными поездами. Только ночью. В Кишиневе есть педагогический институт. Уровень национализма в институте — выше среднего. Этот лозунг ты напишешь ночью на стене.

Он протягивает мне листок тонкой папиросной бумаги.

— Ты по-молдавски не говоришь, поэтому запомни весь текст

наизусть. Сейчас. Попробуй написать. Еще раз. Помни. Ты делаешь все сам. Если тебя где-то остановят: ты отстал от группы, потерял направление. Стараешься сам вернуться в штаб армии без посторонней помощи. Поэтому ты по ночам едешь в товарных вагонах. Смотри, не усни. Отсыпайся днями в лесу.

— Какой величины должны быть буквы?

— 15 — 20 сантиметров будет достаточно, чтобы свалить председателя Молдавского ГБ.

— Одним лозунгом?

— Тут особый случай. С национализмом в институте боролись давно и безуспешно. Принимали самые драконовские меры. Донесли в Москву, что теперь все хорошо. Твое дело — доказать, что это не так. Может, конечно, подозрение пасть на Одесский округ, но одесское военное руководство легко докажет свою полную невиновность. Удар мы наносим не прямой, а из-за угла, из соседнего округа. Я повторяю, ты действуешь сам. Ты видел этот лозунг на клочке бумаги, который валялся на улице, выучил его наизусть и написал на стенке, не зная его значения. Лучше быть дураком, чем конспиратором. Не забыл лозунг?

— Нет.

8.

Нас бросали с трех тысяч метров. На второй день группа распалась надвое. Командиры двух подгрупп знали, что с этого момента они действуют самостоятельно, без контроля сверху...

9.

Через пять дней я появился в штабе армии. Мой путь к начальнику разведки. Я докладываю, что в ходе учений после разделения групп я должен был встретить третью группу, но не встретил ее, потерял ориентировку и долгое время искал правильный путь, не пользуясь картой и услугами посторонних. Легкой улыбкой я докладываю, что дело сделано. Чисто сделано. Легким кивком он дает мне знать, что понял. Но он не улыбается мне.

10.

Прошло три недели. Я внимательно слежу за всеми публикациями. Понятно, что ни в местных, ни в центральных газетах никто

ничего не опубликует. В местных газетах может появиться статейка под названием “Крепить пролетарский интернационализм!” Но нет такой статейки...

Он положил мне руку на плечо, он всегда подходит неслышно.

— Не теряй времени. Ничего не случится.

— Почему?

— Потому что то, что ты написал на стене, не принесет никому никакого вреда. Текст был совершенно нейтральным.

— Зачем же я его писал на стене?

— Затем, чтобы я был в тебе уверен.

— Я был под наблюдением все время?

— Почти все время. Твой маршрут я примерно знал, а конечный пункт тем более. Бросить десяток диверсантов на контроль — и почти каждый твой шаг зафиксирован. Конечно, и контролеры не знают того, что они делают... Когда человек в напряжении, ему в голову могут прийти самые глупые идеи. Его контролировать надо. Вот я тебя и контролировал.

— Зачем вы мне рассказали о том, что я был под вашим контролем?

— Чтоб тебе и впредь в голову дурные идеи не пришли. Я буду поручать тебе иногда подобные мелочи, но ты никогда не будешь уверен в том, идешь ты на смертельный риск или просто я тебя проверяю. — Он улыбнулся мне широко и дружески. — И знай, что материалов на тебя у меня столько, что в любой момент я тебя могу превратить в куклу.

...Он смотрит на меня выжидающе, потом наливает по полстакана холодной водки и молча кивает мне на один стакан:

— С начальником тоже иногда выпить можно. Не бойся, не ты ко мне в друзья навязываешься, это я тебя вызвал, пей.

Я взял стакан, поднял его на уровень глаз, улыбнулся своему шефу и медленно выпил. Водка — живительная влага.

Он снова налил по полстакана.

— Слушай, Суворов, своим взлетом ты обязан мне.

— Я всегда об этом помню.

— Я за тобой наблюдаю давно и стараюсь понять тебя. На мой взгляд — ты прирожденный преступник, хотя об этом и не догадываешься и не имешь уголовной закалки. Не возражай, я людей знаю лучше, чем ты. Тебя насквозь вижу. Пей.

— Ваше здоровье.

— Осади огурчиком.

— Спасибо.

Лицо у него мрачное. По всей видимости, он до моего прихода уже успел употребить. А выпив, он всегда становился мрачным. Со мной всегда происходит то же самое. Он, видимо, это давно подметил и по некоторым другим, почти незаметным признакам с самого себя рисует мой портрет.

— Если бы ты, мерзавец, к уркам попал, то ты бы у них прижился. Они бы тебя за своего считали, а через несколько лет ты бы в банде определенным авторитетом пользовался. Возьми колбаски, не стесняйся. Мне ее из спецраспределителя доставляют. Ты о существовании такой колбасы, наверное, и не догадывался, пока я тебя к себе не забрал. Пей...

В том, что водки в нем было уже более полкило, сомнений не было. Она понемногу действовать начинала. Вилка в его руке точно уже не отличалась, но ум его от влияния алкоголя полностью изолирован. Говорит он ясно и четко, мыслит тоже ясно и четко.

— Одного я в тебе, Суворов, не понимаю: ты в мучительстве наслаждения не находишь или только скрываешь это? У нас широкие возможности наслаждаться своей силой. Ваньку-педераста можно мучить столько, сколько душа пожелает. А ты от этих удовольствий уклоняешься. Почему?

— Я в мучительстве наслаждения не чувствую.

— Жаль.

— Это плохо для нашей профессии?

— Вообще-то нет. В мире астрономическое число проституток, но лишь немногие из них наслаждаются своим положением. Для большинства из них это очень тяжелая физическая работа, и не более. Но независимо от того, нравится проститутке ее работа или нет, ее уровень во многом зависит от отношения к труду, от чувства ответственности, от трудолюбия. Профессией необязательно наслаждаться надо, необязательно ее любить надо, но на любом месте проявлять трудолюбие надо. Чего зубы скалишь?

—оборот интересный — “трудолюбивая проститутка“.

— Нечего смеяться, мы не лучше проституток, мы делаем не очень чистое дело на удовольствие кому-то и за наш тяжелый труд много получаем. Профессию свою ты не очень любишь, но трудолюбив, и этого мне достаточно. Наливай сам.

— А вам?

— Немного совсем налей. Два пальца. Хорош. Я тебя вот зачем вызвал. Прожить на нашей вонючей планете можно только перегрызая глотки другим. Такую возможность предоставляет власть. Удержаться у власти можно, только карабкаясь вверх. Скользкая она очень. Кроме того, помощь нужна, и потому каждый, кто по ее откосам вверх карабкается, формирует свою группу, которая идет с ним до самого верха или летит с ним в бездну. Я тебя вверх тащу, но и твоей помощи требую, помощи любой, какая потребуется, пусть даже и уголовного порядка. Когда ты чуть выше вслед за мной поднимешься, то и ты свою собственную группу сколотишь и будешь ее вслед за собой тянуть, а я тебя буду тянуть, а меня еще кто-то. А вместе мы нашего главного лидера вверх продвигать будем.

Он вдруг ухватил меня за ворот:

— Предашь — пожалеешь!

— Не предам.

— Я знаю, — глаза у него мрачные. — Можешь предавать, кого хочешь, хоть Советскую Родину, но не меня. Бойся об этом думать. Но ты об этом и не думаешь. Я это знаю, по твоим сатанинским глазам вижу. Допивай, и пошли. Поздно уже. Завтра придешь на работу в 7.00 и к 9.00 подготовишь все свои документы к сдаче. Меня назначили начальником разведывательного Управления Прикарпатского военного округа. Туда, в Управление, я свою команду потянул за собой.

Конечно, я беру с собой не всех и не сразу. Некоторых позже перетяну. Но ты едешь со мной сразу. Цени.

11.

Я не знаю, что со мной. Что-то не так. Я просыпаюсь ночами и подолгу смотрю в потолок. Если бы меня отправили куда-то умирать за чьи-то интересы, я бы стал героем. Мне не жалко отдать свою жизнь, и она мне совсем не нужна. Возьмите, кому она нужна. Ну, берите же ее! Я забываюсь в коротком тревожном сне. И черти куда-то несут меня. Я улетаю высоко-высоко. От Кравцова. От Спецназа. От жестокой борьбы. Я готов бороться. Я готов грызть глотки. Но зачем это все? Битва за власть — это совсем не битва за Родину. А битва за Родину — даст ли она утешение моей душе? Я уже защищал твою Родину, интересы в Чехословакии. Неприятное

занятие, прямо скажем. Я улетаю все выше и выше. С недостижимой звенящей высоты я смотрю на свою несчастную Родину-мать. Ты тяжело больна. Я не знаю, чем. Может, бешенством. Может, шизофрения у тебя? Я не знаю, как помочь тебе. Надо кого-то убивать. Но я не знаю, кого. Куда же лечу я? Может, к Богу? Бога нет! А может, все-таки к Богу? Помоги мне, Господи!

Окончание следует



НИКОЛАЙ ИВАНОВ

РАСКАЗЫ

Николай Иванов родился в Астрахани, где живет и сегодня. Работает грузчиком в магазине Соки-воды на улице Свердлова, неподалеку от здания, обитатели которого в 1983 году свезли к себе для углубленного изучения прозаические вещи грузчика, бывшего до этого экономистом, главным бухгалтером, алтарщиком и псаломщиком в православном Храме, сторожем, дворником, а на действительной службе в Советской Армии — писарем. Особые приметы: русая борода (пока не седая) и всегдашняя, несмотря ни на что, улыбка. Родился в 1949 году. На иждивении имеет сына, которого не отдает в школу, считая, что школа убивает ребячью индивидуальность, с чем, естественно, не соглашается РОНО, продолжающее борьбу за неохваченную всеобщим средним образованием душу. Сын унаследовал вольнодумство отца; самая страшная для него угроза: “В школу отдам!” Первая книга Н.Иванова выходит в издательстве “Интербук“, любезно предоставившем “Концу века“ часть его произведений, пока избежавших изъятия.

РУССКИЙ

Я выхожу из дома.

Да, да, у нас свой дом! Коттедж. Вилла. Особняк. Правда, двор общий. Как и одноочковый туалет. Как ни странно, хозяев во дворе четверо, а туалет всего один. В этом нет никаких неудобств, но вот когда приезжают говночисты, начинаются споры о том, кому платить за их услуги.

Илья Сергеевич, бывший милиционер, которому из-за страшных запоев пришлось расстаться с милицейской формой, всегда заявляет, что последний раз платил он. Дядя Миша, молчаливый грузный рабочий с мясокомбината, тоже уверяет, что последним платил именно он. Такого же мнения о самих себе мой отец и Лешка-Шкалик, который всегда в подобных случаях бывает сильно пьян, но при деньгах. Поэтому да еще потому, что Шкалик крайне шупл, приходится платить именно ему.

Кстати, кран тоже один на весь двор, но это не разъединяет. Наоборот. Ведь как только кран ломается, чинить его собираются все мужчины, а женщины сразу начинают хлопотать о закуске.

Так вот, я выхожу из дома, выхожу из калитки. Мне восемь лет. Я — русский. Я еще не знаю, какое проклятие свершается надо мной. Я только знаю, что я — русский. Господи, ну почему я не родился на каких-нибудь полторы тысячи километров западнее или южнее? Ведь моя жизнь могла бы сложиться совершенно иначе. Мне бы не пришлось идти по грязным улицам в школу, все три этажа которой пропахли керосином. Да, именно керосином! Там так мыли полы. Через четверть века после того, как я отучился в этой школе, ее сровняли с землей и на этом самом месте построили новую. Я был в этой новой школе, и она так же пахла керосином, хотя все уборщицы клянутся всем святым, что осталось у советского человека, доказывая свое неприятие этого нефтепродукта.

Значит, это я пропитался этим проклятым керосином.

А грязь! Вы знаете, что это была за грязь, сквозь которую прорывался я, чтобы попасть в школу, пропахшую керосином? Это была страшная грязь. Она буквально прилипла к резине сапог, забиралась в них, пачкала застиранные форменные брючки и заштопанные застиранные носочки ученика керосиновой школы. Как долго приходилось мыть эти грязные резиновые сапоги в корыте с грязной холодной водой! Как унижительно это было, как противно! Как зябли маленькие худенькие ручонки болезненного впечатлительного мальчишки, которому больше всего на свете нравились сказки, сказки, пахнущие розами и ванилью, но только не керосином.

Господи, ну почему я не родился в другом полушарии? Ведь тогда бы я пел другие песни, а может быть, даже вообще не пел, ведь не всем же Ты, Господи, даешь хороший голос... А в моем полушарии в керосиновой школе меня заставляли петь.

Я еще тер руки, которые очень долго не могли согреться после грязной и холодной воды в корыте, а учительница угрюмо диктовала слова песни, которую суждено было учить мне и еще сорока девочкам и мальчикам.

— Будет людям счастье, счастье на века... — диктовала учительница.

Эту песню каждый день по несколько раз приходилось слышать если не дома, то на улице и в керосиновой школе. Она, песня эта, должна была компенсировать грязь и неухоженность, царящие вокруг, она должна была наполнять души людей, бредущих сквозь эту грязь, верой, что через двадцать лет все будет иначе, что изобилие хлынет, как из рога. А рогов у нас много! Главное, чтобы были рога. А уж хлынет — так хлынет. Все наедемся и оденемся по-человечески, хотя и мещанство думать об этих вещах. Ведь главное, чтобы Светлое будущее было!

Я люблю сказки, но не ложь. Это Светлое будущее было ложью. Я это понял. Но я еще не понимал во всей широте, каким проклятьем проклят я, русский мальчишка, через дикую грязь пробирающийся в пропахшую керосином школу, где ему через силу приходилось петь ненавистные лживые песни.

Я — русский!

Что вы можете знать об этом? Что вы можете знать о моей жизни, если плохо представляете даже мой путь от дома до керосиновой школы? Вы не можете представить этот путь, даже если учились в этой самой школе. Ведь я очень впечатлительный мальчик. Мне этот путь снился каждую ночь. И каждую ночь он становился все длиннее и гаже. Я проваливался в колдобины не по колено, а по грудь, по шейку, а в ямах была уже не жидкая грязь, а вонючая смесь из кала, керосина и радостно-возвышенных песен.

Я — русский!

Я шел сквозь грязь и песни. Я шел и рос. Я уже плохо понимал, сколько мне лет: восемь, сорок или восемьдесят? Я стар, но какая же это старость, если душа полна ожидания чуда, сказки, которая неожиданно сделает меня счастливым. Я могу быть в сказке только в своем воображении, в настоящей жизни я бессилён что-либо сделать. В этой жизни у меня осталось только одно: я — русский. Я иду и проваливаюсь в грязь. И не обижаюсь, когда слышу упреки.

— Ты грязный! — кричат сверху.

А я молча улыбаюсь.

Дойду и отмоюсь. Пройду через грязь и одурь. Я должен пройти.

Я — русский.

ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ

Когда иерею Николаю Бгашеву, настоятелю Иоанно-Предтеченского храма, передали из-за ящика квитанцию на причащение на дому, он очень удивился указанному там адресу. Дом этот был для номенклатурных работников.

Но, во-первых, время было такое, что скоро, пожалуй, и коммунисты креститься начнут, а, во-вторых, может, это бабке чьей-нибудь приспичило?

Войдя в комнату больного, куда его проводила сухонькая женщина лет под семьдесят, священник увидел маленького старичка, которому специально по этому случаю надели ру-

башку с галстуком и пиджак со множеством медалей и орденов, а главное — Звездой Героя Советского Союза. Брюки ему не надевали, потому что, как сказала женщина, с 1974 года он не поднимался, так что у него и брюк-то нет, а пиджак купили в комиссионном для фотографии и для торжественных приемов.

— К нему такое начальство иногда приходило, что голова кругом шла! Самые-самые! — испуганно говорила женщина.

— Ну, ты иди! — сказал старичок.

Он молчал, разглядывая священника.

— Удивляешься?

Священник пожал плечами.

— Конечно, удивляешься! Я, знаешь, таких, как ты?.. Вот это вот видел? — старичок ткнул в какой-то значок, который терялся в бесчисленных орденах и медалях, похожих на значки, и значках, похожих на награды Родины. — Это значок “50 лет в КПСС”. Понял?

Священник согласно кивнул.

— Но человек я русский, и решил я, тем более что на этом этапе партия взяла насчет вас другой курс, решил я исповедаться и принять, так сказать, причастие. Может, и поможет, — старичок не спрашивал, а задавал программу действий.

Исповедь началась издалека...

— Кирюха, сын у тебя родился! — крикнул Пашка Криволапов, тоже из комсомольцев, как и сам Кирилл Бакланов, который ничего пока ответить не мог, так как тащил бревно. Впереди него был Сергей из второй бригады обходчиков, а позади примазался какой-то шкет в пиджаке, при галстукке и в смешной измятой кепчонке. Шкет все время юлил под бревном и только мешал. Они с Сергеем одни несли бы легче, чем с этим шкетом.

— Бросаем, — сказал Сергей, потому что дальше тащить было некуда. Они уперлись в такую же кучу бревен, как та, из которой было взято их бревно.

— И-и-раз! — скомандовал Сергей, и они бросили свою ношу.

Со шкета сбита была его смешная кепчонка. Он порыви-

сто нагнулся, на нем что-то затрещало. Серега не поленился, тоже нагнулся и осмотрел шкета.

— Да у тебя штаны лопнули, — доложил он незадачливому помощнику, который был, вероятнее всего, из бухгалтеров. Они, бедные, целый день просидят, уткнувшись в свои ведомости, а потом щурятся, света дневного не переносят.

— По шву лопнули? — бойко поинтересовался “бухгалтер”.

— По шву, — подтвердил Серега, — у тебя и пиджак лопнул. Чинить все надо теперь.

— Да, батенька, великая починка будет, — сказал шкет. — Великий почин! — произнес он вдруг торжественно и куда-то убежал.

— Кирюха, ты слышал, сын у тебя родился! — опять объявил Пашка.

— Сын — это здорово! — произнес Кирилл, еще не зная, что бы это такое отмочить.

— Как назовешь-то? — спросил Митька из их бригады, но не комсомолец.

— Да уж не Николкой-угодником! — огрызнулся Кирилл.

— А как? — поинтересовался кто-то из подошедших ребят.

— Сегодня какой день? — Кирилл оттягивал время, необходимое для раздумий.

— Ты чего, совсем, что ли? — удивился кто-то из комсы. — Субботник же сегодня.

— Субботник, — растерянно повторил Кирилл. — Субботник! Субботник! — закричал он восторженно.

— Ты чего? — удивился Серега.

— Субботником я его назову! Субботником!

— Ты чего, ударился? — нахмурился Серега.

— Субботник! — продолжал орать Кирилл.

— Не порть парню жизнь. Куда он с таким именем? — попробовал образумить друга Серега.

— Да пошел ты!.. — озлился Кирюха. — Теперь жизнь другая, и имена должны быть другими, нашими, пролетарскими!

Так 10 мая 1919 года родился и был наречен Субботником сын потомственного рабочего Бакланов Субботник Кириллович.

Детство Субботника было трудным. Человеческие существа в раннем возрасте очень трудно поддаются идейно-политическому воспитанию. Поэтому ровесники Субботника издевались над ним, а при случае и били.

— Баклан! — кричали они, завидев Субботника. — Когда на субботник?

Субботник, чтобы поднять свой престиж, однажды вынес на улицу вместе с бутербродом из двух кусков хлеба и соленого маргарина между ними фотографию отца на субботнике, где он стоял в окружении своих товарищей, среди которых был и шкет-бухгалтер, сжимающий в правой руке свою многострадальную кепчонку.

Ребята долго разглядывали фотографию, а на другой день Субботник был схвачен, повален на землю, и кто-то из ребят, принесших из дома машинку для стрижки, обстриг Субботника Бакланова так, что он был точь-в-точь, как шкет-бухгалтер. Жидкие волосенки торчали только над ушами и на затылке.

Через этот случай фотографией заинтересовались и взрослые. Кирилла Бакланова срочно приняли в партию, и в 1930 году он был направлен в село председателем колхоза.

Сельские мальчишки относились к Субботнику так же, как и городские.

— Баклан! — кричали они. — Ты готов?

— Всегда готов! — гордо отвечал пионер Субботник. В сельской школе имени Ленских событий он был председателем совета пионерской дружины.

Работа с непионерской детворой была необычайно сложной.

— Танька, — говорил Субботник дочке зажиточного крестьянина-единоличника, — давай играть в угадки?

— А это как?

— Я тебе говорю о какой-нибудь вещи, а ты говори, где она лежит.

— Давай, — соглашалась сельская простушка.

— Папин наган, — гордо говорил Субботник.

— У твоего папы в кармане, — не совсем уверенно отгадывала Таня.

— Верно! — восторженно признавался Субботник. — Здорово ты угадываешь! А теперь ты давай.

— Плетка.

— На стене у вас висит, чего тут угадывать. Ты давай что-нибудь посложней.

— Хомут, — загадочно улыбалась Таня.

— В сарае он у вас, — еще больше раздражался председатель совета дружины. — Ты чего-нибудь потруднее!

— А чего?

— Ну хлеб, например...

— Давай...

— Он у вас в яме, которую вырыли под половицами.

— Нет, — лукаво улыбалась девчонка.

— Значит, под гумном.

— Нет.

— А где? — неожиданно, но очень непринужденно вставлял Субботник.

— В яме за сараем.

На этом игра кончалась...

На следующий день к председателю колхоза вызвана была мать Таньки — красивая статная баба.

Кирилл Бакланов сидел за столом, над его головой висел портрет, пристально всматривающийся в будущее.

— Зинка, — приказывал Бакланов своей жене, которая была при нем бухгалтером-счетоводом, — сходи за спичками!

Зина, привычная к таким приказам, уходила.

— Я тебя раком буду, или все ваше семейство загремит за срыв хлебных поставок! Ты чуешь, чем это пахнет? Всем по червонцу! Иди сюда, я тебя на столе делать буду!

Все шло хорошо, но в среде крестьянства было слишком много чуждых пролетарским интересам элементов.

Однажды ночью все село было поднято большим церковным колоколом. Кто взял топор, кто вилы, а кто просто выдернул кол.

Дверь в правлении колхоза сняли бесшумно. Бакланов даже не успел вынуть наган. Мужики несколько раз проши-

ли его вилами, а бабы и рук не марали, только плевали в страшную, перекошенную большую морду. Порешили и Зинку, которую нашли в постели с приезжим инструктором из райкома.

— Братцы! — визжал инструктор. — Я за вас же кровь в гражданскую проливал!

— Если ты и проливал ее, так за тех, кому теперь хорошо жить стало, а окромя вас, никто этим похвастаться не может, — просипел дед Андрей и одним ударом топора раскроил череп, в котором бились передовые идеи переустройства общества, еще не порвавшего с эксплуататорскими пережитками.

— Мужики! — кричала Зинка. — Я у вас сосать буду! — она пьяно тыкалась в портки к мужикам, пока кто-то не пристукнул ее обухом.

— Тварь! — сплюнула мать Таньки.

Субботника не нашли. На его счастье, в эту ночь он залез на чердак и сквозь щель наблюдал за развлечениями своей матери и инструктора райкома, которые даже не тушили керосиновой лампы.

На чердаке Субботник и дождался приезда ОГПУ. Он гордо шел рядом с высоким товарищем в широких галифе по улицам села.

— Вот эти, — говорил он, указывая пальцем на дом, — и вот эти, и вот эти...

— Молодец, — хвалил носитель галифе, — молодчина, пионер! Так держать, сынок!

В 1931 году Субботника Бакланова как круглого сироту определили в детский дом имени Кровавого воскресенья, потом переименованный в детский дом имени геройских командармов Буденного и Ворошилова.

Трудно жилось тогда нашей Родине. Не все люди еще перековались. Многие взрослые жили еще по представлениям затрапезного царизма. Они, например, считали, что сообщать о разговорах своих друзей в соответствующие органы безнравственно. Органы простаивали, работали вхолостую, работники органов теряли квалификацию. От этого простоя, кстати, страдала и экономика первого в мире государства рабочих и крестьян.

На помощь государству пришли мальчишки. Они сообщали о всех замечаемых недостатках, проступках и разговорах.

Несознательные родители, когда узнавали о подобных героических поступках своих детей, иногда пороли юных патриотов. Сколько было слез, криков о помощи...

Но утром на шею опять повязывался пионерский галстук и звучало гордое: “Всегда готов!” А руки сами собой хватали ручку, лист бумаги, и уже ложились емкие по своей глубине строки.

“Мои родители образованные люди, они занимают хорошие высокие должности, страна дала им все, а они по ночам обсуждают действия руководителей партии и правительства. Мои родители являются затаившимися врагами социализма и лично товарища Сталина, стоящего на страже генеральной линии нашей родной ВКП(б)“.

Родителей посылали на очередную стройку или лесоповал, а героя пионера, отказавшегося от родителей — врагов народа, отправляли в детский дом.

Вот поэтому жизнь в детском доме для Субботника была прекрасной. Он из-за своего уникального имени был окружен почетом и уважением, а сцены, наблюдаемые им сквозь щель в потолке, делали его большим авторитетом в вопросах половой жизни.

Субботник стал юнкором “Пионерской правды” и одновременно наладил активную переписку с ОГПУ.

Субботник иногда даже не знал, куда надо писать — в “Пионерку” или в ОГПУ. Конечно, в “Пионерку” надо писать только о хорошем, а в ОГПУ — только о плохом. Но плохое от хорошего порой было трудно отличить.

Вот недавно в детский дом привез несколько мешков зерна крестьянин-единоличник Серафим Ноздрев. Казалось бы, пиши в “Пионерочку” — и будет замечательный материал о сельском добряке, рвущемся к новой жизни, а получилось наоборот. По статье Субботника, направленной в “Пионерскую правду”, к Ноздревым пришли с обыском из ОГПУ и нашли еще несколько мешков зерна, которые он, видите-ли, оставил на сев. Вот вам и хвалебный материал.

1932 год был тяжелым для Субботника. Пионерская организация потеряла Павлика Морозова.

В этом году Субботник стал мужчиной.

К ним в детдом по ошибке доставили глухонемую девочку — дочку погибшего пограничника. Субботник выбрал момент, когда рядом никого не было, и написал записку, которую с деловым видом показал вновь прибывшей.

“Я — председатель совета дружины и несу ответственность за санитарное состояние всех подчиненных мне пионеров. Надо произвести санитарный осмотр твоего тела. Пойдем в мой кабинет“.

В пионерской комнате он повалил девочку на пол и, не обращая внимания на ее возмущенное мычание, изнасиловал.

На другой день девочку приняли в пионеры.

Еще через день Субботник от имени всей пионерской организации просил оставить девочку в детдоме, а не отправлять в специальный интернат для глухонемых детей.

— Она нам стала, как родная, — объяснял он умилившимся от этих слов директору и учителям.

В порядке эксперимента девочка была оставлена в детском доме.

Через год она оказалась беременной. Установить отца не удалось. Это было трудно, так как Субботник предлагал глухонемую любым желающим членам пионерской организации. С ней развлекался даже конюх Федька, который потом угощал Субботника самосадам.

— А ничего... Я ей как вдул, а она мычит, я еще — она мычит. Да пошла ты, говорю, а она мычит, глухая тетеря.

Глухонемую дочь пограничника с позором выгнали из детского дома за разврат и проституцию.

В этом же 1933 году Субботника приняли в комсомол.

В 1934 году на всю страну прогремел выстрел в Сергея Мироновича Кирова, а Субботник и еще двое членов комсомольской организации детского дома сделали смелую попытку устроить групповой половой акт с молодой воспитательницей Анастасией Димитриевной. Воспитательница неожиданно ловко ударила Субботника в пах, члены комсомольской организации получили

по оплеухе, а дело стало известным директору детского дома.

Помогла только решительность Субботника.

— Гони! — крикнул он Федьке-конюху, прыгнув на телегу. — Гони в район!

В ОГПУ он написал о травле комсомольцев в детском доме, о зверском избиении, о темном прошлом директора — бывшего офицера царской армии, георгиевского кавалера, потерявшего руку в брусиловском прорыве, о любовнице директора и идейном сотруднике — воспитательнице Анастасии Димитриевне.

— Они ничего не стесняются! — рыдал в райкоме ВЛКСМ Субботник Бакланов. — Прямо днем встояка, на виду у маленьких! Обнаглели, контры! Анастасия ходит и манду почесывает, комсомольцев развращает!

В 1935 году Субботник стал работать инструктором райкома ВЛКСМ.

В 1936 году, будучи делегатом X съезда комсомола, подцепил сифилис, которым после возвращения в свой родной райком поделился со своим комсомольским дружкой Женькой Бгашевым.

Было трудно: днем изнуряющая комсомольская работа, вечерами лечение. Только железная воля сына потомственного рабочего помогла Субботнику.

Тридцатые годы промелькнули, как один большой радостный праздник. Ни до, ни после Субботнику не жилось так весело и хорошо.

Он даже не скрывал, что является осведомителем ОГПУ. Он шантажировал всех женщин, каких только хотел.

— И не жалко тебе папаньку своего? — спрашивал он упрямую молоденькую комсомолочку, сидя за своим инструкторским столом и разглядывая ее всю, стоявшую напротив его стола. Потом порывисто вскакивал, закрывал дверь. — Ты у меня, контра, в рот будешь брать! А не то я твоего папашку на Колыме сгною!

Страна цвела и расцветала. Жить бы да жить, но тут грянула война.

Из инструкторов Субботник стал политработником. Сколько их было, фронтовых дорог!

Сначала политуправление Южного фронта, потом 4-го Украинского. Тяжело было. Иногда нальешь, а закуска плохая. Американская тушенка, если ее три дня подряд есть, тоже ведь в горло не полезет. Помогали выжить друзья хорошие. На войне Субботник и встретил Леню. Что это был за человек!

— Политработник, — любил говорить Леня, — должен быть развитым. Нет закуски — ищи! А где хлеб — там и песня!

Весельчак он был, Леня.

— Подошел я к обрыву, — рассказывал он, — и вдруг сосать захотелось. Взял да и поссал. А потом думаю — вот лет через сорок эта земля священной будет...

— Это под Новороссийском, что ли? — спрашивал кто-то.

— Ага, там, — смачно кусал огурец Леня. — Малая Земля, говорят, — объяснял он, расправившись с огурцом.

— А к нам пополнение! — вбегал Ванька Клыков, весельчак и балагур. — Лейтенант Алимова, узбечка, из Ташкентского обкома комсомола. Она там первому отказала.

— Хором ее будем! — строго говорил Леня. — Молодежь надо воспитывать.

Все катались от смеха.

— А кто первый? — интересовался Ванька.

— Спички надо тянуть! — поступило предложение.

Тогда повезло Субботнику.

В 1944 году Красная Армия наконец-то вышла на границу фашистской Германии, а Субботника скрутил си-филис. Не залечили его, оказывается, в роковом 1936 году. Сколько комсомольцев и комсомолок наградил он этой болезнью! Сколько дочерей и сыновей врагов народа наказал!

Но к 24 июня 1945 года на Красную площадь поспел! Участвовал в Параде Победы, топтал ненавистные фашистские знамена!

Началась мирная жизнь.

Партия долго думала, куда направить его, Субботника. Он и почтой руководил, и торговлей, и общественным питанием, и строительством, и рыбной промышленностью. А потом нашли! Вспомнил кто-то, что был он, Субботник, юнко-

ром "Пионерки". Назначили Субботника редактором печатного органа.

Было это в 1952 году.

А на следующий год умер Сталин.

"Отец родной, — писал орган, которым руководил Субботник, — ты будешь всегда жив для нас. Твое имя, как солнце, будет светить нам в нашей радостной советской жизни. Твой ЦК, твоя партия, твой народ будут верно продолжать твое дело!"

В 1960 году орган Субботника гневался и негодовал:

"Весь народ вместе с родной партией Ленина клеймит позором страшное явление культа личности Сталина!"

В 1961 году орган благодушествовал:

"Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев посетил ряд колхозов. Он похвалил животноводов, но особой похвалы удостоились кукурузоводы, вырастившие и собравшие рекордный урожай "царицы полей". "С такой кукурузой и в коммунизм не стыдно войти!" — сказал Никита Сергеевич собравшимся вокруг него колхозникам".

17 апреля 1964 года орган захлебывался восторгом:

"Как весь советский народ, коммунисты и беспартийные шлют тысячи поздравительных телеграмм в адрес Центрального Комитета с поздравлениями с 70-летием верного ленинца, видного марксиста, первого секретаря ЦК КПСС, Председателя Совета Министров СССР товарища Никиты Сергеевича Хрущева".

В октябре этого же года орган опять рвал и метал:

"Волонтаризм, шапкозакидательство оставили горькие плоды в хозяйстве нашей страны, но, как никогда, советские люди уверены в победе коммунистического труда под руководством славной партии Ленина! Вперед к победе коммунизма!"

В 1973 году городу Новороссийску было присвоено звание города-героя, а в следующем, 1974 году страна нашла еще одного героя. Субботник был награжден орденом Ленина и золотой Звездой Героя Советского Союза. В этом же году его разбил паралич. Это были последствия незалеченного сифилиса далекого тридцать шестого...

Субботнику пришлось оставить любимую работу.

В прощальной статье орган прощался со своим руководителем:

“Как мины замедленного действия, затаились в его теле осколки войны. И вот они взорвались! Не волнуйся, Субботник Кириллович, мы продолжим твоё дело. Нам будет трудно, нам будет не хватать тебя, но с нами твои многочисленные ученики, твоё смена. Мы всегда будем помнить о тебе, ровесник Всесоюзного ленинского субботника!”

Время остановилось для Субботника...

Исповедь закончилась. Субботник устало откинулся на подушку, потом протянул руку к прикроватной тумбочке, на которой стояло множество бутылочек, пузырьков, взял стакан и выпил.

— Ну как, отпускаешь грехи мои? — строго спросил он священника.

Священник Николай Бгашев с удивлением посмотрел на друга своего отца, умершего ещё во времена Хрущёва.

— Конечно, — сказал он, накидывая на голову Субботника епитрахиль. — Властью, данной мне от Господа... — начал он уставную молитву.

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Создавать образы — основное занятие советских писателей. Чьих только образов они ни создавали и ни воссоздавали! Среди многочисленных портретов современников были и образы вымышленных и реальных собратьев по перу — советских писателей. Это были ищущие и находящие своё люди. Яркие и надолго запоминающиеся, но... не было в них завершенности. Поэтому оставалась какая-то недосказанность, несвойственная лучшим традициям славного социалистического реализма.

Искусство, а тем более советское искусство не терпит пустоты. Все ёмкости должны быть заполнены!

Начнем!

Я сравню советского писателя со священным жуком древнего Египта — скарабеем.

Скарабей ведь тоже всю жизнь свою копается в экскрементах, лепит из них шарики и закатывает плоды своего труда к себе в норку.

За этот неприятный труд он получает пропитание, а также поклонение простого народа, представители которого с удовольствием давили бы этих дрянных жучков, но нельзя — могут наказать жрецы.

А вот жрецы, когда народ не видит, спокойно давят скарабеев.

А чего с ними церемониться, говнюками?..

Я сравню советского писателя с легковым автомобилем.

Как они похожи!

Та же мощь. То же сердце — мотор. Только там бензин, а здесь кровь, к которой только поднеси спичку, и полыхнет голубым пламенем!

У автомобиля скорости, у советского писателя — темы.

Первая скорость — лирика. Слезы, слюни, сопли, птицы, дождь и поцелуй на рассвете.

Это хорошая скорость, с нее можно начинать, ею можно пользоваться всю жизнь, но далеко на ней не уедешь.

Вторая скорость — тема труда, трудовых подвигов, трудовых будней, людей труда, прелестей трудовой жизни, которой хорошо восхищаться со стороны.

Это уже приличная скорость, но можно ехать и быстрее, если пользоваться третьей скоростью — художественно обработанной суровой летописью Великой Отечественной, которая никогда и не кончилась, так как 9 мая 1945 года — это только перенесение боевых действий на страницы журналов и книг, экраны кинотеатров и телевизоров, на сцены и в магазинные очереди, где бывшие фронтовики опять идут в бой, только уже против своего народа.

Ну и как известно даже ребенку, автомобиль никогда не тронется с места без водителя, который знает, куда надо ехать и с какой скоростью.

Бак заправлен. Включили зажигание. Мотор работает. Куда прикажете?..

Я сравню советского писателя со сверчком.

Время песен сверчков — ночь.

Днем они молчат.

Но как они заливаются, когда наступает царство тьмы!

Пусть кого-то убивают, душат, насилуют, грабят, пусть крушат храмы, пусть отравляют все вокруг ядом лжи, они спокойно распевают свои унылые песенки.

Господи, хоть бы быстрее рассвело! Скорей бы день!

КАК ГОВОРИТЬ

Это произошло не сразу. Начало этого процесса я почувствовал давно. Меня плохо понимали окружающие, я плохо понимал их, на меня бросали странные взгляды, со мной не хотели общаться и налаживать деловые и прочие контакты, хотя я весьма интересный человек, общительный, в меру начитанный, много чего повидавший.

Отчуждение нарастало, оно уже угрожало полной изоляцией, когда я наконец понял, в чем дело: я не ругался. Моя речь была полностью лишена русских народных ругательств, в ней совершенно отсутствовал мат.

— Ты что, совсем не можешь? — спросил меня мой сослуживец, которому я открыл свое горе.

— Могу, — ответил я застенчиво.

— Ну давай! — сослуживец закурил и приготовился слушать.

Я произнес несколько обиходных выражений, которые слышал вокруг себя с самого детства.

— Скованно, очень скованно! — дал оценку старший товарищ. — Надо произносить все это свободнее, непринужденнее, как само собой разумеющееся.

— Не получается у меня ничего, — бормотал я. Мне было неудобно ругаться даже перед мужчиной, перед женщиной я вообще не смог бы выдать этот свой словарный неприкосновенный запас.

— Учись наедине, отрабатывай, — посоветовал мой учитель, но по всему было видно, что он сам не верит в успех этих занятий.

Я старался, я часами с хорошей артикуляцией выговаривал самые матерные ругательства, внутренне ужасаясь соб-

ственной грубости, но как только оказывался в компании себе подобных, будто проглатывал язык, когда дело доходило до крепких выражений.

Потом пришло прозрение.

Я открыл и стал применять свой собственный мат.

Жизнь стала прекрасной, женщины улыбались мне, мужчины первыми протягивали руки для крепких рукопожатий и предлагали закурить, предупредительно чиркая спичками.

— Ты без выгибона зажечь спичку не можешь? — нарочито усталым голосом спрашивал я сослуживца, зажигающего спичку одной рукой, держащей и коробку, и обреченную на сгорание спичку.

— Федераст у себя? — интересовался я у секретарши своего шефа Федора Ивановича Нардова.

— Хулио ты Родригес, — укоризненно поругивал я своего товарища по работе, забывшего включить чайник в начале рабочего дня.

— Я могу тебя назвать только пидоркой ушастой, — говорил я в телефонную трубку, возмущаясь несоблюдением сроков оперативной отчетности.

— Йог твою мать! — ору я в лифте, когда мне наступают на новые ботинки.

Я часто сижу и придумываю что-нибудь новенькое.

Вот что-то мелькнуло в сознании...

И тут телефонный звонок.

Нервно снимаю трубку.

— Да!

— Слушай, — я по голосу узнаю инструктора из сельского райкома, который я курирую, — сколько человек мы должны послать на партконференцию из работяг?

— Как можно меньше, пизанец ты этакий, как можно меньше! И в следующий раз по таким вопросам иди в свои родные Пизы, чтобы тебя там как следует отпизили твои милые пизанцы!

Я бросаю трубку на рычаги.

Да нет, я спокоен.

Дела мои идут в гору. Скоро, по всей видимости, буду заведовать отделом.

УЧИТЕЛЬ

— Хочешь научиться летать? — спросил меня толстяк небольшого роста.

— На чем? — задал я естественный в подобной ситуации вопрос.

— Сам будешь летать.

— На дельтаплане?

— Нет, сам взлетишь и будешь летать, куда хочешь. Только решай быстрее, у меня времени нет тебя уговаривать.

Вообще-то я боюсь высоты, но перспектива слетать в далекие страны, где другим, более цивилизным способом вряд ли когда удастся побывать, меня устраивала. А этот волнующий перелет через границу, где от поста к посту несетя “слушай“, где собачьи и человеческие глаза цепко впились в узкую полоску земли, отделяющую друг от друга два непохожих мира, этот перелет стоил труда и риска научиться летать. И еще, не надо будет никаких заявлений, никакого унижения, обмана, проверок и допросов. Захотел и улетел, и никого не будет интересоваться содержанием моих карманов. Хотя у меня там ничего, кроме мелочи и носовых платков, не водится, мне и это показывать совершенно незнакомым людям не хочется.

— Я согласен, — твердо произнес я, — а сколько это будет стоить?

— Когда научишься, тогда и поговорим, — бесстрастно произнес толстяк, внимательно ошупывая меня своими маленькими глазками, будто взвешивая мое тело и шансы на удачу в обучении.

— Когда приходить на занятия? — решил я прервать затянувшееся молчание.

— Сейчас и начнем. Пошли.

Он повел меня через город. Путь был далек. Когда мы миновали городскую окраину с ее жалкими домиками, впереди был карьер. Не доходя трех шагов до обрыва, толстяк остановился.

— Вниз не смотри, — предупредил он, — руки сложи перед собой и расслабься... — он еще раз испытующе осмотрел меня. — Иди! — прозвучал приказ.

Я сделал шаг, другой, неожиданно наступил на что-то острое, не удержался и бросил взгляд на ноги. Там был обломок ящика с торчащим вверх гвоздем, но я заметил и нечто другое. Я всмотрелся...

Внизу под обрывом валялись неподвижные человеческие тела. Так вот что за уроки дает эта толстая скотина! Я рывком обернулся. Толстяк стоял за моей спиной, и мы оказались лицом к лицу. Он с улыбкой толкнул меня в грудь.

— Лети, — напутствовал меня этот убийца.

Взбросив руки, я полетел, но не вниз, как ожидал сам, а вверх. Ощущение свободы, которое я представил себе при обдумывании предложения толстяка, вдруг вспыхнуло во мне, поднимало в небо, которое было передо мной.

Я с трудом повернулся лицом к земле. Далеко внизу, задрав голову, стоял толстяк...

Я немного снизился, сделал вираж над ним. Я рассматривал его. Я видел его плешивую голову, родимое пятно на ней. Я видел его растерянные глаза. Мне ничего не стоило подлететь и пнуть его ногой в морду. Но я сдержался.

— Прощай! — крикнул я, потому что не мог в этот момент говорить спокойно.

Он явно облегченно улыбнулся.

Я уже хотел улететь, но любопытство пересилило, тем более что торопиться с отлетом было некуда.

— Будешь продолжать свои “уроки”? — крикнул я, показав в сторону разбившихся людей.

Видя мои миролюбивые намерения, толстяк нахально улыбнулся.

— Надо же как-то зарабатывать на хлеб!

Этого стерпеть я не мог. Зайдя в очередной вираж, я набрал приличную высоту и спикировал на толстяка...

Теперь я учу-летать. По-настоящему. Хотите научиться?

ПЕРЕЛОМ

Серафима Павловна работала кликушей, то есть официально ее должность имела совершенно другое наименование,

но то, чем она занималась, можно было назвать только так — кликуша.

Два дня в году она выкладывалась, остальное время набиралась сил.

Эти несколько часов работы брали всю энергию, нужную сталевару для того, чтобы круглый год варить сталь, шахтеру — рыться в земных недрах в поисках угля, который должен выдаваться не иначе, как на-гора.

К первому празднику Серафима Павловна готовилась еще с марта: старалась меньше курить на шумных обкомовских застольях, меньше надрываться в коллективном пении, когда все неожиданно затягивали:

...Забота у нас простая,
Забота наша такая:
Жила бы страна родная -
И нету других забот...

После таких песен все обычно закатывались жизнерадостным хохотом, посылая воздушные поцелуи многозвездочному бровастому портрету.

В питье Серафима Павловна себя не ограничивала, по опыту знала, что водка укрепляет голосовые связки, голос делается гуще, зычнее.

А потом приходил сам праздник. Накануне, притащив в свою квартиру праздничный паек, она начинала полоскать горло. В это время обычно заявлялся Игорек, непутевый сынок, горе матери, гомосексуалист и наркоман, которого она с большим трудом (не хотелось ему, видите ли, работать) устроила на работу в областную прокуратуру. Но вроде ничего, пристрогался, работа ему понравилась. Областной прокурор Славик как-то даже похвалил:

— Хорошего ты сына вырастила, Сима!

И не было в его голосе лжи, не было. Славик, когда врет, в глаза смотрит, а тут он отвел свои серые с поволокой глаза, один из которых лет десять назад закрыло бельмо. Тогда все посылали его к Федорову, а он отшучивался, ссылаясь на занятость. А когда областной прокурор не занят? Смех, да и только.

Игорек роется в отцовском столе, а она полощет горло. Он что-то ищет, а она нервно выплевывает отвар ромашки.

— Что ты ищешь, Игорь?!

— Книжку, дал отцу еще полмесяца назад... Я ее сам взял почитать на два дня...

— Что за книжка? — Серафима Павловна удивилась. Что-то она не слышала, чтобы ее муж, рохля, недотепа, которого она с трудом вытащила в руководители районного масштаба, читал книги.

— Свядош, “Сексопатология“, — сын продолжал копаться в столе.

Она опять набирает в рот отвар. Лучше “Сексопатология“, чем ничего. Надо тоже взять почитать. Только бы не забыть...

В прихожей кто-то топчется.

— Мама?

Это дочурка Леночка. Проститутка — не проститутка, а сейчас кто этим не занимается? Серафима Павловна одно время часто спорила с Леной, а потом разрешила приводить кавалеров домой, так спокойнее ее материнскому сердцу. Ведь любит она Леночку больше всего на свете, может, потому, что последнего ребенка любят больше, а может, что-то общее в их судьбе... Ведь и Серафима Павловна когда-то начинала с райкома ВЛКСМ.

Веселое было время! Как-то на комсомольскую стройку поехали. Газик прыгает по ухабам, вокруг просторы неосвоенные и вдруг палаточный городок за колючей проволокой. Мат-перемат! Кругом морды уголовные, а они промчались мимо с веселой комсомольской песней:

...Пусть несется весть -
 Будут степи цвести!
 Партия велела
 Комсомол ответил: “Есть!”

И страшно не было, тем более что у Славика, тогда еще инструктора обкома ВЛКСМ, был пистолет, который ему всегда выдавали в такие командировки.

Она опять выплевывает отвар.

— Леночка, если можно, потише, — ласково говорит Серафима Павловна. Не может она быть строгой со своей дочуркой, не может.

И вот сам Праздник. Она на трибуне, по бокам первые люди области, вокруг кипение цветов бумажных, кумачовых флагов и транспарантов, а в центре — на вершине этого праздника — она, ее голос.

— А вот шагают наши бумажники. Новыми трудовыми успехами встретил коллектив целлюлозно-картонного комбината праздник весны и труда! Слава советским бумажникам! Ура-а-а-а!

И машет она знакомому лицу в густой толпе, и ей машут совершенно незнакомые люди, подпрыгивают и машут. А как же не прыгать, ведь придут рано или поздно, придут. Кому квартиру надо, кому детишек в институт пристроить, кому трудоустроиться надо по-человечески. Вот и прыгают.

— Слава советской молодежи, верной традициям партии и великого Октября! Ура-а-а-а! — это она вспомнила о своих.

А внизу идут работники бондарного завода. Не любит их Серафима Павловна. Не кричать же ей: “А вот шагают славные советские бондари!!” Нет уж, дудки!

— Слава людям труда! — кричит она в микрофон. — Ура!

— А вот шагают труженики пищевой промышленности! Годовое задание первого квартала они выполнили, — Серафима Павловна бросила быстрый взгляд на отпечатанную шпаргалку, — на 105 процентов. Ура-а-а-а!

И так почти два часа.

А потом, через полгода, еще два часа. Но осенью сложнее. Праздник. ответственный. Звук хуже идет. Но зато слова крепче.

— Трудом крепят завоевания великого Октября труженики рыбоконсервного объединения. Ура-а-а-а, товарищи!

И опять советские бумажники идут, а за ними бондари.

— Труженики легкой промышленности, тверже

шаг социалистического соревнования! Ура-а-а-а! — это значит, что хвалиться этой отрасли нечем. Сплошной пролет.

И вот опять на носу Первомай.

Несожиданно вызывает Первый.

— Садись, Сима, — спокойно говорит он. Первый всегда должен быть спокойным. Сколько она этих Первых ни видела, всегда они спокойные.

— Сима, ты вот что, ты не ходи сегодня на демо... — тут Первый оборвал сам себя, поймав на ошибке, — на шествие ты сегодня не ходи...

— Под сокращение попала? — тоже спокойно, но с едва заметной горечью спросила Серафима Павловна.

— Что ты, что ты, Бог с тобой, работай, — принялся успокаивать ее Первый, — просто переждать надо, время такое... может, на Октябрь... может, на тот год... Уляжется все... Дело не в тебе, поверь... Ты там сорваться можешь...

— Спасибо, — она была благодарна Первому, поверила в его спокойные слова.

А вечером было застолье. Собрались свои. Сначала все были немного скованны, потом разошлись, почувствовался прежний задор, но только почувствовался... Не было того, прежнего!

— Сима, — Первый встал с наполненным бокалом, — а ну-ка, дай по-нашему!

Она сразу поняла, что от нее требуется.

Вскочила, и хотя не полоскала горло ромашковым отваром, много курила в последнее время, голос зазвенел, ему было тесно даже в просторном помещении обкомовской столовой.

— Работники партийного аппарата, вам ли привыкать к трудностям! Верные ленинцы, идущие от победы к победе, выше знамя революционных преобразований! Сплотим ряды, тверже шаг! Вперед к победе коммунизма! Ура-а-а-а!

Задражали стекла в окнах, забранных снаружи решетками, а изнутри непроницаемыми занавесками, запел, срезонировав, хрусталь люстр...

Все вскочили со своих мест.

— За тебя, Сима! — поднялись бокалы в окрепших руках.

РАССКАЗ

Иван Иванович Фунтиков любил этот день, когда шаркающей походкой заходил в школу, спрашивал, где кабинет директора, и шел к этому кабинету, внимательно рассматривая наглядную агитацию, придирчиво вглядываясь в лица членов текущего политбюро, скорбно качал головой, видя свежесорванные портреты выбывших членов, и одобрительно кивал свеженаклеенным лицам избранников партийного счастья. Шел Иван Иванович очень медленно, так что заметить он успевал все, все недостатки, все недочеты. Вот только беда, пока доходил он до кабинета директора, забывал все оплошности, допущенные школьным руководством.

Войдя в кабинет, Иван Иванович долго шаркал ногами, пытаясь скрыть то, что совершенно не помнил фамилии и имени-отчества директрисы. Иногда и цель прихода в школу также совершенно испарялась из его сознания, забираясь в глубины подсознания, где спокойно ждала предстоящей встречи с вечностью. Так он и шаркал ногами под исполненным восторга взглядом директрисы.

— Иван Иванович, годы бессильны перед вами! Сколько же вам лет? Да вы, наверно, еще и на пенсию не вышли?

Тут происходила заминка, так как Иван Иванович действительно забывал свой истинный возраст, но и утверждать, что ему еще нет шестидесяти лет, он тоже не имел смелости. К обоюдному восторгу выяснялось, что лет Иван Ивановичу восемьдесят пять, на следующий год будет восемьдесят шесть, а еще через четыре года — все девяносто...

— Ну пойдемте, Иван Иванович, а то ребята заждались своего дедушку Ваню, с нетерпением ждут ваших рассказов о войне, о тревожной вашей юности. Они ведь потом весь учебный год ходят под впечатлением ваших рассказов...

— Да, — говорил ветеран, подымаясь с нагретого стула, и, стараясь меньше шаркать, двигался за директрисой, выгнув впалую грудь, украшенную множеством юбилейных медалей и орденом "Отечественной войны", — да, мне есть что рассказать подрастающему поколению! Куда там этим детективам и фантастике!

Директриса всегда предлагала на выбор первые или деся-

тые классы. У тех и других впереди дорога, остальные уже в пути, а у этих все впереди... Иван Иванович выбирал всегда первый класс.

-- У них вся жизнь впереди, — повторял он за директрисой, немного подшамкивая. Не любил он десятиклассников с их громадными парнями, которым он с трудом доставал до плеча, да и девушек-десятиклассниц тоже недолюбливал за их смелые и немного насмешливые взгляды. С первоклассниками он чувствовал себя лучше. Их легче было поучать, наставлять, потрепать по лопухой, стриженной головке...

Они входили в класс, и классный руководитель истерично кричала:

— Встать!

Иван Иванович отечески улыбался и успокаивал всех:

— Ничего, ничего, я ведь не генерал какой, чтобы передо мной навтытяжку. Хотя, — он хитро улыбался, — хотя и не рядовой...

Иван Иванович был не рядовым, он был младшим сержантом запаса. Хотя этот "запас" вряд ли можно было использовать по прямому назначению, ему нравилось это слово. "Запас никогда лишним не бывает", — говорил он сам себе, натирая юбилейные медали. Он с завистью думал о наградах боевых. Вот ведь и орден "Отечественной войны", который ему вручили недавно, говорят, не из настоящего серебра. "Все равно, орден — есть орден!" — думал он, натирая пусудной пастой быстро темнеющий орден.

После вручения первых подарков (остальные оставляли на потом) Иван Иванович достал из кармана какой-то небольшой листок и начал рассказ.

— Расскажу-ка я вам, ребята, об одном случае из своей военной жизни. Таких случаев была тьма-тьмущая со мной, всего и не упомнишь разом. Я вот расскажу об этом, — он кивнул на листок, сжатый в трясущихся руках, покрытых коричневыми старческими пятнами.

— Дымилась роща, — задумчиво начал Иван Иванович, — роща эта была не шибко густая. Какие там деревья в этой роще были, я и не упомню, но вот помню, что располагалась эта роща под горою. Она, эта роща, на картах была и

у фашистов, и у наших командиров. Была она и на моей карте, лежащей в моей командирской планшете, — Иван Иванович похлопал себя по левой ляжке, где и должна была, по его мнению, располагаться планшета, — и вот представьте, — голос Ивана Ивановича твердел по ходу рассказа, — эта роща горела, — он бросил взгляд в листок, — а вместе с ней горел закат. Страшно было, а жить хотелось, но оставалось нас только трое: Сашка Сидоров, Ревкат Нурмухамедов и я. Нас осталось трое, — Иван Иванович вытер глаза, которые и в спокойной обстановке не переставали слезиться, бросил взгляд в листок и продолжил: — Я спрашиваю вас, мои юные друзья, сколько их, друзей хороших, лежать осталось в темноте у того незнакомого поселка? Сколько? — Ивану Ивановичу показалось, что кто-то назвал цифру.

Но кто мог назвать эту цифру, когда первоклассники с грехом пополам оперировали с единицами, не посягая пока на десятки.

Молчание нарушила директриса.

— Пятнадцать, — сквозь нежданные слезы подсказала она.

— Пятнадцать молодых ребят! — ужаснулся такой цифре Иван Иванович, — пятнадцать молодых жизней, и за что? За безмянную высоту. Но ее надо было взять и продержаться на ней двое суток. Таков был приказ командования. Я вижу эту картину, будто все это происходило только вчера, — ветеран Великой Отечественной войны немного помолчал, собираясь с мыслями. — Светилась, падая, ракета, она падала медленно. Это была ракета на парашютике, но, несмотря на медленное свое падение, напоминала она догоревшую звезду. Я смотрел на эту ракету и загадал желание: если останусь живым, то каждый год буду ходить в ближайшую школу и рассказывать ребятам о войне, чтобы они не забывали о ней, проклятой, чтобы они понимали, что их жизнь лучше этой войны, чтобы они ценили свою мирную жизнь. Вы вот представьте, вы вот сейчас сидите спокойно, в чистоте, в светлоте, а над нами троими кружили “мессеры“, стараясь уничтожить нас, последних защитников высоты. А почему, вы спросите, кружили над нами эти фашистские са-

молеты, несущие смерть? Да к нам не то что пехота, к нам уже и танки боялись близко подходить. Однажды один подъехал. Ну, гранаты, естественно, кончились еще в первый день обороны. Тогда Ревкат Нурмухамедов схватил какой-то булыжник да как хрястнет по лобовой броне этого танка! Танк аж на месте закрутился и ушел восвояси! Вы как-нибудь попробуйте, — Иван Иванович лукаво улыбнулся, — вы как-нибудь попробуйте надеть ведро себе на голову, а друга своего попросите по этому ведру палкой или кирпичом ударить, тогда узнаете, каково было фашистам в их танке!

Иван Иванович размахался, показывая, как надо бить по ведру, надетому на голову, и листок, который он положил на стол, слетел и спланировал куда-то под парты. Все были так поглощены рассказом, что и не заметили этого.

— Так вот, кружили над нами “мессеры”... — Иван Иванович стал искать листок, полез в карман пиджака, потом, проверив внутренние карманы, полез в брюки. Листок пропал. — Кружили они кружили, но ничего сделать не смогли они с нами, и мы все трое дошли все-таки до фашистского Берлина и сделали исторические надписи на стенах его, — без листка Иван Иванович не мог продолжать рассказа и поэтому решил закругляться. — Вы, ребята, должны хорошо учиться, слушаться старших и пропускать нас, ветеранов, в очереди вперед себя. Вы всегда успеете взять, достать, ваше дело молодое! С праздником вас Победы!

Тут ветерану преподнесли вторую порцию подарков, завязали на шее галстук, который он потом использовал с большим успехом в роли носового платка, и всем классом пошли провожать к выходу из школы.

В классе осталось только двое дежурных, которым предстояло убрать класс. Они и нашли слетевший со стола листок. Глеб, который поднял листок, прочитал:

...Мне часто снятся те ребята —
 Друзья моих военных дней,
 Землянка наша в три наката,
 Сосна сгоревшая над ней.
 Как будто вновь я вместе с ними
 Стою на огненной черте —

У незнакомого поселка,
На безымянной высоте.

А Вася восторженно хлюпнул носом:
— Про дедушку Ваню даже стихи написали...

СЧАСТЬЕ

— Ау! — кричу я, измучавшись поисками.

Дело в том, что я оказался в одиночестве в своем родном городе.

Проснулся однажды, а вокруг никого.

Вышел из своего деревянного домика, а улица пуста.

Нет, тогда я еще не удивился и не испугался — родные могли уйти по своим делам, а улица бывала и раньше пустой. Но когда я прошел с добрый десяток улиц и не встретил никого, кроме беззаботных собак и озабоченных котов, мне стало страшно.

Я заходил в магазины — там не было ни продавцов, ни покупателей, ни грузчиков. Тишина царила в этих храмах купли-продажи.

Мне захотелось есть, но я ничего не тронул с витрин и полок. У меня дома еще были кое-какие запасы продуктов питания.

Я шел домой, а мозг сжигали пытливые мысли.

Что происходит?

Какая неведомая катастрофа пронеслась над миром?

А может быть, это зловещее НАТО все-таки сбросило на мою несчастную Родину нейтронную бомбу, которой столько пугали нас наши защитники и воспитатели?

Но если это так, где трупы моих сограждан, и почему не погибли кошки и собаки, вороны и воробьи, комары и мухи? Почему даже не облупились красочные призывы и лозунги, украшающие мой город?

Дома я подкрепился и снова вышел на поиски человеческих существ.

После недельного труда в моем городе не осталось ни од-

ного учреждения, куда бы я не заглянул. Я посмел открыть даже входные двери управлений КГБ и МВД, но и там была пустота. На столах пылились ненужные секретные документы, молчали телефоны и рации, пустовали камеры, в которые некому некого было сажать.

Но вот что меня удивило: несмотря на бездействие всевозможных комитетов, день сменялся ночью, лил дождь и светило солнце, когда тучи уходили в свое странствие.

А у меня кончились продукты.

Деньги были, но кому я оставляю их в совершенно пустом магазине? И кому они нужны будут, если я их оставляю? И зачем мне вообще платить, если я стал единственным представителем народа, которому принадлежит все на земле, под землей и над землей?

Я зашел в ближайший гастроном, положил в сумку кулек с рисом, бутылку растительного масла, банку кабачковой икры и трехлитровую банку виноградного сока.

Я миновал кассовый аппарат, за которым никого не было; я уже приближался к выходу, когда пронзительный вопль заставил меня вздрогнуть.

— Держите его! Он не платил!

Неожиданно появились люди, они умело стали выворачивать мои руки. С плеча моего сорвалась сумка и грохнулась на пол.

— Милиция! — завизжал чей-то густо накрашенный рот.

А я улыбался. Кончилось мое одиночество.

Вокруг были люди!

НАШ МАГАЗИН

Магазин наш не хуже других. Обычный магазин с директором и двумя его заместителями. Есть гастроном, бакалея, кафетерий, промтоварный и хлебный отделы, вино-водочный есть, ну и, конечно, ветеранский. Этот обязательно. Этот в первую очередь. Тут всегда кипение страстей. С утра до вечера идет выяснение, кто кого ветерани-

стей. Или вот однажды поднялся вопрос, что бывшие офицеры должны идти по очереди всегда впереди бывшего рядового и сержантского состава. Потом эту идею усовершенствовали.

Представьте (мне это представлять не надо, я это видел): стоит ветеранская очередь. Заходит седенький старикашка в пальто нараспашку, чтобы виден был его единственный новенький орден “Отечественной войны”, привинченный к пиджаку. Старикашка бодро притоптывает и, собравшись с разбежавшимися в разные стороны мыслями, произносит:

— Гвардии лейтенант Выходоизокруженский!

В очереди раздается всеобщий издевательский смех.

— Вставай в хвост, литер! Здеся ниже майора не стоят!

Лейтенант-гвардеец, заведующий в суровое военное время вещевым довольствием, поникнув боевой головой, встает на свое законное место.

А у черного входа в наш магазин в это время идет разгрузка.

Грузчики, покачиваясь от усталости и одеколona, который им удалось урвать в промтоварном отделе за свою цену, а сделать это было очень трудно — ведь в обычных условиях алкашам этот одеколон выдается за полновесный трешник, грузчики, покачиваясь и тихо переругиваясь, разгружают очередную машину, по ходу пытаюсь выудить из ящиков какие-то пачки и во время движения спрятать их от зорких глаз продавца, в ведении которого и должны находиться эти пачки после разгрузки. Все происходит молча, без устных замечаний и упреков. Просто когда продавец видит очередную попытку похищения, она приближается к “экспроприатору”, но в это время другой грузчик, борющийся за свои экономические права, уже сует очередную пачку в грудку пустых ящиков, которых видимо-невидимо в коридорах магазина. Продавец бросается к нему, но он уже “чист”, руки его заняты только тачкой, под халатом у него только два флакона с “тройником”, который он будет пить после разгрузки, а это уже продавца не касается, это не ее дело. Продавщица поворачивается к третьему мастеру по переноске грузов, который только начинает вытаскивать пачку из коробки.

— А чего это такое? — спрашивает он, чтобы как-то объяснить свои действия.

— Детское питание, — спокойно отвечает работник прилавка, запихивая пачку назад в коробку...

А в кафетерии идет важный технологический процесс — разбавление соков.

— Четыреста граммов воды на одну банку томатного сока, — наставляет старший продавец ученицу.

Ученица пытается влить эти четыреста граммов в полную трехлитровую банку.

— Отлей, депутатка, — поучает ее старший товарищ.

Тут же рядом двое других продавцов вместе с уборщицей стремительно срывают с вафельных стаканчиков шокирующие их бумажки с “несчастливой” ценой. По их мнению, это мороженое стоит пятнадцать, а никак не тринадцать копеек. Качество растет на глазах...

В бакалейном отделе бывшая выпускница физмата аккуратно заворачивает в мягкую туалетную бумагу маленькую магнитную “таблеточку”. Этой “магнитной мине” суждено множество раз лепиться к чаше весов, на которых измеряется масса сахарного песка по заветным предварительным заказам. По своему интимному индивидуальному плану продавец должна к концу рабочего дня “сэкономить” один пятидесятикилограммовый мешок, а его в свою очередь задвинуть знакомому самогонщику за восемьдесят рублей...

Гастроном кипит.

Выкинули дрожжи.

— По одной пачке, только по пачке! — нарочито громко и строго прокричала заведующая отделом, оставив у груды ящиков с исходным материалом для бражки “добрую” Валю, которая в виде исключения может продать дрожжи и в гораздо большем количестве за вполне умеренную плату...

Магазин дышит своими многочисленными дверями, вдыхая в себя что-то ищущих покупателей и выдыхая их, продолжающих что-то искать.

Что вы ищете, несчастные?

Уж не правды ли, не справедливости ли?

Ищите, может, когда и найдете, но лучше идите в наш магазин, у нас обмана меньше.

СТРАННЫЕ СНЫ

Приснился мне сон.

Вижу я город, стены которого облепили враги. Защитников мало. Среди них не только мужчины, но и женщины, и дети. Они яростно сбрасывают наступающих со стен, обливают их кипятком, бросают им на головы камни и бревна. А враги с визгом лезут и лезут, долбят стену таранами, обстреливают из катапульт горящими снарядами.

— Это Козельск! — слышу я чей-то голос, и вдруг рукам моим стало тяжело. Смотрю — а в них пулемет ручной.

Я зажимаю приклад под мышкой, дуло направляю в сторону стен, облепленных нападающими, и нажимаю на гашетку. Как горох, посыпался неприятель со стен, а я стрелял и стрелял, и патроны в диске не кончались до утра.

А утром на работе я рассказал о своем сне.

Еще через два часа я сидел перед следователем, который предъявлял мне обвинения в разжигании национальной вражды, незаконном ношении оружия, в преднамеренном убийстве и еще во многом таком, что я и во сне не видел.

— Сознаетесь? — спросил следователь.

Я кивнул головой и вдруг понял, что действительно сны гораздо реальнее моего бодрствования. В них я только и жил.

Заснул я в камере предварительного заключения.

Приснился мне лес густой, а из леса того вышел старичок с клюшечкой.

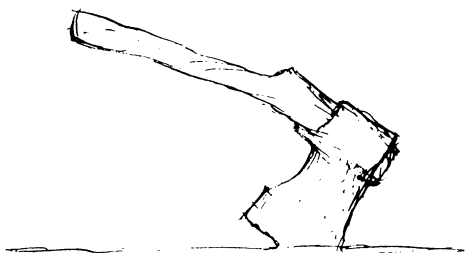
— Пойдем со мной? — предложил он.

— Пошли, — согласился я...

Утром в отделе внутренних дел началась суматоха. Из камеры предварительного заключения пропал подследственный.

Но об этом мне рассказал старичок. Я-то сам никогда больше снов не видел.







Представляем книгу Александра ГАРИНА "Вторая реальность", вышедшую в издательстве "Carte Blanche". В ближайших номерах альманаха "Конец века" мы опубликуем новые рассказы автора.

Книга оформлена Евгением ГАБРИЕЛЕВЫМ, выпускником ВГИКа. Родился в 1957 году. Член международной ассоциации фотохудожников. Занимается фотодизайном в книге, промышленной графикой. Альманах "Конец века" готов помочь книгоиздателям наладить с ним деловые контакты. Наши реквизиты в начале номера.

Л Е О Н И Д М Л Е Ч И Н



С Е Т Ь

МОСКВА
ОГПУ
PARIS

Книга распространяется по подписке.
Наши реквизиты Вы найдете на страницах
альманаха "КОНЕЦ ВЕКА"!



ШИФРИН ТЕАТР

Ежемесячно в Центральном доме культуры
железнодорожников (Комсомольская площадь, 4)

тел. для справок 262 - 76 - 56

АРМАГЕДДОН

*Армагеддон в каждом из нас
(Манул)*

Я прихожу в храм первым. Стучу в ворота, и мне открывает сторож Иван Иванович.

— Скоро, скоро, — говорит он, — скоро все это кончится...

Иван Иванович исповедует эсхатологические взгляды. Раньше годом последним он называл 1980, но когда этот год, подаривший всему прогрессивному миру московскую Олимпиаду, миновал, он стал называть 1983 год, когда должен случиться парад планет.

— Это будет последний год, — который раз объясняет он мне, открывая тяжелые двери храма. Потом мы стоим и молимся, ничего не видя перед собой, сжимая в левых руках свои шапки, а правыми — творя крестные знамена.

— Боже, очисти мя грешнаго... — шепчу я, и вдруг вспыхивает яркий свет — это сторож нащупал в темноте выключатель.

Он остался около входа, а я иду в алтарь. Открыв дверь-икону, я захожу в царящий там мрак. Не зажигая света, я делаю три земных поклона, нашариваю спички, лежащие на печке, зажигаю свечку, затем лампы семисвечника у престола, кладу в печку дрова, под дрова подсовываю разжигу, которой у меня запасено на весь год. Это березовая кора, высушенная узкими полосками. Закрыв заслонку, я беру два ведра и иду за водой. Два ведра надо только в умывальник, а потом еще три ведра на водосвятие и еще ведро для водосвятной чаши, и на чай трудящимся, и молящимся в алтаре.

Я зажигаю лампадку на жертвеннике, выхожу из алтаря и зажигаю лампадки на амвоне. В это время на амвон тяжело поднимается Мария Федоровна — псаломщица. Она здорова и занимает свое место на клиросе.

В храм входят священник и диакон.

Я подаю отцу Петру епитрахиль, он надевает ее, и они с диаконом молятся у царских врат. Со стороны слышится только бормотание, и видно, как два священнослужителя

теля творят крестные знамена и делают неглубокие поклоны.

Они заходят в алтарь, продолжают молиться, потом облачаются.

Наступает время облачиться и мне. Я беру заранее сложенное облачение и с ним подхожу к священнику.

— Благослови, владыко, стихарь со арарем!

Он благословляет.

Начинается день. Начинается служба. Только кому?

Открываются и закрываются накрашенные рты певиц, выбрасывающих из себя вместе с воздухом пронзительные звуки, пылают стройные столбики чадающих свечей, дымит смрадом кадило, звенят и шелестят деньги...

А я тихо подкладываю сухие дрова в печь и еще тише молюсь:

— Боже мой!

И еще яростнее вырываются звуки из распахнутых ртов, еще гуще валит кадильный дым, стройные с виду свечи полыхают, как факелы, священник и диакон делают страшные гримасы, когда певицы затягивают лживое:

— Иже херувимы...

Служба кончается, я убираюсь в алтаре и последним выхожу из храма. Я возвращаюсь домой, обедаю и сажусь читать Библию.

Перед этим я всегда мою руки. Это не сакральное действие, просто Библию нельзя трогать грязными руками. Это вечная книга. Представьте: целую вечность ее хватают грязными руками.

Сажусь и читаю. Читаю и чувствую чей-то взгляд. Читаю и чувствую чье-то присутствие за спиной. Оглянешься, а там ничего, кроме книжного шкафа и матрасов на полу. Я ведь сплю на полу. Не смиряюсь, наоборот, прямым быть хочу, не хочу горбиться, не хочу смотреть в землю, хотя и в глаза смотреть не люблю, я смотрю выше. А вот тому, кто прячется у меня за спиной, я смотрел в глаза. Ничего страшного я там не увидел. Там был я, каким хотел увидеть меня он.

Обернувшись на покашливание, раздавшееся в комнате, где я был один, осмотрел своего неожиданного гостя.

— Да так, зашел...

Правду говорить он не хочет и не может. Такой у них обычай.

— Может, в шахматишки сыграем? — предложил он.

— Наоборот?

— А как же еще? — даже удивился он.

Я расставил матовую позицию. На доске всего четыре фигуры. Ходят черные.

— Мата нет! — делает первый ход мой противник.

Я вывожу короля из скверной позиции, в которую он попал. Потом на доске появляются воскресшие фигуры. И вот уже перед каждым из нас две ровные колонны фигур, нарушаемые только в пешечной шеренге белых.

— с4 — с2! — торжественно объявляю я.

— Партия! — еще более торжественно заключает мой противник. Он прошелся блудливым взглядом по моему лицу.

— В прошлое не тянет?

— Нет, — отрезаю я, — хватит, напутешествовался, все это молодость и присущая ей глупость.

— А в будущее? — глумится он.

— Нет! — я непреклонен.

Это все его штучки. Однажды, лет тридцать назад он заманил меня в будущее, которое будет через тридцать лет.

Чего там, то есть здесь, только не было! Полнейшее изобилие. Все население рыгает от постоянного переедания, все живут в отдельных дворцах. Морды у всех лоснятся, везде радостные плакаты, с которых смотрят такие же лоснящиеся морды. Все друг к другу обращаются исключительно в высокопарном стиле.

— Слава тебе, Слава! — говорит Вася, повстречав своего сослуживца Вячеслава.

— Привет передовику производства и победителю всех соревнований Василию! — отвечает Вячеслав.

— Куда шагаешь, ты, чье имя вписано золотыми буквами на Доске почета?

— Я шагаю навстречу новым трудовым свершениям!

— Нам по пути! — говорит Василий.

И они идут рядом, а все вокруг показывают на них пальцами и гордо кивают головами.

Я тогда понял, что все это бред. И потом оказался прав. А ему хоть бы что. “Работать, — говорит, — надо было лучше, тогда бы все это было!”

С прошлым еще несуразнее получилось. Попросил я его запустить меня в штурм Зимнего. Бегу среди штурмующих, как последний идиот, потею, и вдруг один из “питерских рабочих” говорит другому “питерскому рабочему”, что их забодали этим штурмом. Тогда я внимательно осмотрелся и увидел и съемочную группу, и ротозеев, и дешевый грим “штурмовиков”. Оказывается, это были съемки фильма “Ленин в Октябре”.

— Я всегда тебе желал только хорошего! — обиженно произнес он.

Скучный он, занудливый. Он искушать-то толком не умеет. Предлагал мне, например, на выбор карьеру на партийном, советском или церковном поприще.

Или вот, когда заговорили однажды о деньгах, он протянул мне целую охапку лотерейных билетов, утверждая, что все они выигрышные.

У него даже денег своих нет. Дает только краденое.

Вообще я не понимаю, на что он надеется.

Как такой гад может победить?

ПОДПОЛЬЕ

Пионерская организация имени В.И.Ленина распущена.

С пионеров сдернуты их красные галстуки и сданы в утиль-сырье.

Десятки тысяч пионервожатых остались без средств к существованию, потому что, кроме отдания пионерской чести, делать они толком уже ничего не могли.

В младших классах расцветают ядовитыми цветами разврат, пьянство, наркомания, молебны сменяются панихидами, уроки начинаются и кончаются молитвами, которые все больше и больше развращают и так достаточно развращенных детей.

Вот и сейчас в 3 “б” влетает мать-игуменья одного из городских монастырей.

Под ее обтягивающей тело рясой явно ничего нет.

Эта ряса все время распахивается, подтверждая, что под ней действительно ничего нет, кроме сытого похотливого тела.

— Дети! — развязно обращается игуменья к классу, — сегодня мы будем продолжать разбирать вторую молитву Симеона Метафраста ко святому причащению с разбором грехов, от которых она предостерегает. Кто из вас помнит, что это за грехи?

Нинка и Зойка с первой парты — отличницы и выскочки, как всегда, первыми вскинули руки.

— Раствление, истициание, малакия, деторастление, — доложила одна из отличниц.

— Нина забыла еще о скоктании, то есть скотоложстве, — добавила другая.

— Дряни! — яростно прошептал Вовка Мочалкин, незаметно сплюнув под парту. В этот момент он почувствовал робкое, но довольно сильное пожатие.

Это было проявление чувств его соседки по парте Лены Тряпкиной.

— Ты прав, — шепчет она, — я это поняла, когда меня зверски изнасиловал весь мужской состав преподавателей школы!

— Как они посмели? — заинтересовался Вовка.

— Сначала меня соблазнил Игорь Ерофеевич, преподаватель культуры общения, — начала объяснять Лена, — ты ведь знаешь, как он это умеет...

— Я это знаю, — вздохнув и заерзав, прошептал Вова.

— А потом на меня, доведенную до экстаза ласками Игоря, набросились эти животные! Они делали со мной, что хотели! — Лена опять вздохнула. — А Игорь Ерофеевич даже не извинился после этого ужасного случая!

— Надо бороться! — предложил Вовка.

— Надо возрождать нашу пионерскую организацию! — сделала встречное предложение Лена, прижимаясь развивающимися молочными железами к исписанной грязными ругательствами парте.

К Вовке и Лене на следующий день примкнули их одноклассницы — фригидные сестры Оля и Женя Лойфман.

Потом движение перекинулось на другие школы.

Подпольная организация после первого организационного съезда приступила к работе.

Пионерские линейки на загородных пустырях сменялись ночными тайными сборами макулатуры и металлолома, возрождалось тимуровское движение с его рыцарским уставом...

Члены тайной организации узнавали друг друга на улицах по пытливым взглядам горящих бессмертной идеей глаз.

— Будь готов! — раздавался яростный шепот.

— Всегда готов! — слышался грозный отзыв...

— Мочалкин! Мочалкин! — услышал очнувшийся от дремотного состояния Вовка голос своей классной руководительницы. — Встань и скажи, чем занимались на чердаке Сережа Тюленин и Уля Громова?

— Крутили бутылочку, — ответил невпопад размечтавшийся Вовка.

ПРОКЛЯТИЕ

А если кто не примет вас...

Истинно говорю: отрадней

*будет земле Содомской и Гоморрской
в день суда, нежели городу тому...*

(Мф. 10; 14-15)

Парились мы с братаном, как всегда, мощно.

Поддал он кваском так, что аж дверь открылась.

— Ты чего дверь на засов не закрыл! — орет он, а сам уже настегивает меня веничком.

Ну да, каждую минуту бегать открывать то его женке, то моей. Они ведь, чучелы окаянные, посидеть спокойно не могут, то им то надо, то они это забыли.

Поддал братан еще.

Дышать уже нечем.

Выскочили мы наружу, сиганули в пруд, на берегу которого и поставлена банька еще папанькой нашим. Братан за-

визжал. Любит он, чтобы все слышали, чем он занимается. Работает — ругается, напьется — песни орет.

Вылезает мы на берег, а там люди какие-то, не по-нашему одетые, пришлые, одним словом. Стоят и будто молятся. Только богов перед ними нет. Просто стоят и молятся, а смотрят то себе под ноги, то на небо, словно дождя ждут.

И вдруг один из них подходит к нам и представляется.

— Я, — говорит он по-нашему очень даже чисто, — Андрей, волею Божией апостол Христов, несу Благовестие Спасителя и Господа нашего всем народам. Слава Богу, который помог мне добраться и до вас!

И начал он нас обрабатывать.

— Покайтесь! — говорит и возводит глаза к безоблачному небу. — Отвергнитесь греха плотского! — внушает он нам, строго заглядывая в глаза. — Посмотрите на себя, — оскорбительно кивает он на нас с братаном, стоящих перед ним голышом.

— Да пошел ты!.. — осерчал братан и добавляет еще кое-что из того, как он воспринимает приезжих издалека.

А тут и женки наши подскочили. А язык у них ядовитей, чем у гадин болотных.

— Чего, — кричит одна из моих, — к мужикам пристал? Ты чего на них вылупился? Может, и нам раздеться — поинтереснее будет, может?

— Зачем им это, — вмешивается одна из женок братана, — они же жопошники противоестественные, им только на мужиков интересно смотреть!

Андрей-то этот помрачнел и вдруг снимает сандалию с правой ноги и стряхивает с нее пыль.

— Терпение мое, — заявляет он нам, — истощилось. Может, — говорит он, — здесь и воздвигнут много церквей, но участь страны сей будет горше участи Содома беззаконного!

— Идешь ты!.. — махнул рукой братан и опять завалился в баньку, а мне вдруг стало страшно.

А вдруг все это правда, и теперь у нас наступит страшная невезуха?

СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ

— Так, вы будете понятыми, — говорил старший лейтенант милиции Хиротонов своим добровольным помощникам Тряпкину и Худоборскому — старым внештатникам райотдела внутренних дел, когда они втроем подходили к трехэтажному дому постройки, относящейся к хрущевской “оттепели”.

В квартиру N 10 звонил сам Хиротонов.

— Кто там? — после долгой паузы раздался за дверью мужской голос, и дверь, не дожидаясь ответа, открылась.

— Гражданин Чужих? — строго спросил Хиротонов.

Мужчина, оказавшийся за дверью, кивнул.

— Вот постановление на обыск в вашей квартире, — показал лист бумаги старший лейтенант, сразу же пряча лист этот в папку.

— А в чем, собственно... — начал было мужчина с сибирской фамилией.

— Показывайте свой аппарат! — строго предложил милиционер.

— А что, разве нельзя? — засуетился Чужих.

— А как вы думаете? — ехидно спросил один из понятых.

— Да он так, для себя ведь... — нарочито стал выгораживать “преступника” другой понятой.

— Это для всего народа, — начал объяснять Чужих.

— Значит, для сбыта, — сделал вывод старший лейтенант.

— При чем здесь сбыт? — поднял брови обыскиваемый. — Аппарат находится в стадии разработки. Собственно, даже шкалы временных величин нет, и не апробировал я его...

— Ишь ты, ученый! — удивился понятой Тряпкин.

— Давайте ведите нас к аппарату, — еще строже, чем прежде, предложил милиционер. Не любил он тумана в делах, а тут он намечался.

Чужих провел всю группу захвата в небольшую захламленную комнатуху, среди которой стоял аппарат очень странной конструкции. Много самогонных аппара-

тов повидал на своем веку Хиротонов, но такой видел впервые.

— Даже сиденье есть! — вскрикнул он.

— Стоя можно отклониться от оси, которая должна сохраняться на весь период передвижения между витками спирали... — начал монотонно объяснять Чужих.

— Ладно, в лаборатории разберутся! — решил Хиротонов. — Где самогон?

— Какой самогон? — будто проснулся Чужих.

— А что, еще не гнали? — противным голосом осведомился Худоборский.

— Не гнал я ничего! — отпирался Чужих.

— Гражданин Чужих, — взывал Хиротонов, — ваше поведение на обыске может сыграть решающую роль на суде. Не отягощайте свою вину перед законом!

— Брагу показывай, раз не гнал еще! — долдонил Худоборский, в то время как Тряпкин уже начал рыться в квартире.

— Что вы делаете? — хотел оттащить его от шкафа Чужих.

На него набросились все трое разом.

— Сопротивляться?! — рычал старший лейтенант. — Я тебе сейчас покажу, как сопротивляться!

Они сомкнули наручники на руках преступника и бросили его на единственное сиденье в комнате, которое было неотъемлемой частью аппарата.

— Это же машина времени! — начал нести какую-то чушь Чужих.

Его никто не слушал. Трое мастеров обыска рылись в шкафу, в ящиках стола, в туалете, совмещенном с сидячей ванной...

— Ах так! — закричал Чужих и шелкнул каким-то тумблером.

Машина загудела, и Чужих неожиданно пропал вместе с машиной, которая через мгновение появилась снова, но уже без своего седока. На сиденье лежали только открытые наручники...

Дело пахло государственной изменой, поэтому его срочно передали в КГБ, а там решили поручить это неординарное задание майору Антиминсову, курирующему деятелей науки, искусства и религии.

— Ничего здесь не трогали? — только и спросил Хиротонова майор и, услышав отрицательный ответ, разрешил идти продолжать отлов самогонщиков и спекулянтов.

Антиминсов осмотрел квартиру, машину времени, а затем, оставив в квартире одного из своих подчиненных, направился на доклад к Руководству.

— Объект, — докладывал майор, — в нашей конторе не числился, что при его взглядах показывает на его скрытность и неординарный образ мышления...

— Что выяснено по делу? — прервало майора Руководство.

— Наши друзья милиционеры спугнули птичку. Чужих намеревался переправиться вместе с машиной в прошлое, ориентировочно в начало века, затем перевезти машину в Финляндию, а оттуда переправиться в Финляндию нашего времени. Он еще не разработал механизм возврата...

— Ваш план по захвату? — поинтересовалось Руководство.

— Я совершенно согласен с необходимостью возвращения объекта, но... Надо еще отработать действия с машиной времени... Потребуется вмешательство специалистов...

— Необходимо торопиться. Объект может негативно повлиять на революционный процесс, происходящий в дореволюционной России. Возможны также варианты террористических актов против будущих деятелей партии и правительства.

Антиминсов еще раз наглядно убедился в объемности мышления своего Руководства.

— На подготовку три дня, — подвело черту Руководство, когда Антиминсов только открыл рот, чтобы сделать конструктивное предложение в части поимки Чужих, — пойдите вы и капитан Православин,

Православин был лучшим мастером рукопашного боя. Ни одна промышленность строительных материалов мира еще не создала кирпича, которого не смог бы разбить кулаком капитан Православин.

На третий день под вечер Антиминсов сел на сиденье машины времени, капитан Православин устроился на коленях майора.

Руководитель бригады специалистов, занимающейся наладкой машины, помахал рукой.

— Теперь она никуда от вас не уйдет. Только не трогайте вон тот регулятор...

— Поехали! — нетерпеливо бросил через плечо Православин.

Они оказались в небольшой мастерской. Трое мужчин в грязных фартуках стучали по железкам молотками, пилили эти железки напильниками, а то, что получалось, сваливали в кучу в углу.

Один из них, по-видимому, старший, мельком глянул на прибывших.

— Тоже в кандалах?

Православин молча ударил слишком любопытного рабочего ребром ладони, двух других он вырубил ножным дуплетом, прыгнув между ними и резко выбросив в стороны свои натренированные ноги, обутые в казенные военные ботинки.

— Зря ты так, — поправил товарища майор, — надо было сначала спросить, куда направился Чужих.

— Найдем, — самоуверенно ответил капитан.

Они вышли из мастерской на вечернюю улицу начала XX века, по которой носились экипажи, телеги, брички и автомобильный транспорт, переживающий эпоху становления.

Посреди улицы на пегом мерине восседал полицейский.

— Привет, — поздоровался с ним майор Антиминсов.

— Привет, — ответил, улыбнувшись, полицейский, который будто почувствовал в незнакомцах родственные души.

— Тут три дня назад проходил гражданин в сером костюме и тапочках на босу ногу? — спросил чекист.

— Был, — уверенно молвил важный полицейский и, не дожидаясь дальнейших вопросов, добавил: — На Сормовском он воду мутит. Работяги сами не свои там ходят. Начальству не грубят, не бастуют, работают, как черти, за царя-батюшку молебны заказывают...

— Как туда пройти? — прервал своего предтечу Антиминсов.

— Прямо и направо, а потом по берегу, — объяснил до-революционный страж порядка.

На Сормовском заводе был обеденный перерыв. Шла оживленная дискуссия. Выступал Чужих.

— Братцы, грех вам жаловаться. Живете вы, как секретари какие обкомов. Икру кушаете, мяса у вас в достатке, водка, опять же, у вас дешевая и без очереди. А потом вы ведь еще лучше жить будете, если никаких революций не будет. У нас с этой революцией почти семьдесят миллионов человек ухлопали.

К бочке, с которой держал речь Чужих, рванулся патлатый мужик с измученным лицом.

— Я буду говорить! — хрипло заявил он.

— Пусть Каторжанин скажет! — поддержала рабочая масса.

— Врет он все, братцы! — выбросив руку вперед, заявил Каторжанин. — Не может быть никаких машин времени. Мне еще Кибальчич говорил...

Тут он закашлялся, и мнение Кибальчича по вопросу перемещения во времени осталось неизвестным.

— При чем здесь Кибальчич? — обиделся Чужих. — Может, он и был специалистом по ракетной технике, но дальше карнавальных петард он не ушел. Ракеты, — еще обиженнее продолжал он, — ракеты в камере рисовал, а бомбы кидал вручную!

— Кибальчича не трожь! — закричали рабочие.

— Горьковчанами станем, говорит! Врешь — не станем! — возмущались другие.

А потом кто-то затынул:

— Мрет в наши дни с голодухи рабочий...

Спев песню до конца, решили бастовать.

Антиминсов и Православин, которые и запели песню, были одеты в косоворотки, а пели, пожалуй, даже лучше всех. Их избрали в забастовочный комитет.

Пока писался протокол, они подошли к обиженно ковыряющемуся в какой-то железке Чужих.

— Разговор есть, — шепнул на ухо изобретателю Антиминсов, и когда Чужих повернул к нему голову, Православин пшикнул под нос путешественнику по времени "Черемухой".

Когда чекисты тащили изобретателя к выходу, их часто останавливали вопросами.

— Выпил с горя, — звучал один и тот же ответ.

— Попался, голубчик? — любезно осведомился полицейский, поправляя на боку своем кобуру с массивным револьвером “Смит и Вессон“.

— У нас так... — похвалился Православин.

Чекисты нырнули в мастерскую. Машина времени стояла на своем месте, вокруг нее валялись незадачливые рабочие.

Все трое взгромоздились на сиденье, при этом Антиминсов случайно задел небольшой регулятор на блоке управления...

Оказались они вместе с машиной на пустыре, посреди которого высились два столба с транспарантом: “Привет участникам Нижегородской ярмарки!“ Вокруг столбов милиционер гонял бабку, из которой сыпались семена подсолнуха.

— Здравствуйте! — снисходительно поздоровался Антиминсов с представителем охраны правопорядка, мельком показывая свое удостоверение.

— Рад стараться! — запыхавшись, проговорил милиционер, все-таки схвативший бабку. — Последний представитель капитала! — похвастался он перед чекистами и удалился в неизвестном направлении, затерявшись среди столбов с многочисленными транспарантами.

Православин в это время искал приметы эпохи, в которую они попали, так как с первого взгляда чекисты поняли, что возвратились они не к себе.

Наконец они нашли то, что искали. Это был обрывок сравнительно свежей газеты.

“...Завершая XV пятилетку, весь народ трудовой страны Советов еще более отчетливо понимает, что горбатого исправить может только могила. Мы не раз спотыкались на ухабах истории. “Это — последний раз!“ Эти слова нашего нового генерального президента звучат девизом в сердцах людей труда, прикованных не только традиционной цепью, но и сердцем к своим рабочим местам!..“

Чтобы вернуться назад, надо было точно знать времен-

ной отрезок, как можно более точно, поэтому чекисты двинулись для выяснения к зданиям, видневшимся вдали.

— Это будущее! — с повышенным энтузиазмом провозгласил Антиминсов.

Когда они попробовали войти в одно из зданий, их грубо оттолкнули, не обратив внимания на красненькие удостоверения.

— Сессия областного Совета! — бросил им охранник, подозрительно осматривая всех троих.

— Сессия горсовета! — объяснили им в другом здании, а служитель, объявивший это, уже не ограничившись подозрительным взглядом, спросил, кивнув на Чужих: — А этот почему без трудовой цепочки?

По ходу движения к четвертому зданию, где, судя по всему, было какое-то важное управление, трое путешественникам по времени попался рабочий, прикованный цепью к тяжелой тачке. На ней сверху собранной кучи мусора лежали веник и совок.

— Это пятнадцатисуточник, наверное, — попробовал успокоить сам себя Антиминсов.

Услышав такое предположение, дворник, а именно им и был рабочий, даже оскорбился.

— Это почетная цепочка, которая неразрывно связывает меня с моим средством производства! — горячо стал объяснять он. — Это моя тачка, и никто, вы слышите, никто у меня ее не отнимет!

Рабочий ушел, напевая какой-то незнакомый чекистам трудовой гимн.

— Все понятно, — пробормотал Православин.

Они опять оказались на каком-то пустыре.

— Площадь Переперестроечная, — прочитал Антиминсов на столбе.

Над головами послышался шум. Все трое подняли головы и глаза к небу и увидели несколько летательных приборов фантастической конструкции, снижающихся на пустырь.

Когда летательные приборы снизились и приземлились, Антиминсов попробовал приблизиться к ним, но ближе, чем на пять шагов, подойти он не мог. Невидимая стена преграждала путь.

— Силовое поле! — восторженно вскрикнул Чужих, догадавшийся о причине этого явления. — Здорово! — он не мог успокоиться от охватившего его восторга.

Из аппаратов вывалились люди всех возрастов и рас. Они с интересом стали наблюдать за троечкой из XX века.

Один из наблюдающих подошел к самой границе силового поля.

— Простите, — заговорил он на хорошем русском языке, — я — экскурсовод с большим стажем, но впервые я вижу людей в этой стране, одетых так, как вы. Вы что — новое социальное образование, утвержденное очередным съездом или сессией?

— Мы люди из прошлого! — объяснил Чужих, так как Антиминсов и Православин молчали, боясь нарушить какую-нибудь государственную тайну.

— А разве у вас есть машина времени? — удивленно вскинул брови экскурсовод.

— Да, — скромно признался Чужих, — я — ее изобретатель. Меня вот за это самое и арестовали.

Экскурсовод бросился к летательному аппарату и вскоре вернулся.

— Правительство нашего мира предлагает вам принять наше подданство и сочтет за честь иметь такого гражданина...

Чекисты бросились было хватать Чужих, но опоздали — он уже оказался за пределами силового поля, впущенный экскурсоводом, и показывал в сторону оставленной без присмотра машины времени.

Летательный аппарат передвигался в пространстве гораздо быстрее, чем хорошо тренированные чекисты. Уже на полпути они увидели, как оперативно загружается машина времени в летательный аппарат, имеющий грузовые отсеки.

— А что делать нам? — задал явно риторический вопрос Православин.

Но его тревога была напрасной. Все комитеты, существующие в XX веке, продолжали свое существование, только на гораздо меньшей территории.

ХУДОЖНИК

— Так ты меня будешь рисовать? — уже который раз, игриво улыбаясь, спрашивает женщина.

— Да, да, — отвечаю я.

— И больше ничего не будет?

— Посмотрим, — бормочу я.

Совсем мне это неинтересно. Баба и баба. Глупая и красивая.

А вот и мой дом.

Я долго копаюсь с замком, но оказывается, что дверь не заперта. Опять забыл.

В мастерской пахнет красками и мочой. Не бегать же на улицу каждый раз?

— Ложись, — говорю я женщине, беру зеркало и ставлю его в изголовье, — смотришь в зеркало.

— А раздеваться не надо? — удивляется она.

— Нет.

Мне нужен взгляд через зеркало, а голую задницу я могу нарисовать и без натурщицы.

— Ты вот так с кистью в руках и кончаешь? — спрашивает на прощание женщина.

Деньги я ей дал, о другом мы не договаривались.

— Не стоит, что ли? — она явно разочарована.

Я протягиваю руку и глажу ее по голове.

Она уходит.

Я не блудник. Я вор.

Я ворую красоту этого мира. Посмотрю на речку, и она уже не так прекрасна, как была только что. Посмотрю на женщину — и вот уже исчезла ее привлекательность, не так желанна она. Я краду краски этого мира, его горе и счастье, его слезы и смех. Я взломщик, бандит, карманник.

Я подхожу к зеркалу. Это мой портрет.

Я поворачиваюсь и осматриваю свою мастерскую, но это всего лишь изображение моей мастерской.

Я подхожу к окну и смотрю на улицу, на прохожих, на экипажи, которые тащат за собой взмыленные лошади.

И это тоже картина.

Все застыло кругом: птицы, деревья, об ака...
Конец света.

СВЯТАЯ ЛИТУРГИЯ

Отец Владимир шел через село в храм. Недавно исполнилось 15 лет его иерейского служения. И все так же он иерей, все так же на его неширокой груди болтается мельхиоровый крест, тот самый, который подал ему архиепископ во время рукоположения.

Еще при рукоположении в диаконы Владимир принял обет безбрачия.

Целибат — сначала было что-то временное, переходное перед монашеством, а потом стало привычным. Он со скромной улыбкой выслушивал шутки своих коллег-священников на архиерейских приемах или на собраниях у уполномоченного. “Цель на баб“, “целый батальон баб“, “цель для баб“, такие и подобные стали привычными при встрече с отцом Владимиром. Он перестал на них реагировать.

Да и теперь, когда он шел на воскресную утреннюю службу в храм, его волновало совсем другое: ночью у него была поллюция, которая всегда начиналась, когда отец Владимир делал перерывы в мастурбативных упражнениях. Теперь он думал, что же лучше: мастурбация или поллюция?

“Вот возьму и скажу верующим, что ночью обтрухался и поэтому не могу совершать литургию!“ — думал он, прекрасно понимая, что это высказывание уже на другой день будет известно владыке, который не упустит случая вызвать и отчитать отца Владимира за дискредитацию священнического сана.

— Сам бы на себя посмотрел, пидор гнилой! — в сердцах высказал свое отношение к владыке священник. Он испуганно огляделся. Улица была пуста. В конце ее, а значит, на краю села, виднелся храм.

“Тоже мне — храм! — все больше раздражался отец Владимир. — Большая хата — вот и весь вам храм! Дал бы я на лапу владыке или подставил бы ему очко — так меня

бы никогда здесь и не увидели, служил бы в городе в Иоанне Златоусте или даже в соборе!”

Около храма отца Владимира ждали две старушки из соседнего села. Они подошли под благословение, потом подождали, когда батюшка помолится перед входом в храм, и зашли вслед за ним.

— Служить быстро, — распорядился отец Владимир, подойдя к псаломнице, — читать только третий час.

Он помолился перед царскими вратами, наспех побормотав, и, поклонившись верующим, которых было немного, зашел в алтарь.

— Опять на “Узбекистане” служить будем? — бросил он дежурную шутку бабушке-алтарнице, раздувавшей кадило.

— На нем, батюшка, на нем, — весело согласилась она, подходя под благословение.

Служба пошла. На великом входе пели новую херувимскую. Бабушкам казалось, что поют они произведение духовного автора Кравцова, но получалось что-то больше похожее на одну из музыкальных композиций французского ансамбля “Спейс”.

Евхаристический канон поражал своей сельской простотой. Бабушки не пели, а хором скандировали слова — ответы на возгласы отца Владимира.

Когда настало время причащаться отцу Владимиру, бабушки запели одну из песенок-колядок, привезенных владыкой со своей родной Полтавщины.

— Возложили на Иисуса крест тяжкий нести,

И пошел он на Голгофу, чтоб нас всех спасти... — душевно выводили старушки.

Сдерживая улыбку, отец Владимир взял частичку Агнца, которым должен был причаститься, и положил его в рот. Клял в рот он кусочек белого хлеба, но во рту почувствовал нечто другое.

“Да это же мясо! — чуть не закричал священник. — Неужели я схожу с ума?” — подумал он уже несколько спокойнее.

Он постоял, прислушиваясь к себе, но никакой странности в своем восприятии окружающей обстановки не почувствовал.

Он взял плат и, делая вид, что вытирает рот, выплюнул в него Тело Христово.

“Господи!” — непривычно для самого себя мысленно произнес священник. Он протянул руку к потиру, поднял его и приложился к нему губами.

В рот попало ровно столько жидкости, чтобы сделать небольшой глоток. Но вот глоток он сделать не мог! Во рту своем он почувствовал кровь. Теплую человеческую кровь. Он знал этот вкус, потому что страдал привычкой кусать губы в минуты раздражительности, кусать до крови, которую приходилось слизывать и глотать, так как эти минуты бывали обычно на архиерейских приемах, где ни плевать, ни вытирать кровь с губ платком было неудобно.

Он выплюнул Кровь Христову в плат.

“Господи!”

“Но ведь нельзя же причащать этим!” — он покосился на бабушку-алтарницу.

— Сходи к старостихе за новым платом, — приказал он ей.

— Батюшка, да этот чистенький, — возразила она.

— Сходи, сходи, говорю! — раздражительно произнес отец Владимир. — Я на него святыми дарами капнул.

Бабушка ушла. Священник быстро подошел к окну, раскрыл его и выплеснул содержимое потира под дерево, росшее под окном. Туда же он выбросил и хлеб. В потир он влил вино, разбавив его горячей водой, и, быстро измельчив обычную просфору, всыпал полученные частички в чашу. В этот момент в алтарь вошла алтарница.

Когда после службы отец Владимир выходил из храма, к нему бросилась церковная сторожиха.

— Батюшка, чудо дал нам Господь!

— Что еще за чудо? — недовольно поморщился священник.

— Серый, как шла служба, стал копаться под вишней, которая у правого окна алтаря. А потом начал что-то там жрать. А теперь посмотрите, что с ним стало!

Отцу Владимиру пришлось пройти вместе со сторожихой к вишне, где лежал Серый...

Серый, а именно так звали большого беспородного ста-

рого пса, встретил их строгим взглядом. Сначала он посмотрел в глаза сторожике, потом посмотрел на священника и... грустно покачал головой.

Серого нельзя было узнать. Это был молодой кобель, в котором любая самая придирчивая комиссия признала бы только одну породу, — западно-европейская овчарка.

Серый опять покачал головой, повернулся и лег под вишней.

Только теперь отец Владимир обратил внимание на это дерево.

Вишня цвела.

Шел август 1989 года по Рождестве Христовом.

САМОЕ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО

— Женя, сходи в магазин за хлебом! — в который уже раз попросила мама.

— Шас, мне осталось, — семилетний Женя листнул книгу, — мне осталось три страницы.

Женя имел двухлетний читательский стаж, но впервые читал такую грустную книгу. До этого были детские сказки или житейские рассказы, небогатой своей палитрой иллюстрирующие счастливое детство детворы великой Родины маленького Жени.

— Вот и все, — через некоторое время произнес задумчиво Женя, ставя на место в книжном шкафу прочитанную книгу. — “Хижина дяди Тома“, — произнес он вслух название прочитанного произведения.

На кухню к маме он зашел печальным и задумчивым.

— Мама, неужели все это правда, разве можно так?

— Правда, — вздохнув, ответила мама. — Это было жестокое время и жестокая страна.

— Как хорошо, что мы живем не там, — улыбнулся Женя.

Полиэтиленовый мешок лежал на столе. Рядом лежали тридцать копеек. Это значит, как всегда: одну буханку за 24 копейки и одну шестикопеечную сайку или городскую, которая стоит тоже 6 копеек.

Хлебный магазин находится в соседнем доме, где, кроме хлебного, есть гастроном и бакалея. А есть еще один магазин, куда Женя еще никогда не заходил. Он вообще-то совсем недавно стал ходить за покупками, всего в третий раз. И в этот третий раз он решил обследовать неизвестный магазин.

Купив хлеба, Женя ринулся в загадочный магазин. Надо было торопиться, мама ведь велела не задерживаться.

Уже зайдя в магазин, Женя прочитал надпись “Для ветеринаров“, во всяком случае так он ее воспринял.

Он подошел к витрине и обомлел. За стеклом пирамидкой, построенной опытной рукой продавца, стояли баночки сгущенного молока.

Женя пробовал сгущенное молоко всего один раз в жизни, в гостях у маминых знакомых. Ему положили совсем немного в блюдо. И когда он попросил еще, мама сказала, что больше нельзя. Тогда он расплакался, вышел маленький скандал со шлепками и упреками в том, что он неблагодарный свиненок. Все это запомнилось, но больше всего запомнилось сгущенное молоко, его вкус, немного отдающий металлом.

— А сколько стоит сгущенное молоко? — спросил Женя дяденьку, на груди которого было очень много разных значков.

— Это не для тебя, — ответил свысока толстый дяденька со значками.

— Я знаю, это для ветеринаров! — с восторженной осведомленностью воскликнул Женя. — Я тоже буду ветеринаром!

— Ах ты, щенок! — побагровев, заорал толстый дяденька, брызгая слюной. — А ну, убирайся отсюда, сопляк паршивый, пока я тебе ноги не повыдергивал!

— Совсем обнаглели! — загалдела очередь. — Все лезут, лезут, будто не знают, чей это магазин!..

Когда Женя выскочил из магазина, он чувствовал, как горело его лицо, словно по нему ударили, и еще он вдруг почувствовал себя ребенком рабыни на плантации. Ему стало страшно: ведь вокруг были белые люди. В любой момент ждать окрика или удара хлыстом...

Когда мама, услышав звонок, открыла дверь, за дверью стоял маленький негритенок, одетый, совсем как ее Женя.

ПЕРЕСВЕТ

Они пили пиво, стоя за столиком в зарешеченной забегаловке на углу Бакинской и Мечникова. Астраханский июль обжигал своим смрадным дыханием, и спасти, казалось, могло только прохладное пиво и непринужденная болтовня с друзьями.

Как-то неожиданно заговорили о летописях.

Да, летописи — это правда! А как же, писали-то их не аппаратчики какие-нибудь! Правда, все правда!

— Ложь! — это произнес мужчина лет сорока, появившийся около столика. Мужичок как мужичок, и одет неброско, и рост самый средний, только вот стрижка нулевая да борода длинная делали его несколько экзотичным, но видно было, что к экзотике во внешнем виде он и не стремился, он стремился совсем к другому.

— Ложь ваши летописи! — еще раз громко произнес он.

И начал рассказывать...

Темур-мурза гнусно улюлюкал, на ломаном русском издевался над притихшими рядами ратников.

— Посединщики говенные! — орал мурза. — Мать вашу я видал!

А он в это время стоял перед князем.

— Я пойду!

— Ты не можешь, — говорил князь, оглядывая худую фигуру, высушенную постами и тысячами ежедневных земных поклонов.

— Ты не можешь, — говорили монахи, пришедшие вместе с войском, по благословению отца игумена, для вдохновения воинов, для совершения треб, — ты чина ангельского лишишься, если пойдешь проливать кровь.

— Я — русский! — ответил он. — Я этого звания никогда не лишусь.

— Брат, опомнись! — твердили монахи. — Гесенна огненная разверзнется под тобой.

— Ладно, — только и сказал он, снимая с головы монашеский куколь, а с плеч нешироких ряску заношенную.

— И крест снимай! — прорычал гигант-иеромонах — вот мурзе-то пара. Не Александр ты теперь!

А ему стало будто легче. А его будто свет какой-то невиданный осиял. Не свет, а сверхсвет. Пересвет.

— Пересвет я!

— Пересвет, Пересвет, Пересвет! — пронеслось по рядам русских воинов.

— Так иду я? — спросил Пересвет князя.

— Иди, только облачения воинского я тебе не дам. Чести нам мало, если тебя мурза на копье, как щенка, поднимет.

— Я тебе дам, я! — бросился к Пересвету какой-то сердобольный мужичок, протягивая самодельное копье и повод сильной, но больно не глядящейся лошадки. — Бери, Пересветушка!

А он видел только лоб, широкий лоб Темур-мурзы.

“Туда и ударю, — решил Пересвет. — Это точнее будет“.

И бросился вперед, на врага, на его копье, по которому пришлось ему проскользнуть всеми своими внутренностями, чтобы достать до лба широкого, потому что копье самодельное было короче копья мурзы, потому что татарин не промахнулся и ударил точно в тощий живот Пересвета.

Пересвет не почувствовал боли. От удара в лоб мурзы вокруг копья разошлась кровавая рана, будто звезда пятиконечная. А кто же там, за спиной мурзы? Да ведь там не только татары, там и русских полно лиц среди мучителей Руси.

— Да как же? — растерянно прошептал Пересвет, а потом понял, что может быть и такое.

— Бей их! — звонко крикнул он. На все поле, на всю страну великую.

Русские бросились на врага...

Я не буду скрывать ни от кого, что родился в Астрахани 1950 года и горд этим. Я горжусь и рождением в год Тигра и

появлением на свет в городе, достоинств которого не собираюсь перечислять, так как берегу бисер души своей.

Из истории отечественной литературы известно, что А.С.Пушкин пережил самый славный период творческой жизни, именуемый теперь не иначе, как “Болдинской осенью”. Так вот, у меня было сплошное Болдинское детство и Болдинское отрочество по той простой причине, что район Астрахани, в котором я имел счастье проживать в первые свои шестнадцать лет, называется Болдой, по названию притока Волги.

А.С.Пушкин неотвратимо вошел в мою жизнь по воле моих школьных учителей литературы и русского языка. Учителя эти всеми силами старались заставить меня выучить наизусть как можно больший отрывок из “Евгения Онегина”, чему я неудержимо сопротивлялся, в результате чего уже после окончания школы помнил только: “Я помню чудное мгновенье...”, хотя очень сомневался в том, что это слова героя бессмертной поэмы.

После школы я учился в двух институтах и одном техникуме, а также проходил службу в славных рядах овейной победы СА, в результате чего у меня на руках осталось два диплома и один военный билет, над которыми хочется плакать навзрыд.

Я могу смело утверждать, что всю свою сознательную жизнь посвятил труду, более того — исследованию удивительного явления, именуемого в нашей стране “трудом”.

Посудите сами: я работал финансовым инспектором в двух районных финотделах и одном областном, был я экономистом, ревизором и бухгалтером-ревизором, дворником, рабочим сцены в драматическом и распространителем билетов в кукольном театрах, оператором множительных машин, сторожем, хлебоприемщиком, опять сторожем, почтальоном, алтарником, а затем псаломщиком в православных храмах, внештатным корреспондентом областного радио, бухгалтером молодежного центра при ГК ВЛКСМ, кроме всего прочего, по странному стечению исторических обстоятельств я, не являясь сельским жителем, активно участвовал в сельскохозяйственном труде. Я собирал и убирал арбузы и баклажаны, дыни и помидоры, морковь и огурцы, яблоки и

картофель, турнепс и свеклу. Однажды я был задействован даже в косовице! А это что-то значит...

В настоящее время я выполняю обязанности грузчика продуктового магазина.

У меня на попечении жена, сын и два ненасытных кота.

Смогу ли я их прокормить, когда повысятся цены?





X



САША ЧЕРНЫЙ

ПОТОМКИ

Наши предки лезли в клетки
И шептались там не раз:
“Туго, братцы... Видно, дети
Будут жить вольготней нас“.

Дети выросли. И эти
Лезли в клетки в грозный час
И вздыхали: “Наши дети
Встретят солнце п о с л е н а с“.

Нынче так же, как вовеки,
Утешение одно:
Наши дети будут в Мекке,
Если нам не суждено.

Даже сроки предсказали:
Кто — лет двести, кто — пятьсот,
А пока лежи в печали
И мычи, как идиот.

Разукрашенные дули,
Мир умыт, причесан, мил...
Лет чрез двести? Черта в ступе!
Разве я Мафусаил?

Я, как филин, на обломках
Переломанных богов.
В неродившихся потомках
Нет мне братьев и врагов.

Я хочу немножко света
Для себя, пока я жив;
От портного до поэта —
Всем понятен мой призыв...

А потомки... Пусть потомки,
Исполняя жребий свой
И кланя свои потемки,
Лупят в стенку головой!

ВЛАДИМИР МАКАНИН

ТАМ **БЫЛА** ПАРА...

Названия маканинских вещей входят в повседневный обиход как эмблемы: хочешь сказать о человеке, на дух не переносящем всякого, кто хоть чем-то выделяется, всплывает “Антилидер”; подумаешь о женщине с нелегкой судьбой (разведена, передышка для женатого, предательство) — “Отдушина”; читаешь что-нибудь из жизни партаппаратчика — “Человек свиты”. Раздражает он кого-то или, наоборот, притягивает, но в любом варианте заставляет напряженно ждать его следующего слова. Владимир Маканин — живой классик (это когда литературоведы бьются над текстами, а читатели — читают и даже создают общества “маканинистов”) и самая загадочная фигура в российской словесности. Проза его как дерево, форму веток которого и будущий рост предугадать невозможно а вершина, кажется, уходит в бесконечность. Точнее прочих о писателе сказала, пожалуй, Валерия Новодворская, лидер “Демократического союза” и человек нелицеприятный: “Чехов и Маканин... стоят и держат за краешки транспарант: один — в те восьмидесятые, другой — в эти, а на транспаранте как раз и зафиксировано: “Проиграли”... Представляем читателям альманаха “Конец века” новый рассказ Владимира Маканина.

Там была пара, его имени не помню, а ее звали Маша, оба лет двадцати. “Мы уж год трахаемся! ну что ты!.. Мы взрослые люди!” — говорила Маша кому-то по телефону в долгом разговоре. Оба были заметны, выделяясь прежде всего влюбленностью друг в друга. А потом он покончил с собой. (Зачем же еще подчеркнутое ощущение лет, если не для того, чтобы, означив возраст, — возраст забыть. Освобожденность таким путем. Но он умер, такой молодой, а дуб, вероятно, ощущает свою несвободу.) Помню, мы с Машей закурили, а он, отложив сигарету в сторону, вертел в руках только что приобретенную им у кого-то (вот цену помню!) за сорок рублей “По ту сторону добра и зла” — ксерокопию очень старого издания на русском. Он все вертел ее в руках: мол, так много слышал о книге, а вот и купил. А я попросил дать почитать, и он совершенно просто и тут же мне дал. Он так и не прочитал, ибо как раз в последующие два или три дня покончил с собой, наглотившись каких-то таблеток и оставив вполне ясную записку. Еще два дня он пролежал где-то у себя дома, только потом позвонили сюда. Молодых людей его смерть, по моим понятиям, не потрясла, они согласно и несуетливо сказали друг другу:

— Он же был сдвинутый! Ну, ясно!.. а что? не замечали?

И сразу, точь-в-точь как это делается и в нашем поколении, они припомнили немало случаев, в которых погибший был странен и в которых уже загодя чувствовалось некое его отклонение. Тем самым успокаивали самих себя, нормальных, как это делают и среди нас, — только у нас нет таких емких выражений, как “был сдвинутый” или “поехала крыша”, у нас погрустнеют и говорят так: “Он же был шизик!.. Ты что, не знал?” — после чего с некоторой степенью достоверности назовут, пожалуй, больницу, где погибший раз в год подлечивался.

Сказать честно, я тоже не был потрясен его гибелью; возможно, потому, что знал его совсем мало, но возможно, что именно по тому же вдруг возникшему холодку в самоза-

щищающейся душе, что и у них. Меня царапнуло прежде всего то, что распалась такая красивая пара. Они очень подходили друг другу, особенно когда гремела их музыка и танцевали.

Девочка Маша — так я про себя ее звал — тоже не была потрясена. В тот вечер, когда стало известно о его гибели, она, конечно, плакала, даже выпила залпом что-то крепкое, но чуть позже слушала модный ВИА и спорила, выкрикивая яростные слова в защиту этого ансамбля; спорила она страстно, забыв все на свете и размахивая маленькой авторучкой, зажатой в кулачок, как увлеченная учительница младших классов.

Его жизнь кончилась, тем самым вполне совпав с его юностью, и в этом смысле он ушел из юности, а я, куда более старший, пришел и теперь сидел в их юности, откинувшись на стуле и слушая громкозвучный ВИА. Его уже здесь не было. Девочка Маша, и я, и все другие вокруг нас пили из чашек или из стаканов, из которых пил прежде и он. Обычно он пил (немного водки или красное вино) из прозрачного тонкого стакана, из тех дешевых, покупаемых какой-нибудь столовой сотнями в расчете на бой, и каждый раз, когда мне в общей путанице посуды попадалась не чашка, а такой стакан, я его все тискал и крутил в руках, словно проверял чей. Под окнами, а дело зимой, один из наших молодых людей, надев восточный халат прямо на голое тело, ездил на велосипеде кругами неподалеку от дома под падающим мягким снегом. Прохожие оглядывались на него, подчас свирепели, что нашей молодежи, скучившейся и наблюдавшей из окна, доставляло особую радость возрастного (и отчасти группового) вызова всем и вся. “Колька-аа! Никола-ааа! Хва-аа-тит!..” — кричали они ему. Собирали с подоконника снег и, целя в велосипедиста в ярко-красном алма-тинском халате, попадали снежками в прохожих. И кто-то говорил самому себе и другим тоже — а из окна валил морозный воздух: “Хватит. Врубай музыку! Да закройте окно. Мужика простудите“. И, конечно, “мужик“ — это был я, сидевший несколько заторможенно в разбитом их кресле, уставший к вечеру и сидевший тихо, однако незаметно для себя сломавший стакан, еще и порезавший руку. Не знаю,

как это вышло. Кажется, испугался, что утрачу этот возврат в их юность, вглядывался в лица (молодые лица всегда красивы), в их тонкие руки, в девичьи брови или молодые усы парней, и от ощущения, что это надо видеть, слышать, вбирать, иначе пропадешь, от такой вот, самому мне несколько неожиданной, жажды биологического продления жизни возникло что-то вроде отмежеванья от своей судьбы, цеплянье за их зеленость, оклик или зов оттуда и... хр-руп, сжал стакан, обычный и тонкостенный стакан, быть может, е го стакан. Сломал, поранил ладонь и пальцы тоже, притом сильнее, чем показалось в первый миг. Капало и капало, текло, платка не хватило, и теперь капало на пол меж спешно расставленных моих коленей, — и кто-то из них сказал: “Смотри-ка на мужика. Ого?!”

Быть с ними не полезно, если думать о собственном теле, о здоровье: слишком часто сидишь за полночь, так что весь следующий день в голове тяжесть и тупость, поясницу ломит. Но кислцу дня сменяют надвигающиеся вечерние часы, вновь начинают манить, звать, и каждый раз это кажется бóльшим, чем обычная притягательность порока на ночь глядя. Самое неприятное, что они бесконечно курят. Квартира (кажется, какого-то родственника), оказавшаяся в полном их распоряжении, все три комнаты и кухонька, прокурена донельзя, до прогорклости, до невозможности, так что сидеть тут долгий вечер напролет и еще за полночь — это надо быть одуревшим или... молодым. Но душа там мягчает, они добры, эти мальчишки и девочки, как я их называю, их мысли свежи, их слова неожиданны, и если прокуренностью и выпивкой я наношу урон телу, то психику я врачую. Так я себе объяснял. И чувствовал себя лучше. И только во втором или в третьем часу ночи, ощутив ровную сонность души и глянув на часы, говорил себе: “Пора” — и шел домой.

“Мужик” — так они звали меня, что перешло ко мне от одного старика, который ходил к ним прежде меня и который был когда-то во время войны профессиональным разведчиком. Старый шпион все еще трусил. Крепко выпив

(а портвейн у них в квартире был всегда), он забывал окружающих, пьяненькая стариковская память неумолимо погружала в прошлое, а невозможность вспомнить, кто есть кто, доставляла большие мучения. (Ему казалось, что опасность ежеминутна и что смерть в шаге.) Стариковское лицо от натуги бороздили морщины. Наполовину глухой, выставляя вперед правое ухо и внимательно прислушиваясь к болтовне, к щебету молодых, по крупицам их бытовой информации он пытался сообразить, угадать свое окружение — среди кого он и с кем.

Он жил неподалеку; оставшись без родных, томился в четырех стенах — и ходил сюда. Он перебрался в дальнее Подмосковье, где его взяла к себе богомольная старушка, и чуть ли и сам не стал набожен. Кто-то из наших молодых ездил, и даже старушку навестил, и будто бы выпросил у нее небольшую, совсем не дешевую икону. Но, кажется, они попросту проморгали, как и каким образом старик исчез. Было лето, все они разъехались, либо сдавали сессию, а потом разъехались, а осенью, когда вернулись в большой город, старика уже не было.

— А видно, матерый был шпион! А как портвейн пил в свои восемьдесят! — затевали они вспоминать старика, но почти сразу переходили на то, как русские за границей оставляют ложечку в чашке с чаем (и слишком сильно хлопают дверцей автомашины, давая повод себя разоблачить) — набор выдумок, переживших человека.

Так что если о месте, то, пожалуй, я зря мучился — мол, живу юность погибшего молодого человека, дышу его воздухом. На деле же я занимал возрастную нишу ослабевшего старика с огромной головой и аккуратной седой бородой, как они его всем, и мне в том числе, описывали; возрастную нишу человека, греющегося возле молодости.

Творчество ВИА у них в большой цене — зная не только слова этих своеобразных текстов, они знают поименно исполнителей, а также сложную динамику отношений (не только любовных) внутри музыкальных коллективов: певец обиделся, а она не обиделась, а гитариста переманили, но зато у них появился классный ударник Евгений.

Слушая ансамбль, они занимаются чем угодно, некоторые даже готовятся к семинару по физике или просто играют в карты (в дурака или в иные простенько-блатные игры, преферанс у них не в чести) — сидят себе и играют часами. И говорят. А музыка ревет:

Ты спала с мерзким Курочкиным,
ты-ыыы спала с боксером-пьянчугой,
ты-ыы спала со старикашкой-вахтером,
но,
но-оооо,
но-оооо я хочу быть с тобой, быть с тобой, быть с тобой.

(то есть все равно хочу быть с тобой, и ничего тут мне не поделывать и не придумать).

Икона (от богомольной старушки, приютившей резидента) стоит в углу, и иногда они зажигают возле нее свечу или две-три свечи. Они часто говорят о религии. Некоторые из них крестились. Они относятся к этому всерьез и культивируют в себе добро, что меня втайне восхищает. Среди них бывает Алик Пашков, паренек с задержанным развитием; он простой маляр, в отношениях с ним они обычны, но, несомненно, любят и по-своему берегут. Отношение к убогому человеку — лакмус, которым проверяется все и вся. Распадающаяся форма поступков уже на втором или третьем разе выкажет и твою, и его суть, мимикрия сползает, как кожа. И если своей повседневностью эти молодые люди учат Алика жить, то Алик, того не ведая, учит их. (Кто живет кем — не взаимность, а процесс очищения, в это они уже проникли, и ведь как легко.)

Однажды я спросил Алика — как он относится к тексту этих громоподобных песен ВИА? нравится ли ему сам текст? (Меня эти слова только забавляли, ничего, кроме потехи и легкого презрения, к такому потреблению слов я не испытывал.) Спросил я Алика просто так, но и, конечно, с некоторым снобизмом — не сдержавшись и легонько фыркнув.

Он так стремительно вдруг ответил на вопрос, нравятся ли ему слова:

— Нравятся. Очень. Очень, — и даже заволновался, бедный, покраснев.

И тут, кажется, я его понял.

— Но ты внимателен к тому, что они поют?

— Очень!

Мысль была столь же проста, сколь мгновенна: если жизнь идет навстречу убогим, если их трудоустраивают, или если затевают в свободные часы соревнования на колясках для калек и дебилов, и если матери их сидят во время таких марафонов, болея за своего мальчика и испытывая душевный подъем, почему бы и певцам и их песенным текстам не побегать иногда с убогими рядом?.. И ведь в сущности так просто понять всякому человеку:

Ты-ыы спала с мерзким старикашкой-вахтером,
но я,

но я (убогий, счастливый уж тем, что меня приласкают
и согреют),

но я хочу быть с тобой.

И не отодвигали от себя марксизм, потому как уже внешними процессами он был сам отодвинут от них несколько в сторону, полинявший. Они уже были — без. И так легко стали они внеобщественны (в старом смысле слова), с неожиданным удовольствием ощутив религиозный индивидуализм, готовность своего “я” к отношению с небом.

Культура таинства, венчающая в структурном смысле их направленность к небесам, еще не возникла (и скажем сильнее — была от них еще очень далека), но они уже объединились, уже тянулись быть вместе в новом своем качестве, а это уже нацеленный шаг.

Добро и зло — как лабиринт, но скорее всего в лабиринте ты не запутаешься до полной потерянности, а попросту устанешь идти и махнешь рукой: хватит!.. махнешь обеими руками (тут Сашук улыбнулся, подверстывая уже подвернувшийся образ), взмахнешь и... как птица вдруг взлетишь и сделаешь круг и еще круг, видя уже сверху все многообразие комнат и переходов. Ощущение полета столь ново и содержательно само по себе, что ты (и тут тоже как птица) уже не хочешь разбираться в порядке, очередности или кос-

венной последовательности запутанных комнат. Устал? Дело не в усталости. Высокий звук (отзвук) христианского отчаяния, но не тупик. Но и когда улетаешь, делая последние круг за кругом и сверху оглядывая, все же не унесешь (и не удержишь в памяти) этот великий план человеческого многовекового опыта...

Слава богу, что у нас есть крылья и мы можем взлететь, мы как птицы, говорил Саша, Сашук.

Как бы меня и во внешнем тупик на взлет, они вскочили с мест (разговор побоку), тут же и врубив музыку, как всегда громкую. Отплясывали, курили, то делали полумрак, то включали свет, отыскивая нужную магнитофонную кассету, я же продолжал сидеть в кресле, прикрыв глаза. Музыка не гремела, стала вкрадчива, нежна. Танцующие раз другой задели мои ноги. В старом их кресле торчали две пружины, так что приходилось к ним приспособливаться, и я это уже умел, имел опыт. Но когда задевали по ногам и я сдвигался, пружины, перемещаясь, тотчас выстреливали и жестко о себе напоминали, после чего вновь приходилось елозить задом и смещаться (и пока я приспособлялся к пружинам, пружины приспособлялись ко мне).

Мы можем взлететь над лабиринтом добра и зла, мы как птицы, но мы не можем его осмыслить и за краткое наше время постичь, говорил умный Сашук. И потому — надо верить. Сейчас он танцевал, весь изгибаясь, а молодая женщина, повторяя своим телом его изгибы, льнула к нему и гнулась еще сильнее, самозабвеннее, чем он. Чувствовался поздний час; клонило в сон. Я перебирал в памяти их слова, их мысли и тихо завидовал.

Завидовал; из себя же ничего, кроме осторожной иронии, извлечь не мог.

Добро и зло — как две выскочившие и мешающие пружины старого кресла.

Я повторял столь кружным путем пришедшие слова. Благоденствие нечестивцев и испытание праведных — но почему? почему?.. То есть испытывают именно праведных, не доверяя им, и если в этом лишь известная формула очищения человека страданием, то почему их, молодых, веко-

вечные эти слова так загодя тревожат и волнуют?.. Определений добра и зла, как и способов размежевания, нащупывания границы меж ними, было, надо думать, бесчисленное множество: как, скажем, л а б и р и н т у этого умного юноши. Или хотя бы как пружины в старом кресле, которые мешают сидеть расслабившемуся и уже несколько сонному человеку. Но что если в ту же самую сонливую и упрощенную минуту в нас шла и впрямь некая вечная борьба добра и зла, но только никак не связанная ни со словами Сашука, ни с моими словами, ни с нашими мыслями, ни даже с всполохами в глубинах нашего сознания, — неслышная, как не слышно нам движение в нас лейкоцитов крови или, скажем, лимфы. Вечное и неслышное сражение. Борьба идет, а мы не ощущаем ее и не чувствуем, какое великолепие! — подумал я в ту минуту.

Шахматная доска с фигурами давно расставлена, партия идет который век, а мы ее почти не видим. И что если предводителя добрых сил во мне (и во всяком другом человека тоже), играющего белыми, назвать... но ведь и не названный он воюет, так что пусть ходит своими белыми пешками и белыми фигурами, пусть разрушает хитроумные комбинации хвостатого противника и завершает свои фланговые атаки и контратаки, пока я тут сплю. Да, я сплю. А он не спит. Он за меня, и ничего лучше нет этой мысли в мире. А я сплю. Что если я хочу спать, но не свалившись в кровать спать и чтоб до самого утра, и до галочьего за окном крика, а так, как сейчас, — сидя и вытянув ноги, и чтобы в старом кресле в углу и другим не в тягость, призакрыв глаза, когда рядом гудит тяжелый металл вокально-инструментального ансамбля и под этот металл (плюс пронзительный и щемящий женский голос — Маша?) танцует, гнется, льнет, прыгает, извивается, скачет и никак не может насытиться жизнью чья-то молодость? Устремившись за их рассуждениями о добре и зле, моя мысль, позавидовав, тоже сделала сколько-то спешных шагов в том направлении. Заторопилась, но скоро, конечно, иссякла, не умея набрать полных четырех тактов на чужом топливе. Я сидел в старом их кресле, дремал, и, видно, уже сильно дремал, клевал носом — время шло к ночи. Они поставили мне на колени пустую консерв-

ную банку под пепел, так что в двух-трех шагах от дремлющего танцевали молодые женщины, хорошенькие, милые, лет двадцати, стряхивали столбики пепла своих сигарет в пустую банку, улыбаясь и получая удовольствие от этой и впрямь комической сцены. Я себе дремал, банка себе стояла на моих коленях. Им было проще и удобнее не бежать с сигаретой к пепельнице на столе или подоконнике. Можно было продолжать танцевать и курить, положив руки на плечи парней в полумраке, и нет-нет, перемещаясь, принагнуться и отряхнуть пепел в банку; никакой злой шутки, просто молодость и милое дурачество.

Лабиринт, через путаницу комнат и переходов которого все равно не выбраться (и не понять, но все же почувствовать, что есть еще и третье измерение. Есть пространство третьего измерения и есть птица, которая взлетела над — и которой далось-таки если не запомнить, то все же глянуть на миг сверху).

А тот их мальчик, молодой человек, наглотавшийся таблеток и оставивший ясную записку на столе возле кровати, был уже далеко. Его сожгли. Они пошли к нему в колумбарий, в тот нескончаемый лабиринт захоронения человеческого пепла в отсеках, комнатах и переходах, который в свой черед обогащен дополнительным лабиринтом иного измерения — лабиринтом небольших плит на стенах, с ладонь величиной, на которых еще более мелки фотографии с датами рождения и смерти: лабиринтом лиц, которых уже с нами нет и из которых тоже уже не выбраться, не осилить и не упомнить, а только взлететь над.

Они пошли к нему в колумбарий, потому что любили его и (пока еще) помнили, а еще потому, что жизнь стаяй ведет к стайной забывчивости; они пошли, а я только вспомнил.

Случалось, разумеется, видеть по телевидению, как поутру бежит здоровья ради по специальному тренажеру человек в своей красиво обставленной квартире. Бежит он быстро. Делает бег, избавляясь от гиподинамии. Какой-нибудь финн или норвег. Бежит и бежит на одном месте, а тренажер, легко скользящее полотно тренажера так и проскакивает под его крепкими ногами, — представим себе, что бежит

он вечно, бежит всегда, бежит каждый час и каждую минуту, этот хорошо видный на экране круглолицый финн или узколиций норвег, и полотно тренажера скользит, летит под ним тысячелетье за тысячелетьем. Это и есть трудолюбивый ангел или даже бог, сражающийся с миром зла в нас и за нас, — в то время как мы можем этого и не знать. Частицами тренажерского полотна мы мелькаем и мелькаем под его ногами, поколение за поколением, шаг за шагом (к примеру, почти промелькнули наши сталинисты). Если же говорить о том, как мелькает не поколение, а отдельный человек, это уж слишком краткий миг, доля секунды, мгновение, когда с отдельной пылинкой соприкасается его нога, а он все бежит и бежит, воин, который не убийца.

Нам жаль нашу краткость; пыльца на движущемся полотне тренажера, которого в эту самую четверть мига коснулась мускулистая боевая нога (но все же коснулась!), — и вот уже нет той пыльцы, проскочила куда-то, нас нет, мы умчались.

Олежка, единственный из них экстремист, молчаливый и полный ярости, которую он умел хорошо держать под спудом. Но которая вдруг прорывалась, и тогда он хотел напустить, науськать на умничающих интеллигентов изнуренную толпу. Он весь темнел и шел пятнами, когда касались темы. Он говорил: “Эти высоколобые...” — или: “Эти, дурачащие народ...” — и хотел, разумеется, чтобы умников прибрали к рукам и чтобы тем самым люди, человечество были выравнены. И чтоб никакого дальнейшего расслоения. Все мы должны быть более или менее одинаковы. И быть счастливы или несчастливы — но одинаковы и вместе.

Он был некрасив, в оспинках, припухшие щеки, но молодые женщины его любили. Вот что у Олежки было красиво — глаза. И я думал — ну зачем с такими мыслями и с такой притаенной готовностью к укусу такие глаза?.. Или так думал: озленный мальчик, но зато глаза у него. Хотя бы глаза.

На манер ли нашей гражданской войны, или как в тридцать седьмом, или хотя бы путем эмиграции интеллигенция должна подравниваться под народ, да, да, надо ее подравни-

вать, периодически тем самым от нее и з б а в л я т ь с я, — он любил сдержанно-энергичное слово. Хотя бы путем эмиграции.

— Но, Олежка, послушай. Все это уже было, — сказал ему я. И так получилось в ту минуту, что все смолкли, и даже магнитофон, вечно ревуший, попал на свою паузу или на перемотку, так что сказались мои слова в полной тишине и очень весомо. Все это уже было.

— Было, — кивнул он. И с этой минуты, кажется, меня ненавидел. Посмеивался, когда я приходил. И все иронизировал. Говорил, что меня надо непременно и принудительно заставить копать длинную канаву в восточном направлении, пока не докопаю до китайской стены. А когда я до них докопаю, китайцы научат (это уже, конечно, их проблема, он не смеет им подсказывать) — научат копать канаву дальше. Так что у меня даже на день не получится перерыва. Он язвил. Он покусывал. Он был мальчик. Обыкновенный мальчик. Я грустнел, застигнутый повторением. Я думал, что мыслей выравнивать человечество (мыслей хотя бы в чистом виде) уже нет. Я думал, они у ж е б ы л и. Всадники гражданской войны ускакали в далекую белую пыль, передвигаясь все дальше и дальше. Скрылись — думалось, их уже нет, а они за линией горизонта ни на минуту не прекратили своей скачки и, двигаясь на рысях, торопясь, обогнули, как Магеллан, землю и теперь появились с другой стороны, со стороны юных, появились в пыльных шлемах и, не слезая с коней, сказали:

— Вот и мы.

(Юность. Какая-то совместная поездка. Она. И я. Теплый, немного душный вечер. Костер у реки. И... вдруг утопленник. Какой-то бородатый старик лежит в подштанниках на берегу реки, на груди крестик. Люди стоят. Люди толпятся, разглядывают, и мы вдвоем — она и я — тоже хотим протиснуться, и я не выпускаю ее руку, тяну за собой, лезу сквозь людей. И тут кто-то дает мне по башке. Толкает меня. И других тоже толкает, отпихивает: “Ну-ка убирайтесь! ну-ка!.. нечч-чего тут смотреть!” — он толкает, гонит нас, как милиционер. Не знаю, кем он был. Во многих мужчинах

просыпается милиционер в минуты возбуждения малой толпы (большая толпа — совсем другая тайна), тем более если мужчина крепок и если возбуждение толпы так или иначе связано с человеческой гибелью. И мы ушли. И я, и она. Мы так сразу и легко подчинились.

Мы пошли вдоль реки. Мы были довольно симпатичной парой. И с некоторой натяжкой я мог бы вспоминать нас, как эту распавшуюся пару — Машу и того юношу, наглотавшегося таблеток.) ...Вьюга, ветер под ногами метет снег, я возвращаюсь домой и думаю о недостаточно реализовавшейся моей юности, о некоей духовности, которая могла возникнуть в дополнение моему “я“, но не возникла. Развилка тропы. Ее замело снегом — снегом первой той московской зимы. Затем занесло снегом второй московской зимы. Затем снегом третьей зимы, и так каждый год заносило снегом. Я сокрушаюсь — мол, был же божий шанс. Был. Не истерика, не скорбь, но думать об этом мне горестно. Конечно, был. Возможно, в эту минуту я преувеличиваю свое огорчение, так как огорчен я был, когда сидел у них в углу в старом кресле. Когда слушал их и когда завидовал их юности, а потом напился, забылся, полудремал, и отодвинутое забытьем огорчение нагнало меня позже. Вот только теперь нагнало, и я его переживаю.

Соседствующий кусок юности — это когда я, студент университета, приехал в поселок, а там умерла моя двоюродная или даже троюродная тетка, а я пришел (кто-то сказал: пойди! пойди!..) в ее дом и по молодости слонялся там, не знал, что делать. В избе было темно и прохладно. Двое мужиков сбивали большой стол. Вокруг хлопотали, варили холодец, заботились о поминках. А я, слоняясь, видел тихие поборы. Суть их проста: когда человек умер, в его дом или в избу набивается разного народу, и непременно найдутся люди, старые бабки, почти ритуальные воровки, которые обязательно прихватят в общей суматохе вещь, чаще всего из одежды покойного или покойной. Дом стоит в эти горестные часы незащищенный, родные, конечно, не помнят или не уследят, а покойница, бедная, тоже обойдется на том свете ангельскими заботами. (И, конечно, одежонки теплой с узорами не хватит, и нам ее не сочтет.)

Тетка лежала на высокой лавке, и как раз с нее сняли кофту, теплую кофту далеких тех времен, когда одежда была просто одежда, кажется, и без названия, но с четкой функциональной направленностью: на зиму, на осень, на лето. Вероятно, тетку переодевали, стали обряжать, потому что всех, кто мужчины, выгнали, и вот уходя-то, поторапливаемый, я вдруг прихватил ее кофту. Так получилось. Моя рука тоже вдруг взяла, я так и вышел держа, пронес в другую комнату и только тут ощутил, что кофта — теплая. Она была теплая ее теплом. Вдруг осознав, что я забрал вещь и что это ведь стыдно, я потерялся и ничего лучше не придумал: сунул кофту себе под пиджак. И там, под пиджаком, кофта была теплая.

Примечательно, что я не взял, скажем, икону (а там были по меньшей мере две великолепные иконы), ни ее молитвенник, ни старое Евангелие. Я ведь не вспомнил о человеке, которым была моя тетка, о ее духовности. Уже вовлеченный в зигзаги общественного развития, я только и смог по старинному ритуально взять (хорошо хоть этого не утратил), на уровне туземца прихватить ее вещь, растаскивание как вид памяти и продолжающейся жизни умершего, — и теперь опять слонялся без занятий в сенях и у крыльца, входил и выходил и ощутил наконец холод на том месте моего тела, где была прижата кофта. Возможно, меня уже тяготила нелепость поступка (ритуальность, сработав, испарилась?). Я вынул кофту, когда никто не видел, повесил ее тут же в сенях на старинный большой крючок: кофта была не холодная, уже с моим теплом.

Тонкостенный стакан молодого человека, наглотававшегося таблеток. (И стопка-стаканчик шпиона. И кофта умершей родственницы.) Вещизм?.. След, который не остался, хотя и остался. И равнодушные стаканы краскою вечною сиять. Люди ушли, из их вещей пьют другие — небрежность замысла? или как раз напротив — сам замысел?.. Или даже помимо замысла — пей, если стакан остался.

Я чувствую себя в них, но я не пытаюсь понять себя через них (слава богу, наконец мне это удалось!) — дышу их

воздухом, сижу, ворую частички их бытия, в то время как они играют в карты или млеют в танце. Гремит их музыка. Ощущение выпитого смыкается с ощущением долгой дороги и краткого привала на ней. Разновидность самоутешения. Кажется, что времени и возраста нет, забот нет; только дорога.

Был час ночи, когда я ушел от них, — вышел и стоял уже очень пьяный на лестничной клетке, решаясь и отчасти не решаясь спуститься по лестнице по причине плохо слушающихся ног. А Олежка вышел следом, непонятно зачем; стоял сзади меня. Он и я, только двое.

Покачиваясь, я боялся, как боятся все пьяные, ступить первым шагом. Лестница была крута. Я чувствовал, что Олежка как бы из воздуха возник и теперь стоит сзади. Возможно, он колебался. Все же он не столкнул меня вниз, хотя в ту минуту это не стоило бы ему особых физических усилий. (Возможно, он пожалел. Или же подумал, что дальше со мной будет много возни, что я поломаюсь, стану стонать, и как ни бессознателен буду я после падения, к тому же и пьяный, ничего не соображающий, все равно они все (и он, возможно, тоже) начнут туда-сюда бегать, звонить по телефону, нести меня на руках, также и девчонки, переставшие танцевать, чтобы только поохать, — течение вечера, несомненно, сломается, это уж ясно. Возможно, вечер он и пожалел, хороший вечер.) Не столкнул. Я медленно ковылял по ступенькам, растопырив руки, держась то за стену, то за крутые скользкие перила. Шатко, неуверенно топал. Когда, одолев первый марш вниз, я персвел дух и оглянулся, он стоял сзади как бы на высокой горе и зло крикнул мне сверху: “Ступай, ступай! И чтоб духу твоего здесь не было!..” — а я улыбался ему, пошатывающийся, ничего в ту минуту не понимая. Улыбался приветливо и пьяно винясь: до свиданья, дружище... мол, извини.

Он не сказал мне — и больше не приходи! мол, тут тоже твоя развилка! — не сказал и не знал он этого слова, но “р а з в и л к а” вспыхнуло в моем сознании само собой. Мгновенная фантазия неслучившегося.

Я вышел на улицу, на снег. Стоял теперь на снегу, по-

шатываясь и глядя вверх. В трех их окнах горел яркий свет. Доносилась даже их музыка. Возможно, я чуть протрезвел. Силуэты двух девушек, одна из них, кажется, Маринка, но не Маша. И еще высокий парень, отсюда неузнаваемый. Я смотрел на их окна — и смотрел выше, на белую муть падающего снега; меня охватило тихое ликование: я жив. “Я жив”, — повторил я себе самому вслух, вбирая отсюда вновь силуэты девушек, и с ними высокого парня с сигаретой, и где-то за их спинами убогого Алика и экстремиста Олежку, который меня не столкнул. Длющаяся жизнь и они, молодые, — все вместе составляло сейчас мое ощущение, мое переживание. И одновременно ощущение благодарности за то, что мне дано это переживать; дано мне не за что-то, а просто так.

Следующее, что я увидел сразу после моего отважного и нелегкого спуска по крутой лестнице, — снег; чудо снега. Освещенный из окна пучком лучей, лежал под моими ногами квадрат снежной пыли, если поточнее, параллелограмм. А за отделяющей граничной он только посверкивал из бархатной темноты.

Снег лежал в этом скошенном квадрате. И одновременно снег падал. Он появлялся снежинками в световом пучке и, ложась, добавлял снега, добавлял самое себя. Опьянение подталкивало меня что-то вспомнить, уже пробудило, но не давало никак расшифровать — жизнь моя попадала сейчас в рифму с их молодостью (и с моей молодостью). Я вспомнил, но не знал — что. (Воспоминание уже покачивалось во мне, как лодка на плаву). Оклик, ауканье, несомненно, были отсюда. Расшифровать не умел, но одновременно точно знал — меня окликнули. В горле медленно собирался ком. Не умеющий на столь пронзительный оклик ответить и достаточно сильно пьяный, я стал на колени и так стоял: этого стояния для ответа было мало, было недостаточно, так как, не приученный к ритуалу, я всегда и загодя боялся фальши. Но ведь одновременно (и это главное) я боялся и загодя боялся фальши. Но ведь одновременно (и это главное) я боялся спугнуть самого себя, притушить несильное колыхание души. И потому только топтался и топтался в снегу на коле-

нях на освещенности скошенного квадрата, тогда как ком в горле все накалил.

Снег летел. Конечно, не миры, чего уж преувеличивать, но и не просто же снежинки летели и летели сверху, если я вот так требовательно спрашивал с них смысла. (А они — с меня.) Жизнь во мне на эти секунды замерла, словно бы усомнившись в чем-то слишком огромном, чтобы об этом подумать живому человеку. Снег падал, снег засыпал, заваливая все подряд. Накрывая давнего юного меня, и тот костер у реки, и бородача-утопленника (и его колоды-ноги), уже десять снегов завалили ту развилку юности, некий проблеск, который был мне дан, ощущение великолепного подъема на той степной дороге, — какие десять, с ума сошел! если счесть, уже десятки снегов засыпали и завалили, и ведь как надежно, как сильно завалили, не откопать.

И я (живой, но уже раздражающий кого-то своим существованием), и она, та девушка (уже пожилая женщина, тоже не умершая), и тот мужик, что преобразился в милиционера, и люди из толпы, которых он расталкивал, — многие из них еще живы и сейчас топчут снег ногами, как я топчу его коленями. Мы все в эту минуту над снегом.

Сколько умерло, молодых и не молодых, но жившие жили через тот снег и через следующий, через пятый — а это стоило благодарности. В том и суть, что нас, живых, сохранили, нас сберегли и как бы провели через эти сменяющиеся, ежегодные снега, все и вся завалили, а нас провели как бы за руку, и вот мы еще на нем, на белом. Подумав о благодарности, я и точно узнал ее среди других моих чувств. Я впал в благодарность. Особенную радость как раз и внушало то, что мы, сохраненные, обычные, незначительны, даже просто малы, как в массе, так и порознь, — малы, а вот ведь нас сохранили. Нас оберегли. Нам дали это просто так. И безоценочно. Именно что не оценивая ни тех, ни этих. Тем самым нас вряд ли хоть сколько-то заметили, а жить дали. Просто так.

Но ведь я и хотел в ту минуту побыть помимо всех и иных чувств, кроме благодарности. Хотел побыть, думая о снеге будущего года, — молитва о жизни? А почему нет?.. И не только в том властном смысле, чтобы дожить до будущего

снега или чтобы попомнить об этом скошенном квадрате, но опять же о прямой благодарности: о том, что не упал сам и что не столкнули с лестницы, сильно пьяного (когда душа сама рвалась к богу, и путь к нему, чуть подтолкни, был совсем прост и как бы даже естествен — лети!) — я без труда представил себе дробный шум падения тела, сухое раздира-ние мышц, переломы, вовсе не болезненные в первую мину-ту, ну, еще удар головой, не береги голову, вот это единст-венное, что уже вошло в опыт. Не береги голову. И будь благодарным.

Духовность не зря же называют пищей: насыщает. И также возникает предел насыщения, почти тотчас за благо-дарностью. Вот с ней и уйди, повторял я себе, бормоча и вставая на разъезжающиеся в снегу ноги. Вставай, и пошли, пошли. Больше душа не примет.



ИГОРЬ ИРТЕНЬЕВ

ЕЛКА В КРЕМЛЕ

Объявлен Новый год в Кремле
Декретом ВЧК,
Играет Ленин на пиле
Бессмертного “Сурка”.

Смешались нынче времена
За праздничным столом,
Идет Столетняя война,
Татары под Орлом.

Какая ель, какая ель
В Кремле под Новый год,
Такой не видывал досель
Видавший все народ.

На ней усиленный наряд
Из пулеметных лент,
Висит матрос, висит солдат,
Висит интеллигент.

...Метет, метет по всей земле
Железная метла,
Играет Ленин на пиле,
Чудны его дела.

Его аршином не понять
И не объять умом,
Он сам себе отец и мать
В лице своем одном.

В ночи печатая шаги,
Проходит через двор,
До глаз закутан в плащ пурги
Лубянский командор.

Железный лях, а может, Лех,
Руси Первочекист,
Он принял грех за нас за всех,
Но сам остался чист.

Подводит к елке Дед Мороз
Снегурочку-Каплан,
Он в белом венчике из роз,
Она прошла Афган.

В носу бензольное кольцо,
Во лбу звезда горит,
Ее недетское лицо
О многом говорит.

...Играет Ленин на пиле
“Заветы Ильича”,
Плутает разум мой во мгле,
Потупилась свеча.

На хорах певчие блюют,
И с криками “Ура!”
Часы на Спасской башне бьют
Бухие любера.



БОРИС ВАСИЛЕВСКИЙ

ВАЛДАЙ

“Валдай“ Бориса Василевского написан в 1972 году и до самого недавнего времени отвергался “Новым миром“, “Знаменем“, “Москвой“, столичными издательствами за “натуралистичность“. По уверению автора, сегодня, когда страницы периодики отданы конъюнктурной “чернухе“, писать “Валдай“ он не стал бы. В эпоху безгласия рассказ был протестом против всеобщей немоты и благополучной литературы в те времена, когда насилие над душой и плотью было обыденным явлением. Борис Василевский родился в 1939 году. Окончив школу, уехал в Сибирь на строительство тамошних ГЭС. Бил шурфы на Братской, начал Усть-Илимскую в изыскательской партии. Напечатался впервые в 1967 году, в газете. После филфака МГУ работал учителем на Чукотке. Автор многих книг, среди которых: “Для дерева есть надежда“, “Снега былых времен“, “Отчет“, “Конечная Земля“.

“О! если бы человек, входя почасту во внутренность свою, исповедал бы неукротимому судии своему, совести, свои деяния. Претворенный в столп неподвижный громopodobным ее гласом, не пускался бы он на тайные злодеяния, редки бы тогда стали губительствы...”

Радищев “Путешествие из Петербурга в Москву”

I

Возвращаясь из Ленинграда в Москву, избрал я необычный для командированного путь, через Новгород, и остановился в Валдае. Небольшой этот городок стоит над живописным озером, по берегам которого много пионерских лагерей, есть дома отдыха и пансионаты. Была лишь середина апреля, народ еще не нахлынул. Автотуристы, проезжавшие по трассе Москва — Новгород, почти не задерживались здесь, спешно обедали в ресторанчике на площади и устремлялись дальше, в “древнейший русский город-музей”. Весьма современного вида гостиница — точно такие встречал я и в Крыму, и в Закарпатье, и во многих других местах — пустовала, комнату мне дали беспрепятственно.

Дел у меня здесь не было. Остаток дня я побродил по Валдаю. Припомнилось мне, что Радищев в своем “Путешествии” посвятил этому городу единственную, пожалуй, лишнюю обличительного пафоса главу — напротив, с какой-то даже снисходительностью повествовалось в ней о легкомысленности здешних нравов. И когда на пригорке увидал я церковку, где помещался краеведческий музей, то, естественно, захотел узнать, хранят ли валдайцы эту компрометирующую их книгу. Например, в витрине, на черном или красном бархате, и обязательно раскрытую на той главе. К сожалению, рабочее время кончилось, музей был закрыт. Из

предприятий наткнулся я на небольшой рыбозавод. Имелись, наверное, и другие производства. В ближайшие годы в Валдае намечалось построить фабрику верхней женской одежды, а в совхозе “Валдайском” — птицефабрику на 250 тысяч кур-несушек. Об этом прочитал я в соцобязательствах района, вывешенных на площади. Был вечер, теплый, субботний, по площади прогуливались люди, то и дело здороваюсь, а то и останавливаясь поговорить друг с другом. В поведении их, право же, не было ничего предосудительного, что и Радищев, мне думается, с удовлетворением бы отметил...

На другой день собрался я на остров, к Иверскому монастырю. До острова было километра два. Вся последняя неделя была солнечная, теплая, но лед на озере не раскис еще, сверкал, только полоса дороги темнела. Множество рыбаков сидело над лунками. У берега приткнулся туристический автобус, пустой. Толпа туристов в ярких плащах и куртках вывалилась из монастырских ворот мне навстречу, когда я подходил к острову. Пройдя сквозь арку надвратной церкви, я увидел, что монастырь обитаем. Во дворе оказались дома, целая деревня. Слева от ворот, прямо в стене, был магазинчик, я зашел. Продавщица на мой вопрос принялась охотно рассказывать, что живет здесь человек сто пятьдесят, а работают кто на реставрации, кто в городе, только вот добираться трудно до города, сейчас по такой погоде через день-два лед распалится, а в обход через паром двенадцать километров...

Возле домов ребятишки играли в лапту. Мальчику с палкой в руках подкидывали мяч, он размахивался, все приоттавливались бежать, но мяч падал рядом, а бита впустую со свистом рассекала воздух. “Он не может на отмашке“, — говорили дети. “Костьк, иди к нам на отмашку“, — просили они мальчика постарше, кружившего тут же на велосипеде. “А ну вас“, — отвечал Костька и уезжал.

Монастырь действительно реставрировался: собор и дальняя угловая башня были в лесах, а вдоль стены, изнутри, шла галерея со свежими деревянными перилами. Стреления не обладали свободой и величием новгородских, но мне нравилась идея: остров и храм. И было здесь как-то мирно. Близ церковной стены сохранились несколько старых

обомшелых надгробий. На одном из них еще в 1861 году начертали:

Господь, в тотъ день, когда труба
Вострубить мира представленье,
Приими усопшаго раба
Въ Твои блаженныя селенья.

Через пролом в стене я выбрался наружу. Сквозь старые деревья недалеко виднелось озеро. Пахло разогретыми хвоей, землей, смолой. Со стволов при моем приближении с недовольным гудением снимались рои мух и, покружившись, садились на прежнее место. Из зарослей выглянула кошка и долго и внимательно глядела на меня... И от всего этого — от запахов, от детских криков за стеной, от игры полузабытой, которую я сам когда-то любил и тоже не мог на отмашке, — неудержимо захотелось мне побыть здесь подольше, посидеть, развести костерчик...

По тропинке я обогнул монастырь, с наружной стороны его также были пристройки. Навстречу попалась молодая женщина в телогрейке с корзиной картофеля.

— Картошки не продадите мне? — спросил я, поздоровавшись.

— Сколько ж вам?

— Да штук десять, для костра.

— Ой, штук десять, да берите так! — воскликнула женщина, ставя корзину. — Берите, еще берите, картошка — она едучая!

— Спасибо. Может быть, яиц продадите?

— А яиц нет... Вон, у бабушки могут быть.

Она указала на дверь в каменной монастырской стене. Я вошел, тут было нечто вроде сеней, повернул в следующую комнату и увидел бабушку.

— Мало, мало у меня нынче яичек, — сказала она на мою просьбу.

— Да мне два-три.

— А, ну два-то-три есть.

У стен стояли большие деревянные лари. Старушка открыла один, там в решете лежали яйца.

— Свеженькие яички.

Я достал рубль. Она начала отказываться.

— У меня и сдачи не будет.

— А вы, бабушка, вместо сдачи дайте мне, если можно, щепотку соли, одну луковицу и кусок хлеба.

— Да ты никак праздновать собрался? — засмеялась она.

— Именно что — праздновать, — сказал я, и пока она собирала мне, оглядел большую с высокими сводчатыми потолками комнату.

— Просторно вы здесь живете.

— Я не одна, тут еще бабушка, а тут я, старая, — она показала на две маленькие дверцы между ларями.

За дверцей обнаружилась крохотная келейка.

— Топлю тут. Ну, празднуй, с Богом! А подружка-то твоя где?

— Один я.

— Сам?! — удивилась она.

— Один, — подтвердил я. — Посижу на берегу, хорошо тут.

— Хорошо, хорошо. Место Божье...

С моими припасами я вернулся к зарослям, прошел сквозь к самому берегу. Здесь редко стояли большие сосны, чернели давние кострища. Выбрав место на солнышке, я начал не спеша раскладывать костер — занятие, которое очень люблю. У основания елочек в чаще набрал я мелких сухих веточек, потом, подпрыгивая, поотломал у сосен отмершие сучки потолще, сложил все это шалашиком. С озера дул ветер, несильный, но довольно упорный. Видно было, как надо льдом вдали неся волнами разогретый воздух. Костер мой занялся быстро. Я расстелил пальто и сел. Давно не испытывал я такого покоя. Хорошо сказала старушка: праздновать. Я праздновал покой. Откровенно говоря, я что-то в этом роде и предчувствовал, когда остановился здесь. В Москве меня ждали дом, семья, служба, привычный круг забот и обязанностей — о, я не роптал, не тяготился ими, напротив, я даже любил эти заботы и обязанности, как любил тех, ради кого они были, и этот короткий праздник позволял себе не для того, чтобы пере-

дохнуть, а чтобы еще раз осознать, как люблю их. И сейчас, сидя в одиночестве, я о них думал. “Приехать с ними в отпуск, — говорил я себе, — поселиться здесь, на острове, или на том берегу, есть там, по слухам, деревни совсем пустые...”

Между тем испеклись яйца, одно из них лопнуло с коротким фыркающим звуком, разбросав золу. Пospела и картошка, и я вернулся к своему детству, а потом долго еще сидел, глядя на озеро и дальний лес в какой-то полудреме, в блаженном оцепенении. Солнце перемещалось над деревьями, вчерело, лед синел. Запахи исчезали. По озеру, гулко гремя сапогами, проходили рыбаки с ящиками за плечами, с коловоротами в руках. Собрался, наконец, и я. У ворот монастыря на лавочке сидели женщины, среди них та, молодая, у которой брал я картошку.

— Погуляли? — окликнула она меня.

— Да, спасибо, до свиданья.

Отойдя, оглянулся я на монастырь. Башни и главы его потемнели, зато силуэты их ясно очертились на фоне вечернего неба. “Так, храм оставленный — все храм...” — вспомнилось мне. Были, конечно, у человека и другие сооружения, гораздо более свидетельствующие о мощи его рук, более величественные и пышные, чем такой вот заброшенный, полуразвалившийся монастырь, но — не было в них этой простоты, тишины и несуетности, свидетельствующих о глубине и сосредоточенности его духа... Я вдруг представил себя, бредущего под этими стенами лет двести тому назад. Отлично была известна мне относительность законов, управляющих микромиром человеческой души, знал я, что иные ускорения возникали бы тогда в моем уме, иное одолевало бы меня беспокойство. Не обольщался я и насчет совершенства людей, живших здесь в то время и теперь ожидающих под теми камнями. Но над их несовершенством и суетностью, казалось мне, царила единая и строгая, как этот вечерний силуэт, идея. А у города, видевшегося сейчас впереди, не было такого силуэта — хоть и маленький он был, а разбросался беспорядочно вдоль берега, и мерцали, переливались, перебегали беспокойно с места на место его загоревшиеся к ночи огни...

II

Поезд мой назавтра уходил только вечером. День обещал быть так же хорош, но на остров я не пошел — по суеверной привычке не испрашивать у судьбы больше того, что она сама случайно даст... Внимание мое привлекла небольшая кучка военных, собравшихся возле домика с вывеской “Народный суд“. Они курили, переминались, ждали чего-то. Очень молоденький лейтенант с кабурой у пояса выделялся среди них озабоченным видом. Рядом с домом была подворотня, куда он то и дело заглядывал. В глубине ее стоял солдат с автоматом.

Я вошел в дом, поднялся по деревянной истертой лестнице. Зал заседаний был пуст. На двери висел листок с фамилиями судьи, подсудимых и номерами статей Уголовного кодекса. Номера эти мне ничего не говорили. Появилась женщина с бумагами, секретарь, стала раскладывать их на отдельно стоявшем столике. Заседание должно было вот-вот начаться. Я сел на последнюю скамью. Пришли и военные. Один, в годах, был капитан, насколько понимаю я в знаках различия, остальные — старшины, что ли: широкая такая продольная полоса на погоне. Они явно томились. Двое схватились бороться, и у одного отлетел какой-то значок. На мгновение заглянул молоденький лейтенант, нахмурился, увидав меня, и исчез. Спустя минуту как-то неожиданно возник на пороге солдат с автоматом, открыл дверцу загончика, отделяющего скамью подсудимых, и туда быстро, первый даже споткнулся, проскочили трое ребят. Следом вошли еще солдат и два милиционера.

Подсудимые вертели стриженными головами, перешептывались, ухмылялись, подмигивали сидящим в зале, всем своим видом показывая, что все им нипочем.

— Сколько тебе оставалось-то? — спросил капитан одного из них.

— От сегодняшнего дня пять месяцев девятнадцать дней, — бодро ответил тот.

Капитан с укоризною покачал головой. Пришли адвокаты, мужчина и две женщины, каждый тихонько переговорил о чем-то со своим подопечным. Опять заглянул лейтенант,

ввели еще одного стриженного и посадили отдельно, перед судебским столом. Он посмотрел на тех троих, лица их замкнулись на миг, стали высокомерны, потом они снова принялись ухмыляться и перешептываться. Пришел прокурор, тоже женщина. Все встали, появились судья и два заседателя. Судья попросил свидетелей подождать пока в коридоре, капитан и старшины вышли, слушание дела началось.

Судья по очереди спросил у подсудимых имена, фамилии, год и место рождения, образование и прочие анкетные сведения. Всем троим было по двадцать — двадцать два года, закончили по восемь-девять классов. Спросил также статьи, по которым судились ранее, на какой срок были осуждены и с какого года отбывают наказание. По срокам — пять-шесть лет в исправительно-трудовой колонии усиленного режима — можно было заключить, что преступления за ними числятся довольно серьезные. Потом адвокаты, каждый своему, задали вопрос о семьях, судья объявил состав суда и сказал, что у подсудимых, прокурора и адвокатов имеется право предъявить отвод составу суда. Отводов не последовало. Судья начал читать.

“Подсудимый Шахов обвиняется в том, что 7 февраля, будучи помещен в штрафной изолятор, камера N 14, по предварительному сговору с другими обвиняемыми, Банщиковым и Парфеновым, избивал потерпевшего Ерофеева, нанеся ему легкие телесные повреждения без причинения ущерба здоровью. После чего под угрозой нового избиения принудил потерпевшего Ерофеева брать в рот его половой член и сосать. Вечером того же дня совершил с Ерофеевым акт мужеложства... На другой день, 8 февраля, снова заставил Ерофеева брать половой член и сосать. Вечером того же дня снова совершил с потерпевшим акт мужеложства. После чего заставлял его пить мочу и лишал пайки хлеба... Обвиняется в групповом циничном издевательствах над потерпевшим в извращенной форме...”

Затем следовали обвинительные заключения на Банщикова и Парфенова, составленные примерно в тех же выражениях. Лица потерпевшего Ерофеева я не мог видеть, он сидел спиной ко мне, опустив голову. Был он в рабочем костюме, хлопчатобумажной куртке и брюках, подсудимые бы-

ли одеты почище, попримечнее. Они посерьезнели, слушали внимательно, правда, Банщиков, тот самый, которому оставалось пять месяцев девятнадцать дней, продолжал крутиться и посмеиваться. Окончив чтение, судья спросил, признают ли подсудимые себя виновными. Все трое отвечали по очереди, что да, признают, но частично — в циничном хулиганстве. Насилия же не совершали и акта мужеложства не совершали.

Приступили к опросу подсудимых. Первым встал Шахов. Был он коренаст, широколиц, смугл. Говорил медленно, словно припоминая то, что давно следовало бы забыть. Рассеянно потирал лоб. Начал он с того, что попал в шизо.

— За что вы попали в штрафной изолятор? — перебил судья.

— За пьянство в жилой зоне... Ну, вошел в камеру, поздоровался. Было там человек одиннадцать, но срок почти у всех заканчивался, и скоро осталось нас пятеро: Парфенов, Орлов, Банщиков, Ерофеев и я. Ну, сначала ничего, потом Банщиков и Ерофеев, ну, поссорились, что ли. Началось в бане. Раньше из шизо не водили в баню, теперь стали водить... Помылись мы, и Банщиков говорит Ерофееву: мылся, мылся, а не отмылся. А Ерофеев засмеялся и сказал: ты бы помыл, ведь ты Банщик... В этом роде. Банщиков рассердился и говорит: погоди, придем в камеру, я тебя помою. В камере он хотел избить Ерофеева, но Орлов заступился. Он всегда за него заступался. А я сказал: Орел, что ты за него всегда заступаешься? Пусть дерутся один на один, по справедливости. Орел сказал: да, действительно, надоело уже заступаться, пусть дерутся. Ерофеев первый ударил Банщикова, и они сцепились. Драки-то настоящей не было, так, катались по полу. Потом Банщиков говорит: не могу больше, устал, давай кончать... Он лег и накрылся с головой. Я тоже лег у батареи, ну, думал разное. Смотрю, Орлов с Парфеновым сидят у стены напротив и о чем-то шепчутся. Мне было неинтересно, я не слушал. Потом они Ерофеева подозревали, еще пошептались, потом меня. Парфенов сказал, что договорился с Ерофеевым за продукты питания, что он... ну, возьмет в рот наши половые члены. Я удивился. Как же так, говорю, неужели ты хочешь стать таким, как... ну, назвал

ему кликуху, он знает, сейчас того уже нет в лагере. Ерофеев сказал: да. Тут Орлов его ударил: зачем ты соглашаешься, говорит, дурак, не смей соглашаться... И так несколько раз: он то отказывался, то соглашался. Наконец, сказал: хорошо, только после оправки, а то контролеры заметят. Я подумал, что он с оправки не вернется в камеру, попросит перевести его. Но он вернулся. Парфенов подошел к нему и спросил: так как же? Он сказал: как договорились. Тогда Банщиков скатал четыре бумажки, одну запачкал. Орлов вытащил запачканную, но сказал, что первым не будет, пусть кто-нибудь другой. Он сказал, что Ерофеев был его другом и не годится ему первым. Пошел я. За мной Банщиков. Ерофеев, видимо, сделал Банщикову больно, и тот ударил его по шее. Потом подошел Орлов, потом Парфенов. Потом мы спросили его: значит, правда, что про тебя раньше говорили? Он ответил, что теперь ему все равно, да, правда... Парфенов сказал: давай еще. Нет, я устал, Ерофеев говорит, лучше давайте совершим акт мужеложства. Он ушел в угол и лег. Я подошел и лег рядом с ним. Но у меня ничего не получилось. Да ну его, ребята, говорю, ничего не получается. И отошел. Пошел Банщиков, у него, не знаю, получилось или нет, я не смотрел. Парфенов с Орловым отказались, сказали, что еще будет время... Да, Ерофеев нам потом стал рассказывать, что и раньше это делал, еще на "малолетке" и в Москве. Называл разные кликухи, я одну запомнил — Сэм. Не врал, значит... Ночью нам не спалось, рассказывали друг другу разные книжки, и Ерофеев рассказывал. Утром он меня разбудил: ты, говорит, выходишь завтра на зону, не говори там ребятам, ладно, а я у тебя за это возьму... Ну и все.

Судья спросил, есть ли вопросы к подсудимому.

— Как вы считаете, почему Орлов раньше заступался за Ерофеева и вдруг не стал? — поинтересовался кто-то из адвокатов.

— Я не знаю, почему, но мне кажется, что он был зол на Ерофеева. Мы все были на него злы, потому что у него помели махорку, общая была махорка, она в шизо на вес золота. Он ее спрятал в носок, и у него нашли.

— Вы не били Ерофеева?

— Нет. Там говорится, что я отнимал у него хлеб, но это неправда, я даже ему свой суп отдал, он может это подтвердить.

— У вас есть вопросы к подсудимому? — спросил судья Ерофеева.

— Есть.

Ерофеев встал. Был он высок, тонок, куртка на нем болталась.

— Так ты говоришь, Шахов, что не смог совершить акт мужеложства?

— Не смог.

— У меня нет больше вопросов, — коротко сказал Ерофеев и сел.

Настал черед белобрысого, с розовой кожей Банщикова. От него можно было ожидать какого-нибудь шутовства — все это время глазки его весело шурились, рот раздвигался в глупейшей ухмылке, — но, поднявшись, Банщиков прекратил вдруг всякое кривлянье, и речь его оказалась весьма серьезной.

— Орлов знал Ерофеева по Москве, они оба оттуда, и Ерофеев шестерил у Орлова: отдавал ему свое молоко, стирал, шел за него в изолятор. А Орлов за него заступался. И когда кто-то пустил по зоне слух, что Ерофеев педераст, Орлов нашел того парня и спросил: а какие у тебя доказательства. Тот сказал: никаких. Тогда возьми свои слова обратно. Тот парень извинился. А в бане я действительно сказал в шутку: мылся, мылся и не отмылся. Но Ерофеев знает, что Орлов за него заступится, и потому много себе позволяет. Нагло, короче, себя ведет! В камере мы подрались. Здоровье-то у меня слабое, я обессилен, сказал, хватит, и лег. Потом я слышал разговор Парфенова с Орловым. Парфенов рассказал, что раньше еще Ерофеев предлагал ему акт мужеложства — за татуировку. Парфенов тогда не согласился. Орлов сказал: надо же, а я-то с ним дружил, ну теперь пусть идет к черту, дружить я с ним не буду! Весь этот разговор я слышал, хотя они и не знали. А Ерофеев-то испугался, что остался без защиты, подошел ко мне и говорит: извини, я виноват, ну, хочешь, избеи меня. Но я не стал, сказал: а по-ди ты, крыса! Тут Парфенов и начал приставать к нему:

расскажи-ка ребятам, что ты мне предлагал! И тот рассказал. Парфенов говорит: может, и сейчас предложишь? Ерофеев ответил: да. Тогда Орлов его ударил. Он ударил его потому, что Ерофеев согласился, а раз он согласился, нельзя с ним больше дружить, а то на зоне скажут: связался с пидаром! У нас за это презирают и бьют. А Орлову ведь не хотелось лишаться шестерки... Ну, после оправки Ерофеев ушел к себе в угол, а мы стали совещаться. Первым никто не хотел, тогда я скатал бумажки и одну замарал. Пошел Шахов, потом я. Орлов, глядя на нас, смеялся. Ерофеев оцарапал меня зубом, я легонько стукнул его по шее, говорю, ты что? А он сказал: прости, я нечаянно, ты не бойся... Потом он сам предложил акт мужеложства. Никто не решался, боялись — дело такое! Наконец Шахов решился. Я не смотрел. Он вернулся, говорит: теперь давай ты! Я не хотел: да ну его! Нет, говорит, раз уж все, так и ты. Я и пошел. Ерофеев сам советовал, как делать, но у меня не вышло. Ну, не вышло, и все, я не могу это объяснить! Я отошел, и он спросил: ну, все, вставать? Орлов засмеялся: давай, давай, вставай! А то, что в обвинении написано про насилие, так все Ерофеев врет, граждане судьи! Он сам говорил: хорошо, хорошо, еще!

Судья спросил, есть ли вопросы.

— Так кто же, по-вашему, инициатор, с чего все началось?

— А никто. Никто и не хотел, и не думал. А началось все со слов Парфенова, что он и раньше...

— Где же все это происходило? — изумленно спросил один из заседателей. У него давно уже был этот изумленный вид. Смысл его вопроса, видимо, был другой, но Банщиков истолковал его буквально.

— Происходило в углу, есть в камере такой угол, который контролерам не видно. Там нары и скамеечка, мы сидели на нары, а он подползал. Там же и на пол ложился, В том углу... А хлеба у него никто не отбирал, наоборот, он сам все объедки доедал, из всех мисок. И насилия не было, он же мог крикнуть, если бы сопротивлялся, там же все слышно — малейший хипиш, и набежали бы!

— Вот вы говорите, — начал другой заседатель, — что

не хотели... этой мерзости, а Ерофеев якобы хотел. Отчего вы сами не попросили убрать из камеры этого человека?

— Я один не мог за всех решать, — пожалв плечами, ответил Банщикков. — Может, другие были бы против...

Опустившись на скамью, он сразу утерять свою серьезность, снова начал корчить рожи и усмехаться. Иногда они с Шаховым наклонялись так, что их совсем не было видно за барьером. Парфенов же как сел, так и застыл, прямо, не шевелясь. Худое жесткое его лицо хранило презрительное выражение. Юный лейтенант несколько раз менял своих солдат, поглядывая на меня с явным неудовольствием. Я был единственный посторонний слушатель этого дела.

Вызванный судьей, встал Парфенов.

— С Ерофеевым я познакомился, когда он пришел ко мне и попросил сделать ему наколки...

— Простите, а чем вы делали наколки? — спросил судья.

— Черная тушь и игла.

— А где брали тушь?

— Резину пережжешь, вот и тушь.

— Но у Ерофеева голубые наколки?

— Черная всегда голубой цвет даст... Так вот, подошел он и сказал: можешь мне сделать наколки? Я говорю: могу, а чем платить будешь? Договорились, что он мне выбьет ларек. Пять наколок — пять ларьков. Когда я сделал, он вдруг спросил: а может, по-другому? И предложил акт мужеложства. Я его прогнал. Он вернулся через некоторое время и стал упрашивать: ладно, я расплачусь продуктами, только не говори никому, что я тебе предлагал. Я-то не скажу, говорю я, ты сам, дурак, не болтай. А потом я узнал, что он еще с пересылки пришел с базаром, что занимался этим делом. Брал в рот. Ну, и в шизо решили проверить, правда или нет. А у нас, говорю, возьмешь? Он сказал: да, за ларек. Я говорю: ты мне должен ларек. Он сказал: этот скостишь и еще один. Тут Орел его ударил, и он отказался. Потом я его спросил, чтоб испытать: ну как, надумал? Да... Бросили жребий. Пошел Шахов, потом Банщикков и Орлов. Когда я подошел, то подумал: черт его знает, что у него на уме! И сказал ему. Он говорит: если не веришь, возьми меня за

глаз. А почему не за ухо, спрашиваю. Он сказал, что так его в московском изоляторе брали... Попытки мужеложства с моей стороны не было. Вот все.

— Значит, это у вас было по договоренности? — переспросил судья.

— Что?

— Ну, вот то, что вы давали ему свой половой член.

— А как же я ему без договоренности дам, он же откусить может!

— Насколько я понял, организовывали вы?

— Да, я договорился... Можно вопрос к потерпевшему?

— А вот станем его спрашивать, вы и зададите, — сказал судья.

Поднялся Ерофеев. Я видел его узкую спину, детский затылок.

— Это случилось 7 февраля в штрафном изоляторе. Парфенов приставал ко мне, чтобы я на заднем месте наколол глаза. Я отказывался. Тогда он начал меня избивать. Потом предложил мне это и сказал, что выбьет мне ларек. Они отвели меня в угол и заткнули уши ватой, чтобы я не слышал, что они про меня говорят. Потом они подходили ко мне, первый Шахов... Потом разошлись. После Шахов сказал: давай теперь в задний проход. Я говорю: я устал, я не буду. Ничего, отдохнешь. Потом ставили меня к стенке, били ногами и руками по животу и голове. Потом Парфенов вылил мне мочу в рот. Я выплюнул. Он сказал: ты что здесь грязь разводишь?! Я подтер курткой. Так было три дня: 7-го, 8-го и 9-го. Потом контролер услышал, вошел и вывел меня из камеры. Я сначала не хотел говорить, сказал, что били меня за махорку. Назавтра вызвал меня помначколонии, и я ему рассказал...

— Почему они решили, что эту вещь должны сделать именно вы, а не кто-нибудь другой? — спросил судья.

— Не знаю...

— Раньше с вами так было?

— Нет. Я сам на себя наговорил. Когда они со мной это сделали, я стал рассказывать, будто и раньше это было. Мне уже все равно стало.

— Кто вас больше всех избивал?

— Парфенов.

Парфенов презрительно усмехнулся. Вопросы начали задавать адвокаты.

— Шахов вас избивал? — спросил мужчина, адвокат Шахова.

— Нет.

— Парфенов пытался совершить с вами акт мужеложства? — спросила женщина, адвокат Парфенова.

— Нет, только Шахов и Банщиков.

— Почему вы не попросили перевести вас в другую камеру, не крикнули, когда вас принуждали?

— Они мне угрожали: выйдешь на волю, замочим... Ну, убьем...

— Они угрожали вам, избивали вас перед актом мужеложства?

— Нет, только перед тем, как в рот. А в задний проход, сказали, давай и все.

— Вы предлагали Парфенову рассчитаться за наколки актом мужеложства?

— Нет.

— Значит, он говорит неправду?

— Да.

— Вот вы говорите, что Шахов не бил вас, не запугивал. Зачем тогда вы брали его член?

— Я не знаю, что отвечать, — помолчав, сказал Ерофеев.

— У подсудимых есть вопросы к потерпевшему? — спросил судья.

Встал Парфенов.

— Скажи, кто тебя защищал, когда тот парень сказал, что ты педераст?

— Ты и Орлов.

— Тебя за что били, ты понял?! За то, что ты не соглашался, или за то, что согласился?! — крикнул Банщиков. — Граждане судьи, все врет он! Никто его не принуждал. Это был случай в Новгородском изоляторе, такой же, когда сам потерпевший получил срок... Поэтому он себя и выгораживает! Сидеть тебе неохота, крыса, вот что!

Судья объявил часовой перерыв. Солдаты вывели сначала подсудимых, потом отдельно Ерофеева. В коридоре по-прежнему томились свидетели. “В повестке написали зачем-то к девяти явиться...” День был еще теплее вчерашнего. Лед на озере заметно потемнел, у берега проступила вода. Я пообедал в ресторане на площади. За соседним столом сидели народные заседатели. Я слышал, как один говорил другому: “С одной стороны, он явно потерпевший. С другой — чувствуешь к нему какое-то презрение. Я, в общем-то, понимаю, отчего они его били...”

Когда я вернулся в зал заседаний, там сидел один Ерофеев с солдатом. Солнце светило теперь прямо в окна, было душно. Я сел поближе к открытой форточке, где чувствовалось хоть какое-то движение воздуха. Отсюда мне виден был туповатый профиль Ерофеева, его полуоткрытый рот. Лицо его мне представлялось совершенно другим. Он повернулся и посмотрел на меня долгим внимательным и, я бы сказал, даже наглым взглядом. Потом ввели подсудимых, и они тоже стали смотреть на меня: чего ради я здесь торчу? Я был для них единственным в этом зале загадочным человеком, и, естественно, их интересовало, могу ли я повлиять на их судьбу и как. Парфенов наклонился к сидевшему рядом с барьером милиционеру и спросил, видно, про меня — милиционер пожал плечами...

Все собрались, заседание возобновилось. Судья попросил ввести свидетеля Орлова. В сопровождении солдата вошел и встал перед судейским столом высокий мощного вида парень, одетый, как Ерофеев, в х/б. Судья сказал ему, что он проходит по данному делу как свидетель и предупредил об ответственности за дачу ложных показаний. Орлов начал с того, как познакомился с Ерофеевым в пересылке на Пресне — подружились, держались вместе, ели вместе. Рассказал про баню и драку в камере.

— После Парфенов начал о чем-то с Ерофеевым шептаться. В камере вообще можно только шепотом говорить, а то контролеры услышат... Вот они шептались, шептались, потом Парфенов подзывает меня и говорит:

— А знаешь ты, Орел, что было на углеподаче?

Это он там работал.

— Нет, — говорю.

— Ну-ка, Ерофеев, расскажи, что было на углеподаче.

И Ерофеев рассказал, что давал ему за наколки между ног. Да, в камере до этого Парфенов на нем катался... И вот он стал Ерофееву предлагать: давай, как было — и долги свои покроешь, и ларек будешь есть. Ерофеев сказал: ладно, а бить больше не будешь? Парфенов обещал, что не будет. Я стал его отговаривать: оставь его, говорю, он же пацан, еще глупый. И Ерофееву сказал: как ты можешь? Это же честь человека! Ну он сказал, что не станет. Тогда Парфенов опять начал над ним издеваться... Да, тут я пропустил: махорку у Ерофеева зашмонали, а она на вес золота, и я его первый ударил со зла, не можешь спрятать, не берись, и все хотели бить тоже. Махорка была общая... Ну, снова Парфенов стал его уговаривать: давай же, никто не узнает, — и бил его вместе с Банщиковым, ставил к стенке. Я говорю: кончайте издеваться — а что я с ними сделаю? И он опять согласился. Я опять говорю: кончайте же, на фиг это вам нужно, он же грязный, на него смотреть и то страшно... И — зло взяло — ударил его еще раз, он у стенки сидел, головой стукнулся. Нельзя соглашаться, говорю ему, пусть даже убьют, это же низко! Он тут сказал, что да, пусть даже убьют, а он не согласится... Через некоторое время они в третий раз к нему приступили, и он опять согласился. Они говорят: ну что, Орел? Видишь, он в третий раз согласился. Я говорю: ну, как хотите, а я не буду. Они: как все, так и ты. “Будешь, будешь”, — Парфенов сказал. Скатали они тут свои бумажки. Ну, фиг с ними, думаю. Понадеялся, что вытащу пустую и отстанут, а вытащил запачканную. А Ерофееву они уши заткнули, чтоб не слышал. Банщиков сказал: ладно, давай я первый — и сел в угол. Ерофеев к нему подполз... Минут пятнадцать они там были. После Банщиков стал мне предлагать. Я отказывался, потом согласился. Но я только для виду дал и сразу отошел, сказал: а теперь отвяжитесь... Потом подошел Шахов. Там на полу куртка была постелена... После они начали издеваться, говорить: ты и раньше этим занимался! Ерофеев сначала говорил — нет, а потом сказал: да. И на малолетке, и в тюрьме. А в зад было?

Было... Тут Шахов говорит: давай еще в рот! Ерофеев сказал: я устал, лучше в зад. Они легли на пол, там же в углу. Сначала Шахов никак не мог приспособиться, а после я слышал, Ерофеев говорил: как хорошо!

Банщиков заржал, беззвучно открывая рот, и спрятался за барьер. Усмехнулись милиционеры. Шахов сидел с сумрачным лицом. Женщины — оба адвоката и прокурор — смотрели на Ерофеева с брезгливым недоумением...

— Да... Потом то же сделал Банщиков, а мы с Парфеновым отказались. Парфенов сказал: “Да ну его, мне на него и смотреть-то противно!” — зато хватал его за горло, душил, избивал, катался на нем и ставил к стенке. Потом заставлял пить мочу из своего члена. Он пил... Мне тут так противно стало: сидит он в углу, возле параши, грязный, в крови... Я подошел и говорю: может, и у меня попьешь? Он и у меня взял...

— За что же его били? — спросил судья, когда Орлов умолк.

— Мне кажется, его били из-за двух вещей: чтобы согласился, и за то, что согласился.

— Кто, по-вашему, инициатор? — задала вопрос прокурор.

— По-моему, инициатор не Парфенов, а Шахов. Он хотя сам и не бил, и не заставлял, но моральное воздействие оказывал. Парфенов всегда слушал, что он скажет...

Банщиков крутил головой, щурил глазки, цокая языком: “От, сука!” Шахов сидел с каменным выражением, только желваки ходили.

— А как вы оцениваете поведение Ерофеева?

— По-моему, Ерофеев еще пацан, ребенок, глупый. И мало развитый, не читает ничего. А потом характер такой. Если бы меня заставляли, я бы или сам кого убил или меня убили. Может быть, они сейчас тут бы стояли, а я на их месте... Я и себя виню, конечно, и Ерофеева, он же мог уйти из камеры...

— Вот все трое подсудимых показывают, — продолжала прокурор, — что Ерофеев сам согласился. Так ли это?

— Я не знаю. И сам, и, наверное, запугали. Я думаю, что сам человек на такое не согласится... А, может, и сам.

Он же говорил, что ему хорошо. Мы потом удивлялись: ну, как это тебе хорошо?! Он говорил: так, щекотно...

— А вы его запугивали, били? — спросил адвокат Шахова.

— Я бил за махорку и за то, что соглашался, — ответил Орлов.

— Тогда непонятно: вы его били за то, что он соглашался, а потом сами в этом участвовали?

— Я боялся, — сказал Орлов, опустив голову.

Тут Банщиков изобразил совсем уже крайнее удивление — расставив руки возле своего лица, показал: с такой, мол, будкой он еще боялся!

— Кого? Чего? — спросил адвокат.

— Вы не знаете условий. Там совсем другие условия... Шахова я боялся. Каждый знает, сколько у него дружков на зоне... Он на зоне хорошо так жил.

В этот момент отворилась дверь, в зал вошли две бабушки в цветастых платочках, присели с краю и стали внимательно слушать. Адвокат Шахова продолжала свое нападение.

— А мне кажется, Орлов, что вы здесь сами в очень неприглядном виде. Вы деморализовали Ерофеева уже тем, что лишили своего заступничества, а вдобавок еще сами били. Как это объяснить?

— Я уже чувствовал к нему что-то вроде презрения...

Настала очередь подсудимых. Вскочил Шахов. Первоначальная задумчивая рассеянность слетела с него.

— Слушай, Орел, — выкрикнул он, — что ж ты меня боялся?! Ты же мой кент! Мы же с тобой ели вместе... Первый раз я такого нахала вижу! — и сел.

— Слушай, Шах! — повернулся к нему Орлов. — Неужели то, что я сказал, неправда?!

— Вот ты говоришь, что я вроде первый рвался. Так если я первым хотел, зачем тогда жребий кидали? — вставил Банщиков.

— Но я-то отказался, а почему ты не отказался?

— Да сам ты, сам он, граждане судьи, уговаривал Ерофеева вместе со мной, — сказал Парфенов.

— И еще... — снова поднялся Шахов. — Почему ты,

когда развели нас по отдельным камерам, передавал, чтобы мы не сознавались? Мы-то не сознались, а ты сразу раскололся, чтобы с себя вину снять, чтобы свидетелем пройти. Нам всем это предлагали... А ты даже раньше Ерофеева сознался!

— Я сознался потому, что мне это было все противно, — ответил Орлов. — А Ерофеев молчал, потому что ты его запугал, скажи, Ерофеев, так это или не так?

— Так, — тихо проговорил Ерофеев.

— Вы подтверждаете слова Орлова? — переспросил судья.

Ерофеев молчал.

— Говори, дурень, не бойся, — обернулся к нему Орлов. — Поздно уже бояться!

— Видите, он сам больше всех нас на Ерофеева влияет, — заметил Парфенов.

— Садитесь, Орлов, — сказал судья.

Стали вызывать зажавшихся контролеров. Каждого из них также предупредили об ответственности за ложные показания и спросили, не состоят ли с кем из обвиняемых в родственных отношениях. Свидетельства контролеров были кратки. Один показал, что поздно ночью 9-го услышал в четырнадцатой камере вроде бы придушенный плач. Заглянул. Все лежат. Он сидит в углу, плачет. “Начальник, переведи меня отсюда в другую камеру.” Я говорю, пиши объяснение. Не стал. Ну, говорю, оставайся тут. Припугнул вроде. Он написал, мотивировал, что за махорку...

— Дежурный контролер должен был слышать, как Орлов угрожал Ерофееву, когда того выводили: оставайся тут, а то хуже будет! — это снова крикнул Шахов.

— Нет, Орлов сказал: лежи, никто тебя не тронет, — поправил контролер.

Капитан — он был начальником дежурного караула — рассказал, что ему доложили в третьем часу ночи, тут же они вскрыли камеру, вывели заключенного, сняли куртку и, действительно, обнаружили следы побоев. Ерофеева перевели в другую камеру. Потом и Орлова как самого сильного и могущего повлиять на других поместили отдельно... Еще один контролер добавил, что слышал разговор Орлова и Ша-

хова, когда те уже после сидели в смежных камерах, там можно переговариваться, если вплотную приложить ухо к стенке, так вот, Орлов просил не путать его в это дело, Шахов, мол, один, а у него жена и ребенок, и он и так уже сидит по 206-й...

Затем судья приступил, как он выразился, к “исследованию других доказательств”. Другими доказательствами были протокол осмотра места происшествия, характеристики обвиняемых, медицинские заключения. Все три характеристики были, примерно, одинаковые: на физзарядку не ходит, газеты и журналы не выписывает, в школе рабочей молодежи учиться отказывается, поддерживает связь с заключенными, зарекомендовавшими себя отрицательно. И заканчивались одинаково: за время пребывания в исправительно-трудовой колонии осужденный на путь исправления не встал... У судьи было приятное, умное, несколько утомленное лицо. Видимо, у него болели глаза — время от времени он непроизвольно поднимал руку, чтобы потереть их, и, спохватившись, опускал. Он и читал медленно, вглядываясь в текст. “Слабая... гиперемия... головки члена... объективно может... свидетельствовать...” Старушки напряженно слушали, придерживая на коленях хозяйственные сумки, приоткрыв сухонькие рты. Ерофеев сидел, обняв себя за спину длинной и гибкой рукой, на пальцах которой были вытатуированы перстни. Я обратил внимание на то, что он беспрестанно поглаживает себя сзади этой рукой.

Огласив документы, судья спросил, есть ли какие дополнения, адвокаты обратились к обвиняемым с вопросом, как они теперь расценивают свой поступок, и каждый ответил, что раскаивается. Судья объявил следствие законченным, предложил перейти к прениям сторон и спросил у прокурора, сколько времени потребуется ей на подготовку. Прокурор ответила, что минут пятнадцать. Объявлен был пятнадцатиминутный перерыв. Все вышли в коридор. Обвиняемых завели в другой, боковой коридорчик. Они оживились, посоветовались о чем-то, достали деньги и сунули милиционеру. Тот ушел. Другой милиционер говорил молоденькому лейтенанту: “Достал бы ты мне наручники с ключом. С винтами-то у меня есть, а с ключом лучше...” Я

подошел к контролерам и заговорил с ними. Они охотно отвечали.

— Странно, — сказал я, — почему Орлов не на скамье подсудимых?

— Свидетелей не было по этому делу. Очевидцев. Хоть один очевидец нужен был, вот и не на скамье, — объяснил капитан.

— Следовательно, если бы, например, Шахов вперед сознался и показал на Орлова, то он и стал бы свидетелем?

— Конечно.

— И с Ерофеевым что-то неясно...

— Чего ж тут неясного?! Ерофеев пришел в зону законченным педерастом, — спокойно сказал капитан.

Старушки толклись тут же.

— Бабки! А вы чего?! — весело воскликнул один из контролеров. — Вам хоть что-нибудь да понятно?!

— Понятно. Все нам, милый, понятно, — ответила одна. — Не уберегли вы их...

— Идите. Идите, бабушки. Нельзя здесь посторонним! — строго обратился к ним юный лейтенант, поглядывая и на меня, давая понять, что и меня это касается.

— Пойдем, Матвевна! — с притворным испугом сказала другая. — А то заберут нас с тобой, кто тогда за курами присмотрит, козу подоит? Старушки ушли. Вернулся милиционер и передал тем троим несколько пачек сигарет. Я подумал, что Орлов с Ерофеевым не посмели вот попросить милиционера. Была тут своя закономерность...

Речь прокурора, миловидной белокурой женщины, почти не отличалась от вначале зачитанного судьей обвинения. Все трое по-прежнему обвинялись в насилии и злостном хулиганстве, отличающемся исключительным цинизмом. Лишь с Парфенова предлагалось снять обвинение в мужеложстве, ибо судебным следствием это было не установлено. "Конечно, во многом случившемся причиною, — она искала слова, — недоразвитость, слабохарактерность Ерофеева, но то, что преступники ею воспользовались, говорит о крайней их распущенности". В итоге, Шахова за циничское хулиганство предлагалось осудить на пять лет и за мужеложство с насилием — на семь. Окончательная мера

наказания — семь лет. С учетом неотбытого по предыдущему приговору года — восемь лет. Баншикову также семь лет плюс те пять месяцев, которые ему оставались. Парфенову — пять и неотбытых четыре года, итого — девять. Режим — строгий...

Встал адвокат Шахова.

— Слов нет, — начал он, — чтобы выразить, как мерзко, гадко, гнусно все то, что мы здесь были вынуждены выслушивать. Однако при всем при этом, должен обратить внимание суда, что в обвинительном заключении все-таки нет ясности, кто же инициатор. Свидетельство Орлова против Шахова считаю необоснованным. Инициатором мог быть только человек, весьма искушенный в подобных делах. Вот Ерофеев пришел в колонию со слухом... Откуда взялся этот слух? Вот история с татуировкой. Договорились об одной оплате, а он предложил другую... И несколько человек, собравшихся в камере, естественно, задались целью выяснить, а что же он за личность? Неприязнь к подобным людям мы знаем. Считаю, что все случившееся в камере, могло случиться только в а з а р т е п р о в е р к и. Обращаю также внимание на неблагоприятную роль Орлова, принимавшего участие в избивании Ерофеева, деморализовавшего его, в то время как Шахов потерпевшего не избивал. Еще раз: сам факт мерзкий, некрасивый, но образует ли он состав преступления, квалифицируемый статьей 206-й? Хулиганство — это умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу. Но позвольте — а чей порядок обвиняемые, сидя в камере, нарушили своими действиями?! Здесь есть налицо сексуальное извращение, но не нарушение общественного порядка. Повторяю, они лишь удовлетворили свою половую страсть... в перверзивной форме, но не помышляли тем самым выказать неуважение к обществу... Теперь о статье 121-й, часть 2-я. Мне кажется, что в данном случае следует говорить о статье 15-й, ибо мы имеем дело лишь с покушением на преступление, которое не доведено до конца. Если же верить Ерофееву и признать, что доведено, то следует признать и то, что он весьма осведомлен в подобных вопросах, гораздо более, чем кто-либо из подсудимых, и ему мес-

то на скамье подсудимых рядом с ними как пассивному партнеру. Вам известна диспозиция статьи 121-й, часть 2-я. Но здесь возникает вопрос, кто кого развратил? Конечно, в воспитании Шахова есть пробелы, но он еще очень молод, он искренне раскаялся, и я прошу суд о чутком подходе к его судьбе...

Банщикова защищала высокая молодая женщина спортивного вида.

— Как мы здесь слышали, ссора началась в бане с добродушной шутки Банщикова, на которую вызывающе ответил Ерофеев, и закончилась дракой в камере, где Банщиков потерпел поражение. Будем считать это поражением, так как он первый сказал: хватит, давай кончать... То, что ссора на этом закончилась, следует из дальнейшего поведения Банщикова. Когда Орлов отказался поддерживать Ерофеева, тот почувствовал шаткость своих позиций и подошел к Банщикову с извинениями и предложением в ответ избить его. Банщиков отказался... Следовательно, все, что произошло потом, нельзя считать мстью со стороны Банщикова. Почему же он, отказавшись вначале, принял потом участие в избии потерпевшего? А вот почему! Когда Ерофеев согласился на предложение сокамерников брать в рот их половые члены и сам навел на мысль о мужеложстве (в отличие от прокурора, приглушавшей голос на подобных выражениях, женщина-адвокат произносила их громко и решительно), они почувствовали к нему презрение. Он потерял себя в их глазах. Более того, ведь он согласился даже небезвозмездно, товарищи судьи, а за ларек, за продукты! Я разделяю мнение государственного обвинителя, что касается статьи 206-й, часть 2-я, но, как и мой коллега, считаю, что речь должна идти о части 1-й статьи 121-й. Ведь неоднократно было здесь засвидетельствовано, что Ерофеев, этот горепотерпевший, восклицал, что ему это все доставляло, не знаю, конечно, но какое-то сомнительное удовольствие! Мне кажется, что случай этот послужит для Банщикова хорошим уроком. Прошу суд о снисхождении к его участи...

Адвокат Парфенова, пожилая степенная женщина, на-

чала с того, что признала за ним вину в хулиганских действиях.

— Но связывать их с принуждением к мужеложству никак нельзя, — сказала она. — Причиной первоначальной неприязни мог послужить не отданный Ерофеевым долг за татуировку... Другая причина — как уже говорилось — неприглядное лицо Ерофеева. Вообразите: он сам рассказывал о своем пороке, повествовал, видимо, в подробностях, называл прежних партнеров... Все это преисполнило сокамерников отвращением к нему, наряду, не отрицаю, с мыслью, что он может их удовлетворить. Избиение явилось, таким образом, не причиной, но следствием. Да и столь уж частым и жестоким было это избиение, как свидетельствует потерпевший?! Обратите внимание: была драка после бани, потом здоровый сильный Орлов бил Ерофеева за махорку, затем в течение трех дней избивали его якобы Баншиков и Парфенов — “руками, ногами, по животу, по голове“! Да ведь после этого на человеке живого места не должно остаться! В медицинской же справке говорится, что побои не причинили даже кратковременного расстройства здоровья. Приговор государственного обвинителя слишком суров. Прошу суд определить меру наказания со снисхождением...

— У вас есть? — обратился судья к прокурору.

— Нет.

Обвиняемым предоставили последнее слово. Встал Шахов. Начиная с речи своего защитника, он сидел, согнувшись, закрыв лицо руками.

— Граждане судьи, я полностью признаю свою вину... но сделал я это, — голос его задрожал, — с согласия Ерофеева... Прошу учесть...

Поднялся Баншиков.

— Я виноват, поступил легкомысленно... Но насилие не применял... Здоровье — никуда. Прошу учесть, — пробормотал он.

Готовился и невозмутимый, с презрительным лицом Парфенов, но тут судья объявил перерыв до девяти утра следующего дня.

III

Я взглянул на часы: было начало седьмого. У меня как раз оставалось время зайти в гостиницу за чемоданом, поужинать и идти на вокзал. Все в том же ресторане на площади я увидел адвоката Шахова. Он тоже ужинал, перед ним стоял графинчик, и я подумал: "Вот, отдыхает человек от трудов праведных". Рядом с его креслом я заметил большой дорожный портфель и еще подумал, что адвокат, наверное, нездешний.

И точно — на вокзале я снова его увидел. Он подошел ко мне, как к старому знакомому, справился, не в Москву ли я, и сказал, что и он в Москву. Мы сели в зале ожидания.

— Как по-вашему, сколько им дадут? — спросил я.

Адвокат пожал плечами.

— Трудно сказать. Суд решит...

— Я несведущ в таких делах и спрашиваю вас как человека, имеющего, видимо, порядочный опыт. Мне, например, кажется, что дадут года по три...

— Больше... Меньше, чем потребовал прокурор, но больше, чем предполагаете вы... Лет пять дадут, если квалифицируют статьей 121-й, часть 1-я... Вообще я считаю, что дело это еще затянется. Можно заявить протест, и может статься, я сам и заявлю. Предварительное следствие проведено не то чтобы плохо, но не до конца. Многое осталось неясным... Нельзя было поручать такое дело женщине. Она хоть и старая, а все-таки... — усмехнулся адвокат.

— Мне тоже кое-что показалось нелогичным, — сказал я. — Вот с Орловым, например...

— Орлов — да! Вы заметили, как он сник в конце? Головы не поднимал! Я не удивлюсь, если он и был инициатором. Ведь Шахов моложе их всех. И в лагере недавно.

— Ну, Шахов ваш тоже не прост! Я наблюдал за его лицом...

— Психология? — пренебрежительно спросил адвокат. — О психологии вы лучше с теми контролерами поговорите. На их лица обратили внимание? Интеллекта — нуль! Да что интеллекта — элементарного проблеска чувства... У этих троих лица более человеческие... Закатать им сейчас

по семь лет — совсем пропадут. Там не исправляют — калечат!

— А как же тогда наказывать, вернее, перевоспитывать? — спросил я.

— А как? — откликнулся он и ушел в буфет за папиросами.

Вернувшись, он продолжал:

— Человек, по моим наблюдениям, обыкновенный, нормальный человек не может долго носить в себе идею наказания. Восприимчивость к идее — да! Вот Шахов сейчас чуть не плакал и по-настоящему раскаялся. А завтра объявят ему срок, и возобновится привычная, долгая, реальная жизнь “на зоне”, с ее заботами, огорчениями, удовольствиями... А у некоторых идея справедливого наказания за этот срок может обратиться в свою противоположность. И так бывает... Однако, давайте познакомимся, — прибавил он.

Я заметил, что в наше время незнакомые люди редко представляются друг другу в начале, но почти всегда в середине разговора. Его звали Степан Николаевич, он был из области, а в Москву ехал по делам. Назвался и я. Объявили наш поезд “Старая Русса — Бологое”. Мы вышли. Лил, оказывается, сильный теплый дождь, и я подумал, что лед на озере теперь уж окончательно распалился и к монастырю не пройдешь...

В поезде был прицепной вагон до Москвы. Мы оказались одни в купе да, кажется, и во всем вагоне.

— И хорошо. Курить можно, не выходя из купе, — подмигнул Степан Николаевич.

Доброе его лицо показало мне проще, чем в суде, и речь, и манеры стали проще.

— Меня заинтересовала ваша мысль, — вернулся я к прежней теме, — о том, что не нарушали они своими действиями общественного порядка. Я понимаю: замкнутая небольшая группа, и все — участники этих действий, но ведь общество — не уличная толпа, на глазах у которой непременно должно совершиться преступление... Существуют нормы и...

— Это ясно, — перебил, поморщившись, адвокат. —

Это-то ясно. Я специально, с умыслом так сказал. Подсудимые все-таки были изолированы от нормального общества, а в момент совершения преступления изолированы вдвойне: в лагере и в шизо. И общество там другое, и нормы, что бы там ни говорили, свои. вспомните, как Орлов говорил про условия: не знаете, мол, условий... Ведь все они, кроме Ерофеева, здоровые ребята, не извращенцы. На воле им бы это и в голову не пришло. Ну, подраться, избить, ограбить, может быть, и пришло, а это нет... Да и с Ерофеевым не все так просто. Я вот читал когда-то, что существует, оказывается, предрасположение к этому и какие-то там особые антропометрические данные, и вообще можно считать это болезнью. Но если у него это болезнь, то как он будет лечиться? Признавшись в болезни, он же тем самым признается в преступлении!.. А теперь вот в научных журналах пишут, что человек не с 46, как обычно, а с 47 хромосомами особенно склонен к насилию, агрессивен. Конечно, сразу оговариваются насчет широких возможностей для благотворного влияния среды, но когда она была только благотворной-то, среда! И, может быть, наступит время, когда будут говорить: "Обвиняется в том, что 47 хромосом..."? Эх, многое тут не просто, если разбираться, — заключил Степан Николаевич.

— А что это вас так заинтересовало? — спросил он в свою очередь. — Давеча, когда на перерыв вышли, подошел из конвоя, молоденький такой, спрашивает: а место ли гражданскому на этом процессе? Вам, то есть. Я вступился: процесс, говорю, не закрытый, имеет полное право... А все-таки? Ну пусть вы журналист, но об этом не напишешь?

— Не напишешь, — машинально согласился я. — Просто я первый раз в суде, да еще такое дело... Я вот, когда сидел там, поймал вдруг себя на том, что временами какую-то симпатию даже чувствовал к тем скотам. Акт мужеложства совершал, а не бил... А этот бил, зато от мужеложства отказался. А этот и то, и другое делал, но хоть мочу в рот не вливал! Относительность критериев возникает, какая-то замкнутая моральная атмосфера...

— А иначе и защищать было бы невозможно, — просто отозвался Степан Николаевич. — Защищаешь-то не фор-

мально, жалеешь их все-таки, дураков... А ну их к чертям, вспоминать неохота! — оборвал он себя вдруг. — Давайте-ка спать.

Мы разобрали постели, легли. Адвокат еще курил.

— Вообще-то адская работа, нервная, — неожиданно снова заговорил он. — Сейчас еще ничего, а раньше... Какая там относительность — вот она, абсолютная правота, глядит на тебя со скамьи, а сделать ничего нельзя. Пришлось судить как-то женщину, я и фамилию ее до сих пор помню. Я тогда судьей работал... Доярка, четверо детей, муж на фронте погиб, время послевоенное. Застали ее с молоком, несла с фермы пять литров. Ну, следствие размотало: неодинаковые надои, значит, и раньше брала — всего насчитали за ней двадцать литров. Что сейчас эти двадцать литров стоят? Копейки! А тогда полагалось за это восемь лет минимум! Выходим совещаться: заседатели мои в слезы, и сам я чуть не реву. Думаю, сейчас выйду, как буду говорить? “Степан Николаевич, давайте сбавим!” Сбавили, дали четыре года. И что вы думаете? Прокурор опротестовал — за мягкостью наказания. Закатали на все восемь... И я его не виню, я понимаю, он тоже ничего не мог сделать. Вот так работали. Я, может, потому и из судей ушел... А сейчас-то легче, гораздо легче стало работать...

Он замолчал, придавил папиросу, погасил ночник.

— Ну, до Москвы... Я, наверное, ночью кашлять начну, так что заранее прошу извинить. Лекарство забыл...

Он быстро заснул: первые, отдельные, короткие его всхрапывания перешли в равномерные. Мне не спалось. Я лежал, глядя в кромешную тьму нашего купе, прорезаемую иногда мгновенными яркими и слабыми вспышками света из-за окна. Оцепенение душевное, владевшее мной весь этот день, постепенно спадало, я чувствовал, что перестаю что-либо понимать. Да, сидя там, на суде, я все очень хорошо понимал: кто кому был должен, кто кого и за что ударил, даже помянутый Степаном Николаевичем “азарт проверки”... Теперь же всякое понимание уходило, а вместо него вставал передо мной другой мрак другой каморки, и в углу ее, возле параши, на разостланной куртке жалкое замаранное существо на коленях... И я только сознавал, что,

доведись мне когда-либо созерцать самые великие и гордые минуты человечества, и тогда я этого не забуду!

“Войдем в зал суда с мыслью, что и мы виноваты!” — сказал великий русский писатель, весьма интересовавшийся всякого рода судебными делами. Как это понимать? То ли мы как среда виноваты виною преступника, то ли своей какой-то отдельною виной? Конечно, он почасту входил в залу суда и знал, как входить, я же вошел в первый раз из простого любопытства, а вышел, действительно, с сознанием, что и я виноват. Не той — каждого за всех и всех за каждого — общей виной, слишком она была прекрасна и недоступна нашему разъединенному времени, но неясной, смутной, тяжелой своей неопределенностью, собственной виной... Невиноватые в зал суда не входят, мелькнуло у меня. Может, я уж чувствовал это, когда пошел, только не отдавал себе отчета? Но в чем?

А если бы я вошел в зал, где разбиралось дело не о надругательстве и падении, а, скажем, о растрате казенных денег или карманной краже — чувствовал бы я себя потом виноватым? Нет, ответил я себе, и вряд ли высидел бы до конца... Тогда виноват ты в том, что застало это тебя врасплох, что не знал ты такого о человеке? О других возвышающих его страданиях и муках знал, а об этом нет! А до чего он еще может дойти и что еще с ним может случиться? Кто все это предусмотрит и укажет ему?

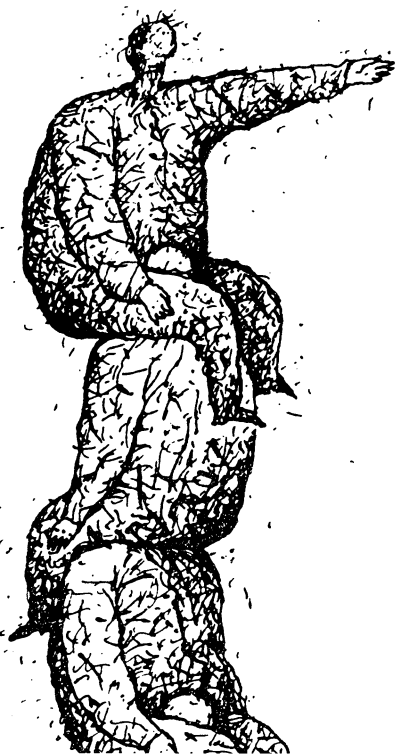
“Было, все это было, — напомнил я себе. — Вопросали и не получали ответа, и ссорились с мировой гармонией... Но я не к гармонии, я к человеку: ведь ничего он о себе не знает, ничего! Хоть бы он сам побольше интересовался собой, хоть бы знал в отличие от слепого котенка, где край! Хоть бы он поглубже заглянул в себя, усомнился бы в себе и через это сомнение пришел бы, может, к какой-то иной, более ценной уверенности...”

“Об этом не напишешь”, — сказал адвокат, и я сам с ним согласился. А почему, собственно, не напишешь? Почему мы загоняем подальше то, что может нас смутить, опорочить? Все равно оно незаметно сидит в нас и мучит. Вон Степан Николаевич доярку столько времени помнит. Ведь не намеренно в себе эту память разжигает. Оттого, на-

верное, и помнит, что старался забыть... Так и целое общество — мучится тем тайным, что в нем есть. А если бы все сообща заглянули и отдали себе отчет — только непременно все, и до самого конца, — уж, наверное, попытались бы что-то сделать...

Тогда, в темном ночном вагоне, показалось мне, что есть в этой мысли какой-то выход, просвет. Я даже привстал и повернулся к соседу, чтобы поделиться своими соображениями. Но адвокат спал, и к нему, как он и предсказывал, начал приступать кашель. Сначала он долго клокотал внутри, сплетаясь с дыханием, потом поднялся выше и поднял Степана Николаевича — тот сел с закрытыми глазами, мотая головой, раскачиваясь, сотрясаясь, и, откашлявшись, повалился без сил на подушку. Через какое-то время все повторилось. Я тихонько оделся и пошел в коридор курить.

1972.



СТИХИ И БАЛЛАДЫ

АНАТОЛИЙ ГОРЮШКИН

Книга поэзии



КРЕМЕНЬ И КРЕСАЛО

* * *

Весна — изгнание. Кружась, куражась,
стрижи отраву сосут из кухонь.
Скрипач играет, мешая пряжу
зеленых льдин, звонков и стуков.

И спотыкаясь о стены пьяно,
вздохматив голову о фортку,
простоволосое пиано
целует в губы ржаное форте.

Солдаткой грубой к плечам приникло,
как будто в них, как будто с ними
пойдет на рынок, где плавят в никель
мазурок дрожь и дождь, и гимны.

1961

БРЕЙГЕЛЬ

Б.Х.

Мне помнится, у Брейгеля в “Зиме“
впервые я прочувствовал пространство,
холодное, как скрип саней,
просторное, как плащ фламандца.

Пространство воли, заключенной в холст
и усеченной гранью черной рамы,
пространство чувства, собранного в горсть
привычными руками.

Из-под кистей зима просилась вон.
И растекалась суриком и стужей
по загрунтованному полотну.
И силилась махнуть наружу.

Поля твердели. Стыли города.
Крестьяне цепенели в странном танце.
И обрывалась мерзлая вода
пластами в ледяном пространстве.

И все в меня как будто перешло.
И все во мне как будто отразилось.
Назло пространству. Времени назло.
И новым смыслом путь мой осветило.

1969

* * *

Как поп-расстрига, выпивший до дна
мирскую чашу, просит подаянья,
я припадаю мысленно к ногам
сухих дорог, к песку их припадаю.

Простоволосый и почти больной,
и чьей-то волею разжалованный,
по солнцепеку я иду с сумой,
послушный наставленьям жаворонка.

Он мне напоминает поутру,
что воздух рощ, как прежде, простодушен,
что изменился лишь рисунок губ —
он стал определеннее и суше,

что страсти наши отойдут дождем,
а ветер облака разгонит,
и ночью прошуршит в соломе
случайный, хрипловатый гром.

1970

КАЧКА

Мы опять рассуждаем — о том и о сем.
Заливаем прозренья дешевым портвейном.
Нас немного осталось за длинным столом.
Он, как старая шхуна, несет нас по ветру.

Укачало одних — и забросило в трюм,
где вода сатанеет за медной обшивкой.
А другие... другие смеются и пьют,
локоть к локтю, в тяжелые кружки вцепившись.

Взбаламученной чайкой взметнулся поднос.
Вал девятый, как счет неоплаченный, близок.
И пространство уходит у нас из-под ног,
словно палуба шхуны, смеясь над Эвклидом.

Ну, и качка, друзья. Не пора ли нам в дрейф.
Разгулялась, вопит в сотню глоток стихия.

Ну, и ночька, друзья. Не пора ли нам в дверь —
под фонарь, что заносит над нами секиру.

Мудрецы и слепцы, дегустаторы слов,
флибустьеры полночных пирушек и трапез,
мы вином запиваем извечное зло,
заедаем орешком по кличке “арахис”.

От стола до порога один только шаг.
За порогом — как шкура медведя — Россия.
Что-то надо решать... Что-то надо решать...
По последней... Решительно. Смело. Красиво...

1975

РЕСТОРАН “ПОПЛАВОК”

Посетите весной ресторан “Поплавок”,
лучше к вечеру ближе, в часы предзакатные,
когда ночь отпирает всячий замок
на дверях наших душ, сургучом опечатанных.

Не пугайтесь, когда загрохочет оркестр,
словно поезд, из старых вагонов составленный,
и трубы сиплый глас разнесется окрест —
над вечерней рекой, над пустыми стаканами.

Пусть проложит трубач свой серебряный рельс
через чьи-то сердца, разделенные верстами.
Эту медную жечь, этот блеск, эту резь
я назвал бы теперь — запоздалыми веснами.

Дирижер-машинист, повези нас в объезд.
Я, признаться, боюсь этой маленькой станции.
Да и в поезде скором свободных нет мест.
Мы довольны и тем, что случайно досталось нам

А в притихшей реке прибывает вода.
И весну зазывают вороны охрипшие.
И затеплилась в небе промытом звезда —
золотистая точка над мокрыми крышами.

1976

* * *

Вскричал петух — как будто брызнул медью.
Зари весенней ломкий пресный свет
опять меня застал на прежнем месте
на перепутье памяти и лет.

Я знаю, что проточных вод бледнее
моя душа, она изнемогла
от немоты, пространство лет — за нею,
а впереди — беспамятство и мгла.

Я знаю, что разрушены все царства,
где я царил и сладко куковал,
сквозь черепа иронии и барства
пробилась одиночества трава.

Я знаю, не легко весенней воле
на верстовом столбе свой выжечь знак...
А за окном шумит ночное поле.
Молчит село. И пахнет ветром мрак.

1980

ТРЕХЛАПЫЙ ЯКОРЬ

“А где же, а где же оно,
прикрытое камнем начало?” —
полночная птица в окно,
как совесть моя, прокричала.

И я, словно юнга во сне,
увидел вдруг якорь трехлапый —
то юность, как шлюп, по волне
вприпрыжку бежала куда-то.

И солнце слепило глаза,
и жгла мне подошвы обшивка,
и сколько б компас ни плясал,
я знал, что не будет ошибки...

Мы все рассчитали, когда
нас вынесло бурей на отмель.
Но если приходит беда,
то бьет морехода наотмашь.

И я опустил на дно,
и якорь увидел трехлапый,
и якорной цепи звено,
разорванной цепи... треклятой.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОДСНЕЖНИК

Над полями печаль куковала.
Тишина отсырела, как сыр.
Это время — меня отковало.
Я — его недоношенный сын.

Кузнецы потрудились на славу.
И в железо оделась душа.
А судьбу положили на плаху —
под негласный надзор палача.

Я смотрю сквозь решетку забрала,
огражден от чужого копыя.
Только счастье меня миновало —
не того оседлал я коня.

Черен он. И закован в железо.
Он железный — до самых копыт.
По железному скачет он лесу.
И в железное горло трубит.

И душа, как прозрачный подснежник,
исчерпав свою долю до дна,
все надеется выбраться к свету.
Но всесильна железная тьма.

Да и сам одичавший подснежник
что-то стал на железо похож —
под железным родился он небом
и в железное время был вхож.

1985

БАЛЛАДА О ПОЛУНОЧНОМ МОРЕ

Обветрилась, подсохла
кора корявых сосен,
и жизнь моя под солнцем
плывет рекою протек.

Она проходит мимо,
как пароход колесный,
лишь сноп ржаного дыма
на плес волной выносит.

И чьих-то слабых крыльев
протяжен всплеск за плесом —
то вечер тонет в иле
ответов и вопросов.

На берегу — команда,
и рулевой — в отлучке,
не видно капитана,
и жизнью правит случай.

Он у руля колдует
и держит курс на полночь,
на полночь с ним иду я,
а может быть, на помощь.

И лепит ночь из мрака
подобье чьей-то песни,
рождается из праха
ее напева плесень.

И вижу я каюты
вечернюю размытость,
он руки жмет кому-то,
чья тень в углу разлита.

Он плачет и клянется,
он прежней страсти полон.
А рулевой смеется
и держит курс на полночь.

Купая зерна света
в воронке за кормою,
идет корабль по веткам
к полуночному морю.

1985

БАЛЛАДА О КРЕМНЕ И КРЕСАЛЕ

Смеркалось. К пустому причалу
причалил последний паром.
Достану кремень и кресало
и вспомню под крики ворон,
как это давно начиналось —
игра с полудиким огнем.
Но детство, как первый чинарик,
истлело в пыли под окном.

И только вкус дыма и пепла
на чуть обожженных губах,
и шелест осеннего ветра,
несущего времени прах.
Был день — как плакучая скрипка.
По струнам водил я смычком.
С какой-то беспечной улыбкой
делился с судьбой табачком.

В зубах — неизменная трубка.
В кармане — заветный кисет.

Но, помнится, не был я трусом,
стирающим времени след.

Роились под пальцами искры.
Кресало кусало кремень.
И лица хорошеньких истин
мелькали в дыму перемен.

Но вычерпан чьей-то рукою
набитый махоркой кисет.
И месяц занес над рекою
блеснувший в потемках кастет.

.

Паром на ухабах качало.
Играла волна в поддавки.
Я бросил кремень и кресало
в холодную пену реки.

1986

* * *

И вспомнил я: в этой холодной печурке
когда-то огонь, как охотничий пес,
обгладывал чьи-то сосновые чурки
и в угли совал свой испачканный нос.

У старого дома в глухом переулке
стоял я, к закату спиной прислонясь,
и слушал, как ветер строптиво и гулко
гуляет по дому, на что-то сердясь.

Обрушена кровля. Остыла печурка.
Но чуден закат. Он окно золотит.
И в пыльном окне в ожидании чуда,
как юная девушка, память стоит.

1986

БАЛЛАДА О ГЛАЗАХ

“Как девка из дома публичного,
я сплю до обеда. Кровать —
алтарь мой... и кузница личности.
Привык я в ней личность ковать...”

Так думал он... Зимние сумерки
сукном застелили постель.

Пространство казалось в них суженным,
составленным лишь из потерь.

Хотелось раздвинуть полотнище
зимы — и проветрить мозги.
Но если кому что положено,
то жди своего. И молчи.

Он страх свой порой пересиливал
и пальцем касался курка —
и чьи-то глаза темно-синие
ему открывала пурга.

“Ах, мало мне что-то положено“, —
вздыхал он. А чьи-то глаза
подернулись белой порошею,
как вмерзшие в снег образа.

Сорвал со стены их с оружием
ворвавшийся в храм супостат.
“А где же, а где же был суженый?“ —
глаза из тумана блестят.

И все превратилось в истории
запутанной жизни одной —
и лишь не хватило простора ей,
чтоб сделаться чьей-то судьбой.

Хотел он спалить свое логово
и память развеять в ночи...
Но если кому что положено,
то жди своего. И молчи.

1986

* * *

Колесо отскочившее катится.
Чьи-то тени мелькают в кустах.
Это — есть? Или только мне кажется?
Это — сон? Или стон на устах?

Гасли звезды. Светало. И утренник
поднимался туманом из луж.
И роса серебрилась на упряжи
наших сытых, незагнанных душ.

И когда натянул я поводья,
и плеснуло простором в лицо,

я увидел — у нашей подводы
отскочило одно колесо.

Покатилось куда-то отчаянно.
Словно ветром его понесло...
Ночь. Дорога. Стоит и качается,
точно пьяный, мое колесо.

1986

* * *

Полям детства иду, по дороге
мимо ветел дуплистых и ржи.
Овевают босые мне ноги
своей тенью вечерней стрижи.

И над церковью колокол дышит,
и роняет певучую медь,
и соломою крытые крыши
начинают, как певчие, петь.

И колодезь, как высохший регент,
все играет испытаным лицом
и бормочет избитые речи —
мол, не надо нам петь в унисон.

И упал я льняной головою
в однозвучное облако ржи.
Золотое мое, голубое
поле детства. Дорога. Стрижи.

1987

* * *

Ю.К.

Зеленоглазый плотник дядя Кеша
учил меня угадывать в бревне
не чью-то плоть, а дух сосны умершей:
“Что наша плоть? А дух всегда при мне.. “

Стояла осень. Небо пахло стружкой.
И над костром свивался синий дым.
И зелен был я — как пивная кружка.
И бледен был я — как обмылок льдин.

И вот гляжу на срубленное тело —
оно забыло о своих корнях.

Какая жизнь вокруг него кипела!
День замирал у ястреба в когтях.

И слышен ход был времени. И поступь
его была чеканна и легка.

И плыл я по течению, как остров
плывет лениво в новые века.

И подошел я к некому пределу,
и плоть моя — во власти топора,
и вот гляжу на срубленное тело,
и говорю: “Пора, мой друг, пора!..“

.

Но плотник Кеша тоже прав отчасти.

Что наша плоть? Добыча для огня.

А дух, а дух...

Не будь тоски по счастью —
и не было бы счастья для меня.

1987

ДОН КИХОТ

Еще кости мои не срослись с костылями
и глаза мои помнят полей наготу,
но уже за спиной чья-то тень нависает
и толкает меня в темноту, в темноту.

И затылком я чувствую холод приказа,
он меня поднимает с холодной земли,
и, вскочив на коня, я в дорогу пускаюсь,
изваляв свою душу в житейской пыли.

Вот она — эта мельница ветряная,
чья-то копыя, как стрелы, из крыльев торчат,
я стою перед ней, свою жизнь вспоминаю,
и покойно седло подо мной — как стульчак.

Но затылком я чувствую холод приказа,
и копые просит крови, и вороны ждут,
за спиной само время, прищурясь вполглаза,
посылает меня, как ответчика, в суд.

И с размаху воткнув в темноту наконечник,
и повиснув, как тряпка, на черном копые,
я въезжаю в обжитую тенями вечность
победителем ночи — на белом коне.

1987.

СИЛУЭТЫ

Этот небольшой цикл — всего лишь попытка прикоснуться к той таинственной субстанции, которая именуется "душой" поэта. Сознательно отгородившись от фактов биографии, от зримых примет поэтической жизни, я попытался сосредоточиться на стихии творчества. Я отлично понимал, как трудно проникнуть в эту заветную мастерскую, где стоит не подверженный коррозии времени бесценный инструмент, казалось, еще не осыпавшийся от пальцев своего владельца.

Я попытался взять на этом инструменте два-три аккорда, в которых отразились бы какие-то стороны личности поэта: эмоциональный настрой, тональность, ритм, биение сердца...

Когда я делал это, мне чудилось, что за "инструментом" в темном проеме окна возникал на мгновение дорогой моему сердцу силуэт поэта.



Усталый псарь, вернувшийся с охоты,
с ладонями в запекшейся крови,
я знаю — перед остовом природы
мы все безлики, словно муравьи.
И на псаря есть псарь. Идет охота,
в которой сердце — загнанный русак.
И наши шкурки на заборе кто-то
распяливает, бородой тряся.

ЛЕРМОНТОВ

Мы пили мудрость из немых кружек —
лишь по усам она текла,
мы знали, что поломанные ружья
не вытащить из пыльного чехла.

Как много тщета оставили нам годы
в продутом ветром родовом дупле,
где бьют часы, встречая нас у входа,
в апреле бьют и в декабре.

Завел часы один искусный мастер —
он до конца пружину закрутил.
И кинул в море ключ от счастья —

лишь по воде пошли круги.
Разъела ржа и души нам и ружья.
И ветхим — новый стал завет.
Он никому уже не нужен —
как опостылевший совет.

* * *

Осклизлый мир. Его съедает плесень.
По ком звонишь ты, колокол? По ком?
Еще не падаль — падалица песен
хрустит в саду под чьим-то сапогом.
Как будто печенег залез мне в печень —
плести узор едва хватает сил.
К ногам судьбы свалились наши песни.
Червь начал, а прохожий завершил.

БОДЛЕР

Я — снежный волк в осенней жаркой силе,
и ваш закон — уже не мой закон.
Его слова давно пропахли псиной,
а буквы — как охотничий загон.

Мои следы поземка замечает.
Я, как медаль, судьбу свою несу.
Пытаюсь я две стороны медали
разъять и переплавить в красоту.

Но там, где из кустов глядит природа,
над головою голода картечь
свистит — и падает на снег свобода,
чтоб кровью землю мерзлую ожечь.

Кто заплатил сполна за этот призрак,
что в простоте “свободой“ мы зовем,
тот из своих времен навеки изгнан
и в мир иной переселен.

* * *

Что за ребячество — совать свой лоб под пули!
Мхом поросли ступени “либерте“.
Мед вычерпан до дна из старых ульев,
поставленных почти при Калите.

Храм превратился в хлам. Пустые соты
у ног твоих — как тело без души...
Прошу тебя, не потрясай основы
такой всеобщей и привычной лжи.

АПОЛЛИНЕР

Тяжелый год. Зима. Простуда.
Под черный ропот фонарей
я выводил свои поступки
в тюремный двор судьбы своей.

Они плелись кандалным строем,
держа равнение на шест.
Устало, строго и спокойно.
Без генералов и божеств.

А с крыш несло дождем и гарью.
И сердобольная заря
уже наклеивала пластырь
на бровь пьянчуги-фонаря.

И просыпаясь, мерзли звуки.
Стучал несмазанный засов.
И четким строем, круг за кругом
шла карусель под лай часов.

И круг за кругом, круг за кругом
шла жизнь, припертая к стене.
И целился тюремщик в угол,
где мы, где мы — спиной к спине...

Пустая дальняя дорога.
Глухой некрашенный забор.
И в стороне, как у Ван Гога,
тюремный двор, тюремный двор.



С годами все труднее воскресать.
Заилилась душа — как пруд на водопое.
С горы бежит табун. И застит пыль глаза
мои — почти залитые водою.
За косяками дней осядет пылью быт.
И не понять мне, где вода и суша.
Я чувствую сырую дрожь копыт,
когда они мою терзают душу.

БЛОК

Певучие заросли дрока.
Волынки узорная вязь.
Дурман этот книжный до срока
был выпит. И жизнь началась.

На плечи она навалилась
всей силой железа и зла.
А детство в костер превратилось,
от детства осталась зола.

Под игом навьюченной ноши
стоит на распутье душа,
стоит в ожидании ночи,
крахмальной сорочкой шурша.

И в черной пустыне, где звезды
почти неподвижно висят,
глотаю минувшего воздух,
мы вновь обретаем себя...

Давно затерялась дорога,
и пеплом развеялась явь —
осталась лишь веточка дрока
да песни вечерняя вязь.

* * *

Лосиное мясо. И соль на губах. И усталость.
Как поздно лосиное сильное мясо досталось.
Питался лишайником скорбным и ягелем бледным.
И зубы мои застревали в корнях постов и запретов.
И лбом упирался в загон, что зовется судьбою,
в закон упирался, что колья вознес надо мною.

МАЯКОВСКИЙ

Когда сквозь туман
папирос, искуренных друзьями,
я прохожу, неторопливый, как фат,
знаешь ли ты —
глубоко в яме
горя моего саркофаг.
Не сердись, что ж ты сердишься,
ядовитей эссенции!
Ведь на каждом сердце
заусенцы есть.
Истлели одежды ветхие,

за тобой третий год
в малиновом берете зорь
скакал исхлестанный ветками
сумасшедший берейтор.
Видеть всю тебя,
в аляскинских мехах,
с шеей, шарфом начисто отбритою.
У каких повес безвольная рука
сжалась бритвою?
А этот, краснощекий,
из породы усатых балаганщиков,
он, что ли, — тебя кохал?
На какой живодерне,
скажите, приканчивать
рыжего кота?
Теперь по миру ядерной выпечкой
пустили звонкоголосых.
Хрипатые рвут из горла кус.
Люди, милые! Вытечет, вытечет
любви колосс
из затоптанных глубин в реку.
Что ж ты сердишься
черного глаза тиком?
Байковой страсти
куда уж расти.
Чернее шахты
твое “прости-ка“,
твое измученное “прости...”

* * *

На город накатилась муть с востока.
И тишина в нем снегом обросла.
И побелело горло водостока.
Ушла вода — и песню унесла.
Еще вчера она играла в горле.
Зима пришла — и стала на постой.
И немоты уже привычна горечь.
Я льдом забит — как этот водосток.

ХЛЕБНИКОВ

Мамонты умирают от холода.
От свояченицы стрел.
От свояка копий.

Мамонты умирают от зноя —
в кострах, в заброшенных копиях.
Из лука суток стукнул вечер:
“Иду на вас войной!”
К излучинам сутолоки плыли плечи,
к соблазнам игры двойной.
Тянулись степи по одеялу.
Ветер повеял поветрием гор.
На желтых обоях непрошенные постояльцы
вышивали старинный узор.
Звериные шкуры скакали, как пьяные.
Костры плясали. Курился бамбук.
Умирал мамонт в глазнице ямы.
Древний, косматый, лукавый бог.
Умирало искусство могучих бивней.
Хоронилось — хоботом в красный снег.
Знаю: искусство — это иной.
И на нем отпечатан след.
И все же жаль, жаль косматого.
Рухнул, как холм, и тревожит ночь.
За холмом — голодные матери.
За холмом — сыновья и дочери.
Когда рассвет пробуравил уши
и забил смолистые колья в хобот,
я вскарабкался на окоченевшую тушу:
“Мама! — закричал я. — Мама! Послушайте!
Мама, накиньте на мамонта манто.
Мамонту холодно...”



Я сузил мир почти до точки,
а дальше некуда — конец,
мне тесно в этой оболочке,
в дубовой потемневшей бочке,
что к сходням выкатил торец.
Когда-нибудь, вернув пространство,
я превращусь в полоску льна,
в дымок засохшего бурьяна,
в рожок полночного бурана,
что плачет за границей сна.

БУНИН

О, пылкой полыни восторженный запах,
прицельный и резкий, как выстрел вдогон.

Прощаюсь. И сани бегут под раскаты.
Бормочет ящик: “Ничего — проживем...”

Прощаюсь. С языческими теремами
осенних лесов, догоревших дотла
и выставивших вдоль дорог, как по рампе,
свои занесенные снегом тела.

С ленивой тетрадью несмело прощаюсь,
с сырыми подтеками черновиков,
с игрой, возведенной в простую случайность —
как ливень внезапный на бое быков.

Спасаюсь. Бегу. Где двор постоянный?
И сколько еще вечеров впереди?
Сухая ветла, ночь в траурной рамке
и запах полыни — у нас на пути.

* * *

От жирной кулебяки оторвавшись
и мозельвейном губы освежив,
они кладут из кирпичей оваций
очередной химеры этажи.
Они так долго торговали верой,
что изменили плоть ее и суть.
Но ось земли всегда глядит на север —
им никогда ее не повернуть.

ПАСТЕРНАК

Просеяв годы — просто, как просо,
как бабка грохотом, — в ночь заповедную,
в субботу сдираю репей и коросту,
весь в запахах озарений, неведений.

Сдираю лиловым студнем потемок.
Как блюдо колышется, падая за полночь!
Пьянею (я запил) в звездных потеках
(я запил!), на крышах, на нишах. Я запил!

Сдираю, плача, сиплым грохотом
громов-колымаг. Как скачут задворками!
Спасуют ли кони? Спасут ли? Горохом
рассыпались в водостоках за двориком.

Спасут ли? Как плакать, бросаясь под лошадь
дождей, как повиснуть на морде их хочется.

Ах, кони мои синемордые! Площадью —
скачите, скачите. По душам. По корчам.

С карнизов. С обрывов. Копытами клацая.
С надрывом. Как молнии, пышут глазами!
Как гривы пуржат! По жизни! По плацу!
Сквозь строй барабанов. Я запил! Я запил!

* * *

Завожу свою жизнь, как будильник,
круговым поворотом ключа.
И по ночи иду, как по льдине,
к одинокому зову луча.
Он бельком выплывает из мрака,
мордой тычется в крошево льда.
И поскуливает, как собака,
в черноте полыньи вода.

ЕСЕНИН

Керосиновый ветер предместий.
Суковатые вести лесов.
Уносил я пустынными весями
перстенок — золотое кольцо.

Отсмеялось-отплакалось вволю нам.
Сохнет дождь переспелых рябин
под ногами. Сужаются просеки.
Растворяется в небе дым.

Я иду. Свою грусть подуськиваю.
Голосит моя грусть, как щенок,
сквозняком и зеленой Русью
и малиновым звоном дорог.

Отсмеялось-отплакалось вволю нам.
Вспоминать ли, винить, упрекать?
Как чернила, над сохнущим полем
растекаются облака.

Вспоминать ли под звон плакучий,
под несмелую сказку лесов,
что себя своей песней замучил,
потерял золотое кольцо.

1955 — 1987

ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ

В поисках

Грустного **БЕБЕ**

Книга об Америке

Завершая публикацию романа Василия Аксенова “В поисках грустного беби”, напоминаем: отдельной книгой роман выходит в издательстве “ТЕКСТ”. Редакция альманаха “Конец века” намерена обратиться к автору с предложением издать в нашем приложении сборник рассказов. Следите за рекламой!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ *

Однажды серым влажным душным утром (худший вариант вашингтонского “плохого климата”) плетусь из дома к Треугольнику Калорамы, имея целью пару бутылок содовой и пачку сигарет в магазинчике “7-11”. Вдруг — забарабанило!

В глубине Колумбия-роуд появилось многокрасочное шествие с воздушными шарами, полотнищами, лентами и транспарантами. Это еще что за оказия? Куда идут трудящиеся массы? Чем ближе подходила колонна, тем меньше она напоминала первомайскую демонстрацию на Красной площади в Москве, тем больше вызывала в памяти процессии из фильмов Федерико Феллини. Ага, вот в чем дело: вашингтонская “гэй комьюнити” на марше!

Ничего особенного: мужчины в дамской одежде, розовые платья с оборочками, обнаженные мясистые и мускулистые спины, мучнистый грим с ярко-синими пятнами глаз, ярко-красными ртами; женщины в мужском наряде вообще выглядели заурядно в свете современной моды.

Среди карнавального шествия проплывали декорированные грузовики с открытыми платформами и шевелящимися гирляндами, напоминающими китайский Новый год. Стройный ковбой, затянутый в черную кожу, в характерной позе, пощелкивая пистолетными курками, высился на одной из платформ. Сзади, однако, у агрессивного самца были обнажены круглые ягодички, которыми он призывно и не без юмора поигрывал, являясь, стало быть, отчасти и самочкой.

Любопытно, что среди этой феллиниевской вакханалии странными выглядели не ряженые “педики”, а суровые ряды идеологических гомосексуалистов, то есть людей, которых в обычной толпе не отличишь от “прямых”, — обыкновенные джинсы, обыкновенные сникерсы, костюмы, юбки, блузки, галстучки, обычные мужские и женские лица, только лишь исполненные суровой половой идеологии.

Нельзя не удивляться человеческим парадоксам: движение, начавшееся как борьба против общественного ханжества, приобретает черты могущественной идеологии и вместе с ними свое собственное ханжество.

Мне пришлось как-то раз выступать в ночном шоу Си-би-эс. В эфир мы выходили под первые петухи, в четыре часа утра. “Кто нас будет смотреть в этот час?” — спросил я молодого корреспондента. “Семь миллионов людей, на которых не действуют снотворные пилюли”, — бодро ответил он. (Несколько человек с нездоровым цветом лица помахали мне следующим утром на улице.) Поклевывая носом, я сидел со звукопроводящей пробкой в ухе перед телевизионной камерой и отвечал на вопросы бессонных, касающиеся

* О к о н ч а н и е. Начало см. “Конец века” № 1 с.г.

Советского Союза. Вопросы эти в значительной степени отражали уровень представлений о восточном гиганте, характерный по крайней мере для бодрствующей части населения западного гиганта.

Джентльмен из Буффало спросил меня, например, как советские власти относятся к черной части своего народа, и очень был удивлен, что таковой в СССР не существует. Постоянные разговоры о “паритете” с Россией, видимо, создали у моего собеседника представление о полной идентичности противостоящего Америке государства.

Вопрос, поступивший из Сан-Франциско, касался гомосексуализма. В какой степени “гэй комьюнити Ю-эс-эс-ар” осуществляет свои права в политической и общественной жизни?

Увы, пришлось ответить мне, что в не очень-то значительной степени, ибо мужской гомосексуализм в стране победившего социализма считается уголовным преступлением и по статье такой-то Уголовного кодекса РСФСР карается тюремным заключением на срок три года.

Странным образом женский гомосексуализм, то есть лесбиянство, такой части не удостоился и официально не пресекается законом. Представляется загадкой, унижены ли в данном случае права женщин или, наоборот, приподняты над мужскими?

Мой собеседник с западного побережья (его, видимо, нельзя было даже и отнести к разряду страдающих бессонницей, просто, может быть, что-то интересное отвлекло его от своевременного отхода ко сну), кажется, не очень-то мне поверил. Гомосексуализм в Америке дружит с левым либерализмом, а тот почему-то нередко принимает правду о СССР на свой счет и обижается.

Поверил — не поверил, неважно. Важно то, что гомосексуализм считается в атеистическом советском обществе грязным грехом, а в советском законе довольно серьезным преступлением. В этой связи можно только представить себе чувства свежего иммигранта из России при виде всех этих гордых гэйских парадов, шумных митингов и фестивалей, гэйской прессы и открытых обсуждений предмета на телевидении; не говоря уже о журнальчиках...

Америка, конечно, прошла огромный путь от своего исконного сексуального ханжества, а ханжество было здесь, очевидно, еще почище русского, если даже и сейчас в законодательствах некоторых штатов “орал секс” котируется как преступление.

Да, этот “беби” (грустный беби, а?) прошел немалый путь с берегов Миссисипи, из городка Тома Сойлера, до книжечек о кровосмесительстве, согласно которым шустрый Том через пять-шесть страниц должен был бы спать со своей тетей.

Как почти во всем, и здесь, в сексуальной либерализации, сделано несколько лишних шагов. Начинание перерастает в одержимость, в массовую вистопляску, новую моду на деревне и, стало быть, в дикую безвкусицу.

Помню, в первый мой приезд сюда я слышал проповедь священника по ТВ. Он бичевал своих сограждан, скатившихся к массовой содомии. В стране сейчас насчитывается двадцать миллионов гомосексуалистов, гремел он. Куда мы идем?

Этого не может быть, подумал я тогда. Двадцать миллионов? Невозможно. Это просто одержимость устрашающей статистикой.

Увлекаясь статистикой, американцы считают, что она должна ошеломлять. Откуда вдруг берутся сногшибательные цифры социальных бед, столь охотно подхватываемые советской пропагандой?

Каждое утро в новостях американцев поражают цифрами. Восемьсот тысяч в прошлом году стали глуховаты на левое ухо, зато шесть миллионов в году текущем обратились с жалобами на плоскостопие...

Среди этих цифр иной раз выпрыгивает нечто поистине ужасающее. Два миллиона похищенных детей! Сколько у нас всего детей? Пятьдесят миллионов? Шестьдесят? Каждый тридцатый ребенок, стало быть, пропал, похищен? Да если это в самом деле так, то почему мы все еще работаем, занимаемся гимнастикой, проводим избирательные кампании? Если и в самом деле в этой стране похищены два миллиона детей, нужно бросать все дела и всем выходить на улицы с ружьями. Если же мы не выходим, то, значит, либо мы — равнодушные и тупые ослы, либо эта цифра дутая, преувеличенная дурацкой статистической одержимостью.

Позднее выясняется из обстоятельного доклада ФБР: цифра действительно... хм... несколько гиперболическая. Пропало не 2.000.000, а 30.000 детей. Половина беглецы, а две трети оставшихся похищены разведенными родителями. Ну, ничего страшного: "ноль" туда, "ноль" сюда, немного перестарались.

Так же вот и двадцать миллионов гомосексуалистов... Эксцессы статистики? Трудно как-то себе представить, что такое огромное число людей с гормональным дисбалансом (то есть вот именно тех, кто является настоящим гомосексуалистом и заслуживает общественного признания как полноправная человеческая личность), двадцать миллионов гормонально разбалансированных людей родилось и взросло в одной, хотя и довольно большой стране. Исходя из этой цифры, можно, значит, предположить, что в СССР — двадцать семь миллионов, а в Китае может оказаться сто миллионов гомосексуалистов...

Насчет Китая одни догадки, но в СССР "голубая дивизия" (так называют там *gaus*) далеко не так многочисленна, иначе, согласно советским законам, возник бы новый гигантский гомосексуальный Гулаг.

Недавно откуда-то выскочила более реалистическая цифра — не двадцать, а всего лишь восемнадцать миллионов насчитывается в американской "веселой общине". Два миллиончика туда, два обратно... Одно лишь ясно — это не настоящие гомосексуалисты, конечно. Большая часть этой многомиллионной армии является участниками очередной американской

“одержимости”. В этой связи американский гомосексуализм стоит на удивление близко к аэробическим упражнениям.

Может быть, я дико ошибаюсь, но у меня как новосела этой страны складывается впечатление, что массовый гомосексуализм относится в определенной степени к простодушию и неизощренности американских молодых масс, а также к явлению, что всегда сопровождает все эти “obsessions”*, — к эстетическому кризису, к провалу чувства меры и вкуса.

Я ничего не имею против гомосексуализма. Напротив, я всегда испытывал сочувствие к тем реальным “голубым дивизионерам”, которые становились жертвами общественного лицемерия и ханжества. Однако навязывание гомосексуального образа жизни или, еще пуще, использование этого генитального интима в политических целях ничем, кроме массовой безвкусицы, объяснить не могу.

Когда сенатор С. в ходе предвыборной кампании появляется на огромном ралли “гэй комьюнити” и кричит, что никто другой, кроме него, не имеет столь блестящих характеристик в отношении к гомосексуализму, покрываешься гусиной кожей, ибо волей-неволей воображаешь этого почтенного семьянина в довольно двусмысленной позиции.

У нас тут вокруг Дюпон-серкла, в кафе и книжных магазинах, много молодых людей, так сказать, “с левой резьбой”. В кондоминиуме по соседству, этажом выше, живет супружеская пара, черный и белый мальчику-музыканты. Эти люди уже стали для меня как бы неотъемлемой частью нашего Дюпон-Адамс-Морган винегрета, без них как-то было бы уже и скучновато, одно лишь только условие совместной жизни кажется обязательным — не надо навязываться!

Однажды один парень говорит: гомосексуализм — это все равно что другой цвет глаз, ничего больше. Допустим все-таки, что это нечто более существенное, чем “другой цвет глаз”, а также вспомним о том, что навязывание “голубоглазия” однажды привело к мировой войне.

Принятие гомосексуализма просто как элемента жизненного многообразия — это одно дело, а пропаганда гомосексуализма, прошу прощения, все-таки ведет к тупику. Тупик на греховной дорожке человеческой расы; листва опадает навеки, и отмирают деревья.

Американская одержимость своими одержимостями очень часто почему-то связана с нижними этажами нашей сути, с проблемами пола. В американской половой жизни, в отличие, скажем, от французской или английской, покоя нет — вечные, так сказать, поиски.

Вот, скажем, женское движение, то есть движение женского пола против мужского. Спору нет, “беби” прошли долгий путь, чтобы перестать быть “беби”. Нынче я уже как-то научился различать взгляды этих “амазонок”, поставивших целью загнать в загон уцелевшие еще табуны американских кентавров, но поначалу они были для меня сущей загадкой.

* Одержимость, мания.

Расскажу о довольно курьезном столкновении с движением феминисток в первый год нашей американской жизни.

МАДАМ СОВЦЕНЗ

На кампусе большого университета проходила международная конференция “Писатель и права человека”. Одна из “панелей” была посвящена цензуре. Слово “цензура”, как ни странно, в русском языке относится к женскому роду. Английскому уху это, может быть, и смешно, но именно так обстоят дела в нашем “великом-могучем-правдивом-свободном” (как в свое время прокламировал русский язык Иван Тургенев, что дало нам возможность соорудить довольно удобный, хоть и напоминающий слегка военноморские силы акроним ВМПС); итак, в нашем ВМПС не только среди вещественных, но и среди отвлеченных понятий существует половое различие. Например, “радость” — это женщина, а “восторг” — мужчина. Существуют также и слова, аморфно проплывающие по разряду “среднего пола”, например, — “государство”; таковых, леди и джентльмены, великое множество. Большое раздолье для фрейдистских (феминистических или гомосексуалистических) структуральных толкований.

В чешском языке, очевидно, царит такое же безобразие. Иначе почему выступавший передо мной чешский писатель Иржи Груша несколько раз по отношению к “censorship” употреблял местоимение “she”?

Мы сидели за длинным столом, несколько писателей-беженцев и несколько писателей-хозяев, то есть американцев. Среди беженцев были чех, русский, поляк, южноафриканец, аргентинец и чилиец. С последним, правда, произошла небольшая накладка.

Он был молод и выглядел, как настоящий революционный, левого крыла изгнанник: свитер, продырявленный на локтях, мятежные кудри а-ля Че, взгляд, отражающий блики “пылающего континента”. Все этому юноше ужасно сочувствовали, еще бы, вырвался из лап режима Пиночета, как вдруг оказалось, что он “вырвался из лап” только на время вот этой конференции, по завершении которой добровольно в эти лапы возвращается. Оказалось, что юноша — издатель левого литературного журнала в Сантьяго — никакой и не беженец вовсе, а просто гость. Выступит здесь, ударит по цензуре, а потом свободно вернется в свою продолговатую страну продолжать дерзкую литературную деятельность. Мне как редактору разгромленного “Метрополя” это была наука — не сочувствуй по пустякам.

Вернемся, однако, к Иржи Груше, который только что завершил свою речь чем-то вроде общеславянской декларации:

“She would never ever succeed in her attempt to suppress the creative spirit of Central Europe!”*

Наши хозяева, то есть американские писатели, поначалу при слове

* Она никогда бы не преуспела в своей попытке подавить творческий дух в Центральной Европе!

“she” чуть-чуть вздрагивали, но потом привыкли. К их чести надо сказать, что они всегда очень тактичны в отношении наших усилий изъясняться на языке Шекспира.

Настала моя очередь щегольнуть своим английским, который одна журналистка охарактеризовала как *epigrammatical rather than grammatical**. Подмигнув своему симпатичному товарищу по драпу, я сказал, что если “цензура” в соответствии с нашими славянскими делами — это “она”, следует предположить, что это довольно истеричная дама. Когда-то она была молода и некоторые даже находили ее привлекательной. Она сама себе все испортила, требуя от всех без исключения окружающих всепоглощающей и безоговорочной любви. С возрастом, однако, советская цензура, или мадам Совценз, вдруг обнаружила утечку этого единодушного чувства. Появились некоторые люди, которые манкировали своими любовными по отношению к ней обязанностями, а иные стали и открыто нос воротить, выказывая что-то похожее на отвращение. Дама нынче бесконечно мечется, припудривается социалистическим реализмом, устраивает клиентам громоподобные истерики, увы, все напрасно, лучшие годы прошли, любви все меньше и меньше...

Развивая эту вполне сомнительную метафору, я вдруг заметил, что в зале воцарилась тишина, не вполне соответствующая шутливому тону спикера, какая-то густая враждебная тишина, похожая на заседание правления Союза писателей СССР. Дальнейшее развитие негативной ситуации — переглядываются. Завершение развития ситуации — начали шикать и букать.

Вдруг вскочило нечто розовощекое, с коротким и густым чубом, взмахнуло рукой.

— Как вы смеете?! — при резком движении в размахе здорового пиджака мелькнуло нечто округлое, как будто девушка. — Как вы смеете сравнивать советскую цензуру с женщиной?!

— Простите, — запнулся я, — мне кажется, вы меня не поняли. Мой говенный английский, возможно...

— Стоп-стоп-стоп, — по-комиссарски, как из советской “Оптимистической трагедии”, моя обвинительница выставила руку ладонью вперед. — Мы вас отлично поняли, сэр!

К первой комиссарше присоединилась вторая, кожанка сближала ее еще больше с Ларисой Рейснер.

— Вы сравнили свою паршивую цензуру с женщиной, страдающей гормональным дисбалансом! Вы оскорбили всех присутствующих ребят женского пола! Позор!

В зале воцарился неакадемический шум.

— Позор! Позор мужскому шовинизму!

— Господа, господа, товарищи женщины, — пытался отмахиваться я, — меньше всего я хотел оскорбить женщин, это просто ведь метафора, ничего больше, шутливая метафора.

Незадолго до этого я прочел роман Джорджа Ирвинга “Мир по Гаргу”

* Более эпиграмматический, чем грамматический.

и сейчас не без пупырышек на коже вспомнил одну из сцен этого сочинения. Шум в зале не затихал.

— Позор таким гадким метафорам!

— Руки прочь от женского движения!

Кто-то из немногих сочувствующих (кажется, одного со мной пола) крикнул:

— Оставьте русского, это у него следы векового рабства!

— Вот именно, следы, — попытался оправдываться я. — Следы векового, господи! Именно в результате векового рабства произошло разделение русских существительных по каким-то странным, пожалуй, метафизическим признакам. Может быть, в связи с этой же причиной у нас нередко именуют советскую власть Степанидой Власьевной, а Государственную Безопасность — Галиной Борисовной, то есть присваивают им имена каких-нибудь московских старух, на которых, по наблюдению одного проницательного иностранца, и покоится весь советский режим, вернее, его нравственная база. В некотором смысле, господа феминисты и все сочувствующие (а к таковым позвольте отнести и вашего покорного слугу), эти явления свидетельствуют, возможно, не об унижении женщины, а как раз наоборот, о преобладании наследия матриархата над показушным патриархатом Политбюро — не кажется ли вам? Прошу понять меня правильно, господа комиссары американского женского движения, неосторожно употребленная мной в отношении советской цензуры метафора и в самом деле явилась результатом векового рабства, однако частично — и это может служить для меня хоть небольшим оправданием — ее можно отнести к временам седого славянского матриархата, то есть к эпохе гармонии.

— Короче говоря, извиняетесь или нет? — примирительно вдруг спросила румяная активистка.

— О, да! — вскричал я. — Извиняюсь всеми четырьмя конечностями и... вообще извиняюсь!

— Ну, хорошо, — кивнула она. — Ваши извинения приняты. Только уж извольте больше никогда не употреблять вашей несуразной метафоры.

Я поклонился.

— Обязуюсь, мадам. С этого момента метафора изолирована.

Так довольно легко сошло мне с рук выступление на "панели" "Цензура" в рамках международной конференции "Писатель и права человека".

Позже я не раз вспоминал этот эпизод и пытался копнуть поглубже — может быть, и в самом деле в моей метафоре было что-то антиженское, ведь я как-никак имею некоторое негативное отношение к советскому феминизму. Моя теща от первого брака, напористая дама по имени Берта Менделева, в тридцатые годы поступила не в какой-нибудь педагогический или медицинский институт, а в Академию бронетанковых войск, которую и окончила перед началом второй мировой войны. Ее любимой поговоркой было популярное среди советских жлобов выражение: "Порядок в танковых войсках!"

Уже выйдя в отставку в чине полковника, она ходила в мерлушковой папаше и офицерской шинели и отдавала распоряжения высоким надтреснутым голосом. В период всенародной критики сталинизма она соглашалась — да, у Сталина были ошибки, и главная ошибка заключалась в том, что он в 1945 году остановил наши танки на Эльбе вместо того, чтобы позволить им прокатиться до Атлантики: ведь американские “шерманы” не шли ни в какое сравнение с советскими “тридцатьчетверками”.

Она принадлежала к поколению активного советского феминизма тридцатых годов, символом которого была знаменитая летчица Валентина Г. с лицом хоккейного защитника. Советские женщины тех времен упорно продвигались в такие области, о которых американки тех лет и не мечтали, — в армию, во флот (было несколько “пропагандистских” женщин, капитанов кораблей), в авиацию (несколько сокрушительных сверхдальних перелетов по “пропагандистским трассам”), становились суперзвездами труда, героями социалистического соревнования и так называемыми слугами народа, то есть депутатами Верховного Совета.

Самыми большими “слугами”, то есть хозяевами народа, женщины все-таки не стали. В Политбюро за все эти годы заседала (короткое время) только одна женщина, Екатерина Фурцева, да и та была из этого органа выставлена со свойственным тамошним мужичкам отсутствием элегантности и переброшена на управление культурой, видимо, потому, что культуру полагали делом как бы женским.

Сейчас в Советском Союзе от всех феминистских вольностей, пришедших по наследству от радикалок типа Рейснер и Коллонтай, почти уже и следа не осталось. Ни в войсках, ни на дипломатической службе, ни в правительстве женщин практически нет. Зато на дорожных работах их сколько угодно — перетаскивают тяжеленные шпалы, орудуя ломами и лопатами, а пьяненький мужичок с карандашиком при них бригадирствует. К тридцати годам средняя советская “баба”, обремененная семьей, стоянием в очередях и тяжелой работой, почти уже забывает “науку страсти нежной”, ей не до секса, тем более не до доминирования в сексе; амазоночкой при таких условиях не поскачешь.

Те, что чуть выше среднего уровня, городские девушки, студентки, артистки и прочий женский люд такого рода, из кожи лезут вон, пытаясь соответствовать западному стилю.

Одна из главных московских тайн — как умудряются секретарши при месячной зарплате в сто двадцать рублей щеголять в итальянских сапожках, которые при редкой удаче найдешь на черном рынке по двести рублей за пару.

Советская женщина озабочена проблемой сохранения привлекательности настолько, что мысли о доминировании над мужчиной ее посещают весьма редко. Прибавьте сюда семейные хлопоты, поиски доброкачественной пищи, которая тоже всегда находится в процессе этих таинственных кружений, и вы увидите, как далеки заботы средней советской женщины от средней современной американки, с ее четко отрегулированным весом, про-

думанной диетой и половой жизнью, аэробическими упражнениями и общественной деятельностью в рамках феминистских обществ.

Официальное советское женское движение, а именно Комитет советских женщин с его повсеместными филиалами, имеет малое отношение к реальной женской жизни, являясь лишь малоубедительной деталью в советских потемкинских деревнях. Неофициальное женское движение, начатое в Ленинграде группой энтузиасток, выпустивших самиздатский журнал "Мария", было немедленно задавлено внеполовым полицейским брюхом в его неизменных усилиях учинить насилие над всем, что не получило одобрения "соответствующих органов".

Волна американской одержимости, именуемой "сексуальной революцией", достигла, впрочем, и русских берегов, расплескавшись, однако, среди славянских холмов в довольно причудливых формах.

В стране, где издавна бытовал зов вечной бабьей недодоенности ("Ваня, приходи вечером, пол-литра поставлю"), сексуальная революция если и принесла женщинам чуть побольше радости, то не принесла им свободы ни на грош.

В России женская половина эротического акта всегда, даже и с лексической стороны, унижена. В английском языке вы можете сказать: "she fucked him", поставив этим "ее" если не в доминирующее, то в равное положение. В России выражение "она его ебала" в обычном порядке не применяется. В обычном порядке, однако, употребляется множество глаголов и глагольных модификаций, унижающих женщину, всегда размещающих ее в распластанной позиции рабыни под всемогущим кобелем.

В принципе сексуальная революция, пришедшая с Запада в СССР, революцией не является, но является дальнейшим расширением российского блядства, распутства, дебоширства.

Вспоминая весь этот советский, так сказать, background*, я подумал о том, что, может быть, и в мою "цензурную" метафору подсознательно вошло что-то оттуда, может быть, неосознанно пренебрежительное, снисходительно-ироническое отношение к женщине.

Впрочем, подумал я далее, что-то в таком же роде, очевидно, было и у атаковавших меня феминисток. Ведь не придут же в ярость мужчины из-за какой-нибудь метафорической шуточки, связанной, скажем, с мужской импотенцией.

В разгаре феминистской одержимости даже и галантность могла показаться пренебрежительной мужской метафорой. Осенью 1980 года в Чикаго американский друг сказал мне: "Ты зря пропускаешь вперед дам. За такие вещи можно теперь и по морде получить". Увы, привычка — вторая натура, и я постоянно придерживаю двери, всякий раз вглядываясь в лица проходящих дам и ожидая пощечины. Ни разу этого еще не случилось. Больше того, кажется, дамам, даже самым атлетическим, это приятно.

* Здесь — опыт.

Вот два лица американской сексуальной постреволюционной действительности. Однажды меня пригласили в класс creative writing* одного женского колледжа в окрестностях Вашингтона. Предварительно будущие писательницы пожелали ознакомиться с каким-нибудь моим рассказом в переводе. Я выбрал для них напечатанный в “Партизан ревю” “Гибель Помпеи”, в котором погребенный под вулканической лавой римский курорт не очень-то отдаленно напоминает советскую Ялту со всеми вытекающими отсюда реалистическими деталями.

На уроке мы говорили о чем угодно, но только не об этом рассказе. Мне казалось, что никто из учеников его не читал. Я спросил учительницу: “А в чем дело? Кажется, вы не давали студентам “Помпею”? Учительница, вполне соответствующая облику американской “передовой женщины”, неожиданно покраснела. “Простите, — пробормотала она, — но нашим девушкам вроде бы не стоит читать такие рассказы. Там слишком много секса”. — “Помилуйте, Глэдис, — секса? Вы сказали “секса”? Однако мне кажется, что там вообще нет секса в американском его понимании; сплошной лишь советский дебош...” Мы разошлись, пожав плечами и обменявшись неопределенными взглядами.

Глэдис, налив себе чашку кофе из кофейного источника, пошла в факультетский клуб и стала смотреть TV, где на канале PBS случилась интересная беседа об оргазме. Целомудренные студентки тем временем жевали гамбургеры на фоне объявления о дискуссии по поводу хирургического изменения пола с участием трех трансвеститов. Вот американская сторона проблемы — дискуссионный, почти научный, популярный секс в рамках освободительного процесса.

Я живу среди целомудренных американцев, и таких, кажется, в стране большинство. На углу в лавочке “7-11” среди предметов первой необходимости продаются журналы “Плейбой”, “Пентхаус” и “Хаслер”, которые для самого грязного развратника в СССР являются символом буржуазного нравственного разложения. Казалось бы, при такой доступности всего “запретного” давно уж все общество должно превратиться в сплошной “свальный грех”, однако в окружающей нас повседневной жизни никакого особенного разврата мы не видим; во всяком случае не видели ни в Анн-Арборе, ни в Санта-Монике, ни на Вайоминг-авеню в дистрикте Колумбия.

Между тем советское общество, которое, казалось бы, в силу железных ограничений всего неидеологического (попробуй найти в киосках “Союзпечати” журнальчик с голой натурой) должно было стать полностью пуританским, на самом деле таковым не только не является, а напротив, в жадной охоте за запретными яблочками бьет иной раз все западные рекорды, тяга к “запретному разврату” во много, много раз превышает интерес жителей треугольника Калорама к упомянутым выше журнальчикам в магазинчике “7-11”.

* Писательское мастерство.

Mr. HEFNER GOES TO USSR

В декабре 1983 года журнал "Плейбой" отмечал свой тридцатилетний юбилей. Я неоднократно пытался перевести это название на русский язык и не нашел лучшего слова, чем "Стиляга". По любопытному совпадению, журнал этот появился на свет Божий как раз в те времена, когда в Советском Союзе процветало молодежное движение, известное как "стиляжество". По всем параметрам этот журнал был "органом" как раз того поколения советской молодежи, хотя она его, разумеется, и в глаза не видела.

Основатель журнала, "великий Хью Хефнер", облаченный в свой неизменный халат из тяжелого шелка, в юбилейные дни появлялся на телеэкранах и рассказывал, как ему пришла в голову идея выпускать журнал с фотографиями голых девушек, в некотором смысле — отражением пресловутых "мужских фантазий". Женское тело для меня, говорил Хью, всегда было и остается воплощением романтики. Мистер Хефнер, безусловно, относится к тем давним и многообещавшим временам, ранним пятидесятым; в его журнале нет — или почти нет — более поздней похабщины. По отношению к женщине он демонстрирует джентльменство едва ли не в стиле романа "Великий Гэтсби".

Как-то на Эй-би-си была устроена дискуссия о "Плейбое" с участием феминисток. Я с интересом ждал избиения, однако вместо криков о "сексплуатации" феминистки снисходительно заговорили о некоторых заслугах "Плейбоя" в деле преодоления ригидности пятидесятих годов, а значит, и в деле освобождения женщин, хотя, конечно, заслуги журнала ни в какое сравнение не идут с мерами по контролю над рождаемостью.

К сожалению, дискуссионты не отметили юмор "Плейбоя", а он не всегда плох. Вот, например, славная картинка. Молодая художница в костюме Евы позирует сама себе, стоя перед зеркалом. В дверях ее друг, думает: "В Советском Союзе крошке пришлось бы рисовать трактор".

"Плейбой" в Советском Союзе — это благодатная тема. На черном рынке один экземпляр стоит 50 рублей, в Грузии, возможно, в два раза больше.

Вот вам три истории о приключениях детища Хью Хефнера в стране "победившего социализма". Две из них основаны на собственном опыте, третья на рассказе очевидца.

Однажды я поехал на профилактику своей машины в огромный московский центр автосервиса. Центр-то был огромный, но очередь машин значительно огромнее. Сразу стало ясно, что тут надо потерять день, а то и два.

Вдруг ко мне с гостеприимной улыбкой направился старший приемщик, за ним с улыбками, еще более яркими, шли два жулика поменьше. Без лишних разговоров они взяли мою машину и провели ее на конвейер без очереди.

Что случилось? Может быть, я узан как популярный писатель? Вдруг я догадался — “Плейбой”! Кто-то из служащих автоцентра углядел на заднем сиденье моей машины экземпляр “Плейбоя”.

Конвейер на некоторое время замер. Рабочие, для которых, как известно, главное — удовлетворить свою “родную коммунистическую партию”, сгрудились вокруг журнала, прискорбно забыв о социалистическом соревновании.

Впрочем, по достоверным сведениям, трудовые показатели этого дня неожиданно подскочили на несколько процентов.

Второй случай имел место на священной границе СССР. Я возвращался поездом из Парижа. На станции Брест советские таможенники проводили досмотр багажа. Вдруг — ЧП! У западной туристки обнаружено шесть экземпляров “Плейбоя”!

Не знаю уж, зачем ей понадобилось столько: может быть, она сама в этом выпуске фигурировала в качестве одного из “зайчиков”, а может быть, хотела сделать небольшой бизнес... однако — скандал! Нарушение таможенных правил СССР, запрещающих провоз антисоветской и порнографической литературы.

Пока таможенники с неподражаемой важностью и хмуростью заполняли протокол конфискации, один из экземпляров оказался в руках солдата-пограничника. Он замахал своим товарищам: ребята, вали сюда, “Плейбой” полистаем! Вскоре толпа солдатиков собралась в коридоре вагона. Персонажи гедонистического журнала явно приводили их в восторг. Непроницаемость священного рубежа в тот день была нарушена. Надеюсь, что кто-нибудь этим воспользовался.

И наконец, третья история, происшедшая за священными пределами, однако на “плавающей территории СССР”.

Советский крейсер (назовем его “Стража”), выполняя “визит доброй воли”, стоял во французском порту Тулонь. Разбитые на небольшие группы во главе с офицерами, политработниками и комсомольскими секретарями моряки даже и во время прогулок выполняли свою миссию, иными словами, как предписывалось, “гордо несли”, “с достоинством представляли” и т.д. и т.п.

На борту возвращающихся с берега прямо у трапа встречал помощник командира по политчасти и специальный наряд, проверявший морские запазухи и дающий шупавший промеж конечностей — нет ли чего лишнего.

И вдруг — тревога! — извлечен из штанины агент американского империализма журнал “Плейбой”! Взбешенный “помпа” (так матросы называют политработников) приказал трубить сигнал “все наверх”!

Те, кто был на борту, человек около сотни, построились на верхней палубе. “Помпа” произнес яростную речь против тех, кто пытался запятнать плейбойским позором красноразнаменный крейсер, а потом стал вырывать из

журнала одну страницу за другой и бросать за борт, в струи средиземноморского ветра.

Матросы мрачно смотрели, как кружатся и улетают прочь фотографии отменнейших девиц, столь любовно отобранных редакцией для всех мужчин планеты, и не в последнюю очередь для личного состава военно-морских сил, а когда “помпа” рванул и швырнул складную главную “фотку” с “Мисс Август” в одних лишь сетчатых чулочках, по строю советских моряков прошло глухое ворчание. Совершалось на самом деле грязное идеологическое надругательство над мечтой моряка. “Мисс Август” могла оказаться детонатором почище пресловутого котла с борщом, взорвавшегося в 1905 году на борту броненосца “Потемкин”. Крейсер “Стража” в тот день был на грани восстания. По приказу вернувшегося с берега командира корабля для матросов был устроен просмотр кинофильма “В джазе только девушки”.

Американское общество уникально. Иной раз охватывает оторопь — на чем держится этот огромный конгломерат при столь малой степени ограничений, при таком попустительстве природным человеческим страстям и страстишкам.

ШТРИХИ К РОМАНУ “ГРУСТНЫЙ БЕБИ”

1953

“Простенько покушаем, простенько покушаем”, — повторяли Филимон, Парамон, Спиридон и Евтихий. Между тем котлетки лежали недожеванными, картофельное пюре застыло, как зимняя пустыня Каракум, в то время как третья очередь “хлебного вина”, сиречь водки, проходила с завидной легкостью. “Простенько покушаем”, — прослужившись в очередной раз Евтихий, и вдруг вся четверка грянула немим хохотом и так, молча, тряслась, почитай, десять минут: юность, ничего не поделаешь.

Старший по залу Лукич-Адрияныч, глядя на трясущуюся кучку молодежи, решал нравственную дилемму: звонить или не звонить куратору “Красного подворья” майору МГБ Щедрине. Дилемма, естественно, была решена в позитивном ключе, и Лукич привычным шепотом зажарил в трубку:

— Считаю своим долгом коммуниста сигнализировать... Реакция разгулялась... Кошунственно злоупотребляют алкогольные напитки в день всемирного траура... Просьба нанести неожиданный удар, как по белочехам.

С ханжескими физиономиями появились музыканты, мужчины-репатрианты Жора, Гера и Кеша и их выкормыш из местных, юноша Грелкин. Первые трое происходили из биг-бэнда Эрика Норвежского, что возник в недалеком прошлом в международном китайском порту, захваченном ныне красными ордами Мао Цзэдуна. Оказавшись хочешь не хочешь под властью самой передовой теории в китайском варианте, русские джазисты преисполнились патриотических чувств и устремились в объятия исторической родины России-СССР. Увы, объятия были какими-то наждачными, у музы-

кантов задымилась кожа. Руководителя Эрика Норвежского отправили адаптироваться за Полярный круг, а остальные, теряя американские ноты, попрятались малыми отрядами по местным кабакам.

Что касается юноши Грелкина, то он хоть и из исконной комсомолии происходил, попал под тлетворное влияние “музыки толстых”, выказал значительные таланты и был приобщен “шанхайцами” к тайнам запрещенного искусства.

Официально в репертуаре у четверки значились народные шедевры вроде “Березки” и “Голубки”, однако за полчаса до закрытия заведения, “под балду”, играли они “Сент-Луис блюз” и “Грустного беби”.

Увидев знакомых “футуристов-мушкетеров”, Грелкин подошел к сверстникам и стал угрюмо лицемерить. “Ах, какая большая лажа стряслась, чуваки! Генералиссимус-то наш на коду похилил, ах, какая лажа...”

“Надо сомкнуть ряды, Грелкин, — сказали ему друзья. — Хорошо бы потанцевать! Вон уж и наши чувишки подгребли — Кларка, Нонка, Милка, Ритка, смотри, не померзали по дороге, только рожки чуть перекосились. Слабай нам, Грелкин, чего-нибудь в стиле”.

Бух, маленький взрыв. Помолодевший за время попойки мороз с мясом вырвал из окна форточку. “Заткнуть, заткнуть, не выпускать тепла!” Паника. Кто-то несется с диванной подушкой.

Слово “заткнуть” еще сильнее долбануло, чем “покушать”. Филимон, Парамон, Спиридон и Евтихий в корчах стали сползать со стульев. “Кочумай, чуваки, — сказал, задрожав и оглядываясь, Грелкин. — Совесьь у вас есть: лабать, кирять, берлять и сурлять в такой день? За такие штуки нас тут всех к утру расстреляют”.

Вдруг, матушки, быстро из зала в зал прошел кто-то лиловатый и как бы без штанов. Боб Бимбо, американский угнетенный, в кальсончиках!

1985

Летучий дух Америки, мистер Флитфлинт, в принципе, может преобразиться и таким, скажем, образом.

Сильнейший сплин в тот сезон сковал воображение Ф-Ф. Радости Малибу не помогли — рутина; все как-то приелось.

Марш за моря, и вот мы за морями. Тут вроде поживее. Подразделение пляжных девушек, тридцать три сардинки, ножками к воде, головками к кафе, и все улыбаются Флитфлинту как обладателю карточки “Мастеркард интернэшнл”.

Вечерами, подтягивая галстук-бабочку, спускаемся в центр Европы. Устрицы, седло барашка, брюле... вся эта снедь в курсе событий. “Мастеркард интернэшнл”, ветер головокружительных приключений.

198

Однажды ГМР отправился в экспериментальный театр, что под эстакадой Санта-Мелинда фривея, справа от входа в туннель. В прерыве спектакля послал записку за кулисы:

“Почему бы вашему Ромео по пути к балкону не завернуться в край занавеса и не вздуться наподобие агавы, имитируя неумолимость и трансцендентность своего желания? Почему бы вашему Меркуцио не передвигаться на одноколесном велосипеде, жонглируя факелами как символами Возрождения? Принципиально против появления няни из левой кулисы! Она всякий раз должна парашютировать с колосников...” — и так далее, всего шестьдесят четыре предложения.

В городе вскоре заговорили о новом потрясающем спектакле. ГМР пришел опять. Ромео вздувался агавой. Меркуцио, крутя педали, глотал огонь. Няня с загипсованной ногой висела посреди сцены на застрявшем парашюте.

После спектакля вышел режиссер и показал на человека в зале. Леди и джентльмены, всем этим мы обязаны ему! Перед вами мой учитель, второй Станиславско-Немирович-Данченко, третий Мейерхольд, четвертый Любимов, корифей Московского Театра-на-Бочонке, мистер... м-м-м...

Итак, ГМР опознан и признан! Начинается новая глава его американской одиссеи.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

После летней духоты и долгой прозрачной осени (и то и другое столь непохоже на Россию) наступает середина января, и в Вашингтоне недели на три воцаряется настоящая русская зима: то завьюжит, то вдруг уляжется посреди морозной голубизны. Эмигрантская пара в такие дни, неизбежно напоминающие школьные хрестоматии, бесцельно прогуливается по пронумерованным улицам “даунтауна”. Воздух пахнет Пушкиным, Бульварным кольцом Москвы. Бесцельное заглядывание в витрины. “Смотри, Майя, хорошие новости — смокинги подешевели!”

Магазин готовой одежды “Бертран Рассел” предлагает пятидесятипроцентную скидку на супербуржуазные одеяния. Хорошего русского слова “смокинг” они, конечно, не знают и называют эти спецовки званных приемов “таксидо”. Момент идеологического колебания у дверей магазина.

В СССР со времен нэпа никто никогда не играл в гольф, не ел устриц и не носил смокинг. Приобретение оногo — шаг, возможно, не менее серьезный, чем эмиграция. Ну что ж, логика антиидеологии толкает нас перешагнуть порог “Бертрана Рассела”.

...Едва мы вернулись с покупкой домой, как прозвучал звонок телефона. Звонили из Нью-Йорка, из писательской организации.

— Господин Аскин... Аксэн... ну, словом, Василий, не хотели бы вы посетить ежегодный гала-прием со сбором в пользу литературных меньшинств Канады?

— Гала-прием? Разумеется, хотел бы, но, позвольте, как вы догадались

позвонить именно сегодня, именно в этот час, когда я оказался так блестяще подготовлен?

— Ха-ха-ха! Немного мудрено, но мы вас ждем.

На следующий день гудела пурга. Видимость вдоль “Восточного коридора” приближалась к нулю, однако скоростной “метролайнер” мчался в Нью-Йорк с лихостью не меньшей, чем у тройки гусара Дениса Давыдова по пути из Москвы в Петербург. “Проспавшись до Твери, в Твери опять напьюсь и пьяным в Петербург на пьянство прискачу...”

Глядя сквозь снежные вихри в сторону Атлантического океана, я думал, как и подобает эмигранту, о странностях судьбы и о той американской, некогда мифической художественной сцене, в которую я нынче вхожу пятидесятилетним новичком.

ОТВЕЧАЯ НА ОТВЕТ

Прошлым летом по дороге к вермонтским идиллиям мы завернули в Амхерст, Массачусетс. Я был приглашен принять участие в проводившейся там конференции Группы театральных коммуникаций. В Амхерсте между тем процветала его собственная идилия: центр города представлял из себя большую лужайку, окаймленную каштанами и “белыми соснами”, за стволами виднелись низкие домики с лавками в первых этажах, церковь и здания старого университетского кампуса. Отель, в котором нас ждала комната, назывался “Лорд Джеффри” и напоминал Стратфорд-на-Эйвоне.

Мы прибыли под вечер, а конференция работала уже с утра. Я включил телевизор — как раз время новостей, любопытно, что они расскажут о событии. “Дождись, расскажут, — проворчала жена. — Ты думаешь, театральная конференция — для них событие?” Майя настроена скептически к американскому телевидению, несмотря на то — или благодаря тому, — что является ревностным зрителем “Далласа”, “Династии”, “Бумажных кукол”... Эти серии, между прочим, для многих эмигрантов стали как бы пособиями в овладении языком Шекспира.

“Позволь, — сказал я, — не каждый день, ей-ей, в Массачусетсе проходит всеамериканская театральная конференция, на которую собираются более чем полтысячи театральных деятелей из более чем двух сотен театров, не говоря уже о таких знаменитостях, как драматурги Артур Миллер, Джон Гуэр, Дерек Уолкотт, Янош Гловацкий, режиссеры Зельда Фичлендер, Питер Селлерс, Тадаши Сузуки, Оливье Чулей...”

Возгорелся голубой экран. Первой новостью оказались “расовые столкновения” неподалеку от Амхерста. Выглядели эти “расовые столкновения”, впрочем, как обычная русская драка “по пьянке”, когда одна часть деревни задирает другую. Затем большой кусок новостей посвятили пожару в отелчике по соседству. Дым, языки огня, трехсотфунтовое мужское тело проламывает раму, шлепается спиной вниз на натянутый брезент. Впечатляющие кадры! На Руси пожар — это всегда праздник, мать Америка тоже любовно относится к этим народным событиям. Основной новостью дня оказалась,

однако, не новость о пожаре и не драка, а драматическая исповедь некоей миссис Перкинс. Она призналась в том, что девятнадцать лет назад была сексуально потревожена директором местной школы. Интервью с ней продолжалось десять минут, суть дела несколько затуманивалась псевдоюридической терминологией, которую бойко употребляла жертва. Общественность напустила еще больше дыму. Директор же, печальный носатый мистер Гумберт, сказал, что он был бы рад способствовать установлению истины, однако никак не может припомнить той крошки.

О театральной конференции не было сказано ни слова — ни в тот вечер, ни в последующие. Больше того, за все три дня исключительно интересных дискуссий на конференции не появился ни один репортер.

Пресловутое правило американской mass media* показать человека, “кусающего собаку”, толкает легион американских местных репортеров — колоссальный контраст, между прочим, в сравнении с блестящей школой американской международной журналистики, особенно с поколением, прошедшим Вьетнам, — выискивать в качестве новостей всякие гадости. Если же к очередному выпуску новостей новых гадостей не накапливается, то неизбежно освежаются прежние. Театральные конференции на этом фоне, конечно, не новости.

Актеры школы господина Сузуки говорили, что, оказавшись на сцене, они прежде всего стараются определить, откуда в данный момент на них смотрят глаза Бога. Люди американского театра стоя аплодировали урокам сценической пластики. Я подумал о том, что им, может быть, и удастся определить направление Божьего взгляда, но вряд ли они узнают, откуда на них смотрят глаза Америки. Талантливый и полный жизни театральный мир этой страны прочно выбит на задворки, обращен в бездоходного родственника. Где эти лица, полные мысли, воображения, юмора? Вместо них страна изо дня в день видит на экранах хорошеньких дурачков, наводящих только на одну мысль: есть ли предел бездарности и деревянности?

Кем-то (вот любопытно, кем же?) выработана незыблемая эстетика и пластика так называемого коммерческого телевидения. Постановщик недавней мини-серии “Фиеста” объясняет свое насилие над Хемингуэем тем, что ему пришлось убежать от “импрессионизма” книги. Импрессионистический подход, говорит он, не вытягивает и полутора минут на коммерческом телевидении. Ради Бога, что же он хотел сказать своей работой без “импрессионистического подхода”? То, что, не будь первой мировой войны, Джейк и Брет были бы счастливы? В результате такого приспособленчества мы остаемся в замешательстве, когда фильм перебивается рекламой парфюмерии Эсти Лаудер, принимая ее за продолжение американской классики.

Фальшивый советский лозунг “искусство принадлежит народу” странным образом осуществляется в Америке, потому что именно народ, то есть массы, а не эстеты-одиночки, платит массовые деньги и потому выглядит как бы в роли заказчика. Предусматривается, однако, что народ “прост”, и

* Система массовых коммуникаций.

тут концепция “простоты” нередко скатывается до “простоватости”. Запросы народа вырабатываются предложенным товаром. По сути дела ответ на “запросы народа” — это ответ на ответ, Взаимовлияние масс и массовой культуры крутится по замкнутому кругу. Чье влияние первично, на этот вопрос уже почти невозможно ответить. Что было раньше — курица или яйцо?

В этой связи трудно уже говорить об американской авангардной традиции. В журнале “Роллинг стоун” я прочел, что “голливудский гений” Стивен Спилберг долго не мог получить своего первого “жирного бюджета”, так как его подозревали в авангардистских наклонностях. Пришлось бедняге доказывать, что таковых не имеется. Пол Мазурский поставил великолепный и не лишенный авангардной романтики фильм “Буря” и провалился в кассе: народ не принял замысловатостей. Следующий фильм — “Москва-на-Гудзоне” — режиссер сделал уже по железным законам “мыла”^{*} и огреб кассу. Что остается делать режиссерам, если по результатам “бокс-офиса” нынче уже присуждаются академические награды? В Москве-не-на-Гудзоне мы называли эти дела не “мылом”, а “соплями с сиропом”.

Вот один из моих американских сюрпризов — зажим авангарда! Изда-дека, из царства социалистического реализма, нам казалось, что авангардная традиция в Америке по-прежнему процветает, что американская литературно-театрально-киношная сцена представляет из себя пульсирующий и светящийся космополитический “плэйграунд”. Глядя изнутри, видишь со все нарастающим удивлением, что эта сцена при всем ее гигантском размахе носит черты деревенской лавки — поиски “вернячка”, боязнь риска, паника при слове “эксперимент”.

Провинциализм, разумеется, не всегда отрицательное качество, особенно если речь идет о национальной литературе. Фолкнер в конце концов провинциальный американский писатель даже в большей степени, чем Достоевский был провинциальным русским, однако только сейчас, живя здесь, я начинаю понимать до *какой* степени американская литература является чисто американским, а не международным делом. Наше прежнее отношение к ней стояло на мифологии.

Среди космополитических мифов существует — или существовал — дивный миф “Знаменитого Американского Писателя” — ЗАП (FAW). В прошлые годы, в Советском Союзе, мне приходилось с этим типом встречаться, и я предполагал, что знаю, как себя вести при этих встречах. У моей жены опыта в этом меньше, и в связи с этим мы иной раз попадаем впросак.

Как-то раз звонит нам в Вашингтон один ЗАП, называет моей жене свое имя и делает паузу в ожидании соответствующей реакции. “Будьте любезны, по буквам”, — говорит жена. К ЗАПу уже тридцать лет не обращались с такой просьбой, ошеломленный, он, запинаясь, спеллингует свое

* Намек на коммерческие телевизионные спектакли, называемые “соуп-оперы” (soap opera).

имя. Я прихожу домой, и жена мне говорит: “Тебе звонил американский писатель по имени “вот посмотри”... В ее транслитерации получилось что-то вроде Тутанхамона. Тут он позвонил снова: “Мистер... м... Акселотл, это звонит вам такой-то... — неуверенно добавил: — ...американский писатель”. — “Как?! — вскричал я, стараясь восторженной интонацией исправить промашку жены. — Это вы?! Тот самый?!” ЗАП вздохнул с усталым облегчением: “Да, это я, тот самый...”

В начале литературной жизни моего поколения, которое столь счастливо совпало с развалом сталинского “железного занавеса”, пятеро американских писателей захватили наше молодое воображение. Хемингуэй, Фолкнер, Фицджеральд, Дос Пассос и Стейнбек — мы называли их “Великой Американской Пятеркой”.

Встретиться пришлось только с одним из пяти. Осенью 1963 года Джон Стейнбек появился в Москве, живая легенда, в длинном и широком твидовом пальто; казалось, что в карманах там покоятся основательные запасы всякого добра, нужного ЗАПу в странствиях: табак, виски, мотки проволоки для скрепления сюжетов, крючки и леска для ловли метафор... Большое лицо в морщинах и алкогольных венозных паучках... Вот он, настоящий кит американской литературы XX века, космополит, бродяга, дон жуан, пьяница, словом, “почти Хемингуэй”. Последнее качество Стейнбеку, видимо, не очень-то нравилось.

“С этим вашим Хемингуэем, — говорил он, — я встречался только два раза. Первый раз платил за “скач” он, в другой раз мне пришлось раскошелиться. Мы почти не разговаривали. О чем нам с ним говорить? Его интересовали какие-то титанические рыбы, а меня размером не более сковородки”.

Посол США Фой Колер пригласил меня (очевидно, как представителя “новой волны”) на обед в честь Стейнбека. Классик к моему приходу, должно быть, уже хлебнул и приветствовал молодого писателя сильнейшим хлопком по спине. “Как пишется, Василий?” Я пришел в восторг — вот она, рука ЗАПа!

Он был полностью в “образе” и за обедом нес много очаровательной чепухи, тревожа дипломатов и секретаря Союза писателей Алексея Суркова. “Для чего человеку пуп? Друзья мои, если вам захочется ночью поесть рёддиски, лучшей солонки не найти!”

На прием в журнал “Юность” он пришел в другом настроении. Мрачно и сердито он задавал молодым писателям какие-то темные вопросы. “Вы знаете, что лес уже горит? Слышите треск сучьев, волчата? Будете драться за свои шкуры или превратитесь в шелудивых собак?..” Может быть, он имел в виду незадолго до этого проведенную партией борьбу с молодым постсталинским искусством? Лучшим ответом на его вопросы стала бы знаменитая песня Владимира Высоцкого “Охота на волков”, но она к тому времени еще не была написана. Мрак леса не очень-то соединялся с деревенским праздником нашей молодости — его не смог испортить даже Хрущев. “Рас-

скажите нам, пожалуйста, о ваших встречах с Эрнестом Хемингуэем, мистер Стейнбек!" Он презрительно замолчал, а потом сказал, что ему нужно в туалет, и скрылся.

Джон нахлобучил свой *florru hat** и вышел из "Юности" в промозглый сумрак поздней московской осени. Он знал по-русски название одного воровского района здешней столицы. "Мар-р-р-ина Р-р-рош-щ-ша", смесь рычания с шипением. Так он и прорычал с шипением таксисту.

По дороге он думал о тяжелой доле нобелевских лауреатов. Повсюду сопровождающие лица, себе не принадлежишь. Русские, словно сговорились, все талдычат о Хемингуэе. Трудно понять, чем живет эта страна. Евтушенко, кажется, не типичный ее представитель. Посмотрим, каково будет в Марьиной Роще, куда рекомендуют не ездить...

Никакой "рощи", разумеется, в Марьиной Роще не было. Унылые строения и битком набитые троллейбусы. Светилась одна неоновая вывеска "Гастроном". Вот здесь, за неимением баров, русские общаются друг с другом. Он уже слышал о широчайшем распространении тройственных союзов. Три персоны скидываются по рублю и берут пол-литра. Почему-то всегда на троих. Почему? — вот вопрос. Что за таинственные тройные ячейки, и почему милиции это не нравится? Надо попытаться проникнуть в этот секрет. Нобелевские лауреаты, конечно, не из числа тех, что предпочитают с дайкири нежиться под гавайским солнышком, должны проникать в глубь народных масс, где бы то ни было, хоть в Северной Дакоте, хоть в Марьиной Роще.

Он вошел в кишасый народом магазин и с высоты своего роста огляделся. Гражданин в хорошо прожеванной одежде, сразу определив в нем единомышленника, делал знаки, показывая из-за пазухи дрожащий палец. Джон тоже выставил свой грешный указательный. Они сблизились. Подскочил третий пальчик. Все трое вынули по рублю.

С бутылкой весело, головка к головке, тройца вышла из магазина и прошла в грязный скверик. Хорошо прожеванный гражданин вынул из карманов пальто два стакана. Двое культурно, один — горнистом. "Лады, Большой?" — спросил он Стейнбека. Тот кивнул. "Tell me, — сказал он, — why is it always by three?"*** — "Глаз-ватерпас, — сказал маленький пальчик. — Каждому по сто шестьдесят шесть граммчиков, два грамма Большому на рост. Вздروгнули!"

После первой бутылки хорошо прожеванный гражданин извлек еще один хорошо прожеванный рубль. Маленький пальчик последовал его примеру. "Большой", то есть Джон Стейнбек, тоже не заставил себя ждать. Вторая бутылка прошла гладко и в темпе. Джон хлопнул друзей по спине. "You bastards, tell me why is it always by three?"*** — "Ты много разговариваешь, — сказал маленький пальчик. — Тот, кто много знает, тот мало раз-

* Мягкая складная шляпа.

** Скажите мне, почему всегда на троих?

*** Вы, отребье, скажите мне все-таки — почему всегда на троих?

говаривает". — "Once more?"* — спросил Стейнбек. Вот это дело. Друзья стали выцарапывать мелочь из складок одежды. Джон дал три рубля. "Большой!" — восхищенно ухнули двое. После третьей бутылки Джон Стейнбек тяжело опустился на обледенелую скамейку и закрыл глаза. "This bloody good will mission"**, — пробормотал он и слегка отключился.

Очнулся он от толчка в плечо. Над ним стоял милиционер и требовал документы. Морозный ветер скрипел в ветвях. Аптека, улица, фонарь. "Что за птица? — думал милиционер. — Кажись, не наша". Стейнбек вспомнил еще два слова, которым его научила переводчица Фрида Лурье:

— Амэр-р-р-рикански пис-с-сатэл, — сказал он. Рычание со свистом.

"Так и есть", — подумал милиционер и взял под козырек: "Добро пожаловать, товарищ Хемингуэй!"

Из этой довольно популярной московской легенды видно, что даже московская милиция в некоторой степени была знакома с образом "знаменитого американского писателя" тех лет, к которому наш замечательный Джон Стейнбек волей-неволей был пристегнут.

В разгаре хемингуэевского бума конца пятидесятых и начала шестидесятых "Папа" был идолом российского студенчества и интеллигенции разных возрастов и направлений. Даже так называемые международники, иными словами, гэбэшники, что шуровали на Кубе и в Латинской Америке, были под хемингуэевским влиянием.

Попав впервые в Париж, я нашел, что он окрашен для меня не только своим собственным тысячелетним очарованием, но и промельком тех мимолетных американцев конца двадцатых, пьяной свитой поклонников леди Эшли. В конце бульвара Монпарнас, где сквозь листву платана просвечивает статуя маршала Нея и доносятся звуки пианино из "Клозери де лила", я вспоминал фразы "Фиесты"; магия тех простых фраз.

Культ Хемингуэя возник в России оттого, что его лирический герой совпадал с идеализированным, то есть неверным, а может быть, как раз очень верным, в некотором астральном смысле, образом американца; он воплощал в себе то, чего так драматически не хватало русскому обществу, — личную отвагу, риск, спонтанность. Набоков как-то раз пренебрежительно назвал Хемингуэя "современным Чайльд Гарольдом". Довольно точное определение, но тут надо вспомнить, что и Байрон в свое время поразил русское общество, возбудил дворянскую молодежь. Уникальные таланты Пушкина и Лермонтова начинались по разряду провинциального байронизма. Восстание гвардии в декабре 1825-го было вызвано байроническим вдохновением.

Существенным моментом притяжения был также хемингуэевский алкоголь. Излюбленный недуг России требовал периодической романтизации, каковую в девятнадцатом веке он получал от гвардейских гусар и кавале-

* Еще?

** Эта проклятая миссия доброй воли.

рийского поэта Дениса Давыдова. Теперь можно было пить на современный, американско-космополитический, хемингуэвский манер. Алкогольные эксцессы нашего поколения, конечно же, имеют отношение к творчеству "Папы", а распутство литературных девочек отходит к эскападам Брета Эшли.

Потом вдруг как-то все устали, все вдруг как-то стало слабеть, тускнеть, и неудивительно: Хемингуэй — ренессансный писатель, и когда ренессанс испаряется, испаряется и "хемингуэвина". Этот термин, звучащий слегка как похабщина, стали употреблять московские снобы, подхватившие чью-то фразочку "хвост мула у Фолкнера стоит дороже всех взорванных мостов Хемингуэя".

Нам говорил скабресный демон моды: не смешите меня своим Хемингуэем, хоть он у вас и вышит сингапурским мулине по шведской парусине. Подумайте сами, сколько уже лет он у вас висит. Сегодня выносите всех своих хемингуэев на свалку! Пришла теперь пора прощаться... Прощай, прощай, Хемингуэй! Я встретил тебя однажды ночью, и ты мне рассказал нехитрую историю про "кошку под дождем". Прощай, солдат свободы! Мы больше не встретимся в Памплоне и не будем дуть вино прямо из меха. Прощай, веселый твой солдатский, лихой американско-средиземноморский алкоголь! Увы, нам уже не въехать вместе на "джипе" в пустой, покинутый немцами Париж, не опередить армию! В сумерках среднего возраста мы забудем твою науку любви, ту лодку, что вечно отплывает, и науку стрельбы по буйволам, науку моря, зноя и горного кастильского мороза. Прощай, тебе отказано от дома, ты вышел из моды, гидальго XX века, первой половины "Ха-Ха", седобородый Чайльд, прощай!

Попрощавшись с ним таким вот макаром, я сообразил, что это новая встреча.

...Итак, мы едем на литературный гала-прием. Снегу в тот вечер было, как в Москве. Крутило. Таксист-нигериец в ужасе смотрел на несущиеся снежные космы. Доехав каким-то чудом до места назначения, он признался, что всего два месяца, как водит такси в Нью-Йорке, потому что и вообще два месяца, как в Нью-Йорке, и ничего подобного вот этому белому и холодному песку, который так неумолимо сыпется с неба и делает дорогу такой безобразно скользкой, он не ожидал здесь увидеть.

Я стою в толпе на приеме в центре Манхэттена. Есть что-то античное в этих стоячих американских "парти" — кажется, будто кто-то тут околачивается с парой кинжалов за складками тоги. Где же Цезарь? А вот и он, автор чего-то "самого захватывающего, самого фундаментального". Знакомых лиц мало, пара-другая — из тех, что когда-то посещали Москву, однако чувствуется, что ты в центре литературного истеблишмента. Поражает число высоких женщин. Высокие красавицы как молодые, так и старые, — отбор, очевидно, идет давно.

Я вдруг подумал не без грусти, что меня сейчас не очень-то интересует

современная американская литература. Вдруг я осознал, что произошло какое-то испарение ностальгии. Сигаретные дымки над головами высоких женщин, чуть пониже симпатичные седины и плечи моих американских коллег, окна, охватывающие полнеба, за окном подмигивание стоэтажных финансовых столбов... грустный момент утешки одного из ранних очарований.

Что случилось? То ли сама эта человеческая группа вместе с воплощающим ее образом ЗАПа так изменилась с прежних “хемингуэевских” времен, то ли она просто оказалась не такой, какой представлялась издали, то ли я сам изменился в брюзгливости среднего возраста, то ли наша человеческая группа, именуемая “современной русской литературой”, так основательно изменилась после того, что пришлось хлебнуть... Рассеялась аура отдаленных пространств, открытого мира, рискованного предприятия, нынче для меня американская литература просто встала в ряд других западных литератур.

Аура рискованного предприятия нынче окружена сопротивленческой литературой Восточной Европы и Советского Союза. Может ли современный писатель найти для себя более головокружительное приключение, чем литературное изгнание?

Сказав об утешке *особого* интереса, я вовсе не расписываюсь в равнодушии. Напротив, я полон профессионального любопытства и на правах члена Американской авторской гильдии я постоянно обзираю уже частично как бы и *свое* профессиональное поле.

Образ ЗАПа и в самом деле престраннейшим образом изменился под увеличительным стеклом американского быта. В принципе, ведь и везде писатель озабочен созданием и сохранением персонального обличья. В Советском Союзе поэт Островой, автор бессмертной строки: “Я в России рожден, родила меня мать”, — ни при каких обстоятельствах не снимает тяжелых очков. “Народ знает меня в этих очках!” — заявляет он. ЗАП тоже не меняет обличья, не запускает бороды или, наоборот, не бреется, если был бородат к моменту своей славы, держит в зубах погасшую сигару, даже если она ему осточертела, живет в отшельничестве, если за ним повелась репутация отшельника.

Общество обожает ЗАПа, он — любимец, такой немножко как бы капризуля; из множества мифов он один из самых обаятельных, он, кроме всего прочего, и сам является персонажем американской литературы. Процент “писателей” из общего числа персонажей весьма внушителен. Начинающий писатель пишет роман о начинающем писателе. Приходит первый успех, и появляется книга о первом успехе. Разочаровавшись в приманках славы, писатель пишет о писательском разочаровании. Начинается период семейных неурядиц, измен, адюльтеров, и появляется роман о писательских разводах, изменах, адюльтерах...

Соблазн велик, знаю по себе. Каждое утро, садясь к столу у окна над крышами Вашингтона, хочу написать: “Мистер Акселотл, писатель в изгна-

нии, сел к своему столу у окна над крышами Вашингтона“. Увы, обуживаю свой нарциссизм: надо подумать, господа, и о молодых литераторах.

Первая проба профессионализма — написать не о себе. Начинаящий писатель, однако, смотрит на своих старших собратьев: все пишут о собственных геморроях, а почему мне нельзя? В результате в “Атлантиках“ и “Харперсах“ появляются почти не отличимые друг от дружки рассказы, составленные по такой приблизительно схеме.

Сентябрьским вечером, сидя на крыльце своего дома, Шейла М. ждала гостей. Она была стройна (120 фунтов) и обладала пышной каштановой гривой, парой (!) голубых глаз и смугловатой кожей, залитой закатным солнцем (sic!). Спокойно и грустно она думала о своих литературных успехах и о недостатках своей половой жизни.

Недавно она получила за первый сборник своих рассказов большой приз от Национального фонда искусств, но зато Брюс В., который только что ее покинул, спал с ней не чаще, чем два раза в год, то есть за те пять лет, что они провели вместе, он спал с ней десять раз. Иные спят по десять раз за раз и ежедневно, то есть три тысячи шестьсот пятьдесят раз в год, или семнадцать тысяч двести пятьдесят раз за пять лет. В чем причина нашей странной бессонницы?

В стареньком “фольксвагене“ подъехали гости, университетская подруга Шейлы М. Джин С. (несомненно, вторая Шейла М.) и ее бойфренд Гордон Ш. (несомненно, третья Шейла М.). С первого взгляда было видно, что пара наслаждается избытком половой жизни, близким к вышеупомянутой калькуляции.

Втроем они сделали салат из латука и немножечко покушали. Ночью Гордон Ш. пришел к Шейле М. и разбудил в ней женщину. Возможны варианты.

Утром они снова ели салат из латука и обсуждали свои литературные дела. Шейла рассказывала замысел своего романа об одинокой женщине-прозаике, Джин говорила о премии, которую ей обещали в Национальном фонде искусств за новую книгу стихов, Гордон поведал о своих мощных усилиях в Голливуде.

Несколько перемещений в толпе манхэттэнского приема — подальше от Брута, подальше и от Цезаря, — и я оказываюсь рядом со знакомым ЗА-Пом; книги его читал еще в переводах, а самого встречал на международных конференциях. В разговоре он жалуется мне на неприятности с цензурой. Вот именно с цензурой, сэр! Вы думаете, только в России существует цензура? Недавно в Миссури школьный совет округа Тмутаракань постановил изъять мои книги из библиотеки. “Их, видите ли, смущают иные четырехзначные слова и некоторые фривольности моих персонажей. Вот вам новое наступление ханжества, как во времена Маккарти! В Советском Союзе мои книги все-таки переводятся и издаются, не так ли?“

Я почесал в банке. “Кажется, сэр, я знаю, как решить проблему со школьной библиотекой в Миссури. Нужно сделать обратный перевод с со-

ветских изданий на английский, и, ручаюсь, никаких неприятностей у вас больше не будет“.

Он посмотрел на меня в некотором смущении. “Прошу прощения, старина, в самом деле не очень-то уместно было говорить о цензуре с вами“.

В одном университете после лекции меня спросили: знают ли в СССР ведущих американских писателей? Не без осторожности я задал встречный вопрос: каких именно писателей имеет в виду студент? Он назвал имена из списка бестселлеров. Пришлось развести руками. Эти имена почти не известны активной читающей публике в России. Я и сам их не знал, пока не приехал в эту страну, а между тем именно они волей-неволей направляют массовый литературный вкус, хотя, возможно, меньше всего думают об этом предмете.

Для читающей публики в России существует другая американская литература. Переводчики, надо отдать им должное, отбирают книги не по количеству проданных экземпляров, а по приметам так называемой серьезности. Конечно, в тех случаях, когда не удается обойти идеологический частокол, переводчики подвергают американских авторов порядочной стрижке с удалением не только излишней волосистости, но и кусочков плоти, но все-таки, благодаря высокому уровню переводческой школы, советские читатели смогли в течение последних двадцати пяти лет познакомиться с рядом блестящих имен.

Особенно четкой границы между “серьезной” и “коммерческой” литературой, как я понимаю, сейчас нет. Иной раз и “серьезные” попадают в золотые списки, другой раз и постоянные обитатели этих списков демонстрируют твердую руку и серьезность проблем. И все-таки ориентировка на списки торговых рекордов вызывает к жизни не только несметное число безвкусицы, но и особый тип пишущего человека.

Однажды я познакомился с романистом, который на вопрос, какого рода книги он пишет, ответил просто: бестселлеры. К сожалению, плоховато продаются, добавил он.

В определенном смысле коммерческая литературная халтура имеет некоторое сходство с идеологической литературной халтурой.

Как-то раз на телебеседе дамочка-писательница делилась секретами своего ремесла. “Прежде чем начать новую вещь, — говорила она, — я тщательно изучаю спрос. Писатель, — она поднимала приятный пальчик, — должен знать литературный рынок“. Легко воображаю эту даму в роли члена Союза писателей СССР. Таким же благообразным тоном: “Писатель должен изучать последние партийные документы, быть в курсе решений партии по литературным вопросам“.

Кружным путем сообщество авторов бестселлеров напоминает советскую партийную номенклатуру: в нее трудно попасть, но из нее почти уже невозможно выпасть. Нынче в американской литературе книга часто становится бестселлером, потому что она написана автором бестселлеров. Читатели доверяют этим авторам, полагая, что вкладывают деньги в стоящее со-

лидное дело. Авторы стараются поддерживать “торговую марку”, выдавать на-гора то, чего от них ждет рынок. Вырабатывается коммерческая инерция, под которую нередко попадает и “серьезная” литература. Тут не до экспериментов.

К внутриамериканской торговой инерции я отношу и равнодушие по адресу иностранных книг. Успех итальянца Эко уникален. Один книготорговец как-то объяснял мне: пролистывая новую книгу и находя в ней иностранные “трудные” имена, наш массовый читатель автоматически откладывает ее в сторону. Забавно, не правда ли, для страны, где добрая половина населения состоит из Джонов Домбровичей и Джейн Дзапарелло. В России, между прочим, наоборот — при виде иностранных имен читатель заинтригован.

Любопытно, что литературная критика очень мало влияет на продажу, она как бы существует вне коммерческой сферы. Вряд ли найдете вы в солидных еженедельниках рецензии на самое “горяченькое”, иной раз лишь что-нибудь сквозь зубы, глуховато-ироническое, однако авторы бестселлеров в положительных ревью, очевидно, просто не нуждаются: они уже в *списке*! Воспитание литературного вкуса происходит в замкнутом кругу лиц с хорошим литературным вкусом.

В общем и целом, я раскланиваюсь в любезной позе, насколько могу. В какой-то мере я и сам уже часть этой литературы (и не только на правах “национального меньшинства”), литературы, в которой все еще, несмотря ни на что, крутится хвост йокнапатофовского мула, взлетают в воздух испанские мосты, бренчит джаз бит-поколения, и ковыляет раненый кентавр Новой Англии. Страдает ли литература от сожительства с долларом или что-то от этого выигрывает? — вопрос еще открыт. Увы, человечество пока не придумало системы отношений, более естественной, чем деньги. То, что нам предложил Карл Маркс, на деле оказалось возобновлением отношений доденежной поры. Это, впрочем, не может отобрать у писателя права на когти. Венецианский книжник-лев лицом своим располагает к чтению, к писанию — когтями!

Русские литераторы, вообще русская интеллигенция, выкарабкиваясь, по выражению Солженицына, “из-под глыб” тоталитарщины, рассчитывала на солидарность художественной интеллигенции мира. В шестидесятые годы многие блестящие таланты Европы были еще под влиянием так называемой прогрессивности, то есть если и выражали солидарность, то в адрес литературных бонз социалистического режима. К чести американских писателей следует сказать, что они реже попадали под власть идеологического гипноза.

Жан-Поль Сартр, например, высокомерно назвал Пастернака “строптивцем с Востока”, он отказался от Нобелевской премии, не желая следовать за этим “непрогрессивным” писателем, в то время как столь многократно упомянутый выше Хемингуэй просто сказал: “Если Бориса вышлют на Запад, я куплю ему дом”.

Уникальный сигнал солидарности пришел к русской литературе из совершенно неожиданного места, из штата Мичиган.

НА ВЫСОТЕ "АРДИСА"

Зимой одного из семидесятых годов на снежные аллеи Переделкино высадили американский десант. Так, вероятно, и воспринималась соответствующими товарищами и их органами эта команда из девяти человек: глава злокозненного издательства "Ардис" Карл Проффер, его жена Элендея, их дети Иен, Крис и Эндрю, брат жены Билл, чья-то мама по имени "бабушка" и две университетские девушки Нэнси и Таис.

Мальчишки прыгали, как снегири, в их ярких куртках и "мун-бутсах", Элендея с бодростью и энергией необыкновенной вышагивала под соснами, то распахивая, то запахивая заморское норковое роскошество, сам высоченный мистер Проффер (он в свое время играл в основном составе баскетбольной команды Мичиганского университета) неторопливо шествовал, иногда опуская порозовевший нос в грубые, если не сказать грубейшие, меха своего огромного русского тулупа. Он явно наслаждался: сколько вокруг России, сколько вокруг, черт побери, русской литературы!

Когда после выпуска "Метрополя" социалистический реализм лишил Профферов доступа на русскую землю, они огорчились, может быть, не меньше, чем иные высланные русские писатели. Уникальная русофилия, выросшая на почве Мичигана и Индианы!

В американской русистике, сеть которой невероятно широка, но не так уж глубока, немало есть эрудитов, относящихся к предмету, вроде как к минералогии; есть и такие, которым "русский дух" претит. Рассказывают, например, об одном таком "спеце", который, поддав, однажды высказался в таком духе, что предпочел бы изучать русскую культуру, как древних греков, то есть как литературу мертвых.

Есть и редкие примеры удивительной самоотдачи, обычно всегда связанные с уникальными человеческими качествами и талантами. Патриша Блэйк в своей книге о знаменитом переводчике и ученом Максе Хейворте рассказывает, что Макс очень страдал, когда соцреализм навсегда отказал ему в визе. Однажды Патриша вернулась из Греции и сказала Макс: «Ты знаешь, эта страна напоминает чем-то наш "Анион"». Так они называли между собой Советский Юнион. Луковый вкус слова имел некоторое отношение к традиционным русским куполам, к той России, которую они любили. Через неделю Макс позвонил ей в Нью-Йорк уже из Греции. Он облюбовал там какой-то остров и провел на нем большую долю своих последних лет. Сидя посреди Эгейского моря, он работал над русскими книгами и обсуждал со своими гостями последние московские литературные коллизии.

Благодаря Карлу Профферу в русскую культуру вошел (без сомнения уже навсегда) Анн-Арбор, мичиганский "большой маленький городок", город-кампус с его университетской "так-сказать-готикой", ресторанчиками,

лавками и копировальными мастерскими даунтауна, ярко освещенными до глубокой ночи книжными магазинами, толпами “студяр”, запашком марихуаны, символизирующим либеральное меньшинство, и пушистыми зверьками, снующими среди поселений стабильного большинства по всем этим улицам Хилл, Спрусс, Лэйк, Элм, проплутав по которым, русский писатель неизбежно в конце концов выезжал на немощный Хитеруэй, чтобы увидеть там, в глубине, за стволами кленов и сосен большой дом, бывший когда-то загородным клубом, и мягкие скаты поля для гольфа, по которым неторопливо движется высокая сутуловатая фигура, сопровождаемая парой собак и тройкой детей.

Именно здесь, по сути дела, возник новый период русского литературного сопротивления, непостижимыми “воздушными путями” идиллический пейзаж оказался связанным с пресловутыми кухнями московских и ленинградских интеллектуалов, с чердаками богемы.

Из американских славистов никто, пожалуй, так хорошо, как Карл, не понимал русской литературной среды. Он, в частности, улавливал некоторую этой среды “шпанистость” и даже сам был как бы тронут слегка этой “шпанистостью”, во всяком случае никогда не говорил о своем предмете ни с выспренними придыханиями, ни с академической холодностью, а вот артистическим матюком пускал нередко и с нескрываемым удовольствием.

Употребление этих выразительных средств, кстати сказать, и русской-то пишущей братией нередко выглядит курьезно, из предмета стиля они то и дело становятся неуместным попердыванием. Карл с удивительной для иноязычного человека тонкостью чувствовал русский литературный стиль и никогда его не терял.

К середине семидесятых годов Профферы по сути дела стали полноправными членами нашей среды. В Москве говорили о них, не как о каких-то отвлеченных заморских меценатах, а как о своих, как о “ребятах”. “На днях ребята звонили, снова к нам собираются...” “Ребята хотят выпустить полного Булгакова...” и т.д.

Проникновение этих двух типичных “мид-вест” американцев в русскую культурную среду было настолько глубоким, что они даже в конце концов почувствовали тот легкий “напряг”, который всегда существовал между артистическими общинами Москвы и Ленинграда. Ища в канальных жителях наследников “Серебряного века”, Карл и Элендея все же чувствовали и некоторый периферийный ущерб, дымок смердяковщины и вздорных псевдоклассических претензий. С другой стороны, и Москва ими не идеализировалась с ее склонностью к конформизму, гедонизму и говнизму. Все, однако, поглощалось необъятной страстью к русской литературе, которая (выпуск знаменитой “тишэтки”) “лучше, чем секс”, не говоря уже о рок-н-ролле. Великие вдовы нашей словесности Надежда Яковлевна Мандельштам, Елена Сергеевна Булгакова, Мария Александровна Платонова были в фокусе этой любви. Уж и Бродский казался Карлу хрупким гладиолусом невского побережья. Соколов был заброшенным птенцом Набокова, сам Набоков подплывал к “Ардису”, как великолепнейший айсберг, Лолита

наверху, пять лолит под поверхностью; все это, конечно, не совсем так, но и не совсем не так.

Однажды я видел, как Карл разговаривал с двумя московскими писателями об издании их книг. Рядом с затертой второго разбора джинсовостью писателей он выглядел как настоящий заморский книжный делец — отличный костюм в полоску, крепчайший башмак, поза всегда расслабленная, как у баскетболиста в раздевалке, в глазах, однако, светилось полное отсутствие дяляческих качеств — светящееся отсутствие, хм, — сопровождаемое присутствием любовного чувства, но не к объектам беседы персонально, а к нашей общей теме. Ключевой момент — беседа с двумя источниками словесности, попытка спасти их от забвения, от загнивания в подполье.

Будь Карл Проффер дельцом, он, наверное, иначе поставил бы свое предприятие и, возможно, прогорел бы на этом. Такой малотоварный предмет, как русская литература, вряд ли выстоял бы на деловой смекалке и на торговой инициативе, ему потребны были иные, более аморфные качества, какие-то неясные сочетания артистичности и университетскости, приверженности к словесной игре, расхлябанного энтузиазма, чего-то еще, назовите это хотя бы среднезападной чудакватостью.

Я услышал о Профферах впервые от Раи Орловой и Льва Копелева году, кажется, в 71-м. Тогда мы были соседями по лестничной клетке в аэропортовском кооперативе в Москве, теперь мы соседи по изгнанию — они живут на берегу Рейна, я — на берегу Потомака. Они мне показали первый ардисовский сборник "Russian Literature" и первый репринт — кажется, Андрея Белого "Котик Летаев".

— Вот такие ребята, — с энтузиазмом восклицали Рая и Лев, — вот такие американские молодцы! Поставили у себя в гараже наборную машину и открыли издательство, первое американское издательство русской литературы!

— А кто же они такие?

— Молодые профессора Мичиганского университета, оба красавцы, а Элендея просто неопишуемая красавица!

Так с массой восклицательных знаков, что в те времена еще не казалось перебором, пришла эта первая информация об "Ардисе".

— Милое начинание, ничего не скажешь, — кажется, пробормотал я, разумеется, даже не представляя себе, что это "милое начинание" по сути дела предложит альтернативный путь целому направлению, или, лучше сказать, всей волне вольной современной русской литературы.

К тому времени в Советском Союзе уже окончательно установилось то, что принято называть "второй культурой", или "литературно-художественным подпольем". Возникшая на откате "оттепели" пишущая братия уже не пряталась по углам и не закапывала сочинений на садово-огородных участках, а, напротив, собираясь кучками, под портвейн громогласно читала свои вирши и прозаические опусы, провозглашала новых гениев. Среди богемной графомании иногда и в самом деле возникало интенсивное излучение осно-

вательных талантов, вроде поэтов Евгения Рейна, Генриха Сапгира и прозаика Венедикта Ерофеева. Да и у официальных “противоречивых авторов” в ящиках стола накапливалось все больше так называемой нетленки, то есть вещей, не годных для советского тлена, предназначенных как бы для другой, более осмысленной литературной жизни; многие писатели, хватившие славы в начале шестидесятых, становились “непроходимцами”. Сужу по себе: продолжая, так сказать, развиваться в качестве писателя, я уходил все дальше от поверхности советской литературы, на поверхности же деградировал, там оставалось все меньше “написанного Аксенова” — две трети, половина, треть, узкий месяц... У Битова его лучший роман “Пушкинский дом” кусочками выбрасывался на поверхность под видом рассказиков и эссе, основная же глыба покоилась в глубине. Искандер из своего “Сандро” тоже выкраивал кусочки на прокорм, между тем как эпос все великолепнее разрастался.

Выход для всей этой культуры был только один — за рубеж. “Забросить за бугор” — такое стало бывать популярное выражение. Однако печататься в русских эмигрантских изданиях вроде “Граней”, “Посева” и позже “Континента” означало вставить в открытую конфронтацию к режиму, на это решались только политически детерминированные люди. Художественное подполье колебалось, и не только по своей обычной и вполне нормальной трусоватости, но и по подсознательному отталкиванию от какой бы то ни было политической ориентации, то есть по анархичности самой своей природы.

Появление независимого, не эмигрантского, но американского, да и не просто американского, но университетского издательства, основным критерием которого стала художественность, предлагало уникальную альтернативу.

Позднее, когда скандал с “Метрополем” разгорелся вовсю, цепные псы соцреализма, разумеется, объявили Карла Проффера человеком ЦРУ. Вот, дескать, какой хитрый ход придумали американские соответствующие органы. Для этой своры мир делится очень просто — то, что не КГБ, то ЦРУ.

Сейчас, когда наш друг, спустившись со склонов поля для гольфа, ушел в луга невозвратные, я думаю о том, что его вклад в русскую культуру невозможно переоценить, даже употребляя самые превосходные степени. Для того чтобы это осознать, достаточно обозреть продукцию “Ардиса” за десять лет его существования, однако дело тут не только в перечне названий, но в самом существовании этого холма как определенной эстетической и нравственной высоты, в самом появлении на пространстве русской культуры, в нужном месте и в нужный час этой фигуры, осуществляющей смехотворную по нынешним идеологическим и коммерческим параметрам, но все же существенную миссию артистической солидарности.

Впервые я оказался в “Ардисе” в июле 1975 года, будучи еще советским писателем, на обратном пути из Лос-Анджелеса в Москву. Дом был полон народом, молодых славистов и русских беженцев. Каждый день появлялись

какие-то новые лица, охваченные эйфорией эмиграции. На кухне (сказывались российские привычки) рассиживались от зари до зари. Карл и Элендея смеялись: никогда точно не знаешь, сколько народу тут пасется. Переговорить этих русских невозможно. Уходишь спать, оставляя за столом пятерку, скажем, гостей, а утром застаешь их на том же месте, хотя компания разрослась уже до семи, предположим, персон. Можно с ходу включаться в дискуссию, а можно и не включаться: на хозяев никто особого внимания не обращает.

Несмотря на бесконечное хлопанье дверей, в "Ардисе" продолжалась как семейная жизнь, связанная с произрастанием детей, так и книжное производство — в подвале дома, собственно говоря, и помещалось злокозненное издательство, вмешавшееся в русский литературный процесс без санкции ЦК КПСС. Там функционировала современная американская технология книгопроизводства, все эти "принтеры", "композеры", копировальные машины. Развитие этой техники и ее быстрое удешевление удачно совпали с бунтом в советской литературе. Карл был безмерно увлечен новыми возможностями. Уже будучи безнадежно больным, он как-то долго мне рассказывал по телефону о новом автомате, который прямо читает рукописи, останавливаясь на неясных местах, запрашивает уточнений и тут же производит текст, готовый для печати.

В сентябре 1977-го "Ардис" приехал на Московскую международную книжную ярмарку. Чудеса в решете — их принимали как официальных гостей, у них был свой стенд на ярмарке!.. Я стоял с Карлом и Элендеей возле стенда перед открытием экспозиции. Толпа московских книжников за барьерчиком все разрасталась, дрожа от нетерпения, словно свора борзых. Международные дельцы, представители фирм, проходя мимо стенда "Ардиса", пожимали плечами: что тут происходит? Они не знали того, что знали все эти москвичи: "Ардис" — это особое издательство, не просто американское, частично как бы свое, но свободное.

Разрешено было выставить только книги на английском языке, но в последний момент перед пуском Карл, вспомнив свои баскетбольные дни, с быстротой необыкновенной расставил по полкам образцы и русской продукции — репринты забытых книг, стихи и прозу эмигрантов, внутренних и внешних, только что выпущенное любимое детище альманах "Глагол". И вот, наконец, гордый русский клич: "Пуцают!" Книжники кинулись к полкам. Без промедления начался грабеж. Книжки засовывались в карманы, за пазуху. Я заметил одного деятеля, который явно подготовился к посещению стенда "Ардиса" заранее. На нем были необъятные байковые шаровары, схваченные резинками на лодыжках, и с резинкой на поясе. С невозмутимой миной он просто оттягивал резинку на поясе и бросал книги в эти необъятные глубины.

Вряд ли какой-нибудь грабеж ранее вызывал такой восторг у его жертв. Ни до, ни после я не видел Карла в таком счастливом возбуждении. С сияющими глазами он только и делал, что подбрасывал на полки все новые и новые "Глаголы". Грабители-интеллектуалы тоже ликовали — книги, кни-

ги, открылась пещера Алладина, разомкнулись “священные рубежи нашей Родины”!.. Это был редкий момент массового прорыва и вдохновения.

На следующую Московскую международную выставку “Ардис” уже не был допущен. Книги становились главной заботой пограничной стражи. “Букс”, “бюхер”, “ле ливр”, “ксенжки” волновали таможенников больше, чем гашиш и кокаин. “Русская цепочка” все-таки существовала, книги, будто неуклюжие перелетные птицы, пересекали границу — туда в виде рукописей, обратно томиками с эмблемой в виде дилижанса. Так однажды и мои два тома “Ожог” и “Остров Крым” плюхнулись на лужайку в глубине улицы Хитеруэй.

Мы с женой приехали в Анн-Арбор через два месяца после эмиграции из СССР. Карл перебросил мне ключи от своего джипа. Можешь ездить на нем, сколько хочешь, только не забывай оплачивать штрафы за неправильную парковку. Шаг за шагом он и Элендея вводили нас в американскую жизнь; прежде всего это, конечно, касалось такой труднодостижимой вещи, как поддержание баланса банковского счета. Вскоре они выразили нам свое приятное удивление — как это мы быстро научились справляться сами с ежедневными заботами, вот уже и квартиру сами снимаем, и телефон сами устанавливаем, предшественники ваши не прозябали такой прыти.

— Не надоела ли вам русская литература? — спросил я их.

— Даже больше, чем ты думаешь, — засмеялись они и вручили мне приглашение на гала-парад “Ардиса” по случаю выхода “Ожога”.

Потом мы уехали из Анн-Арбора, но связь с Профферами не прервалась и на неделю. То и дело ближе к полуночи (окна “Ардиса” обычно сияли в ночи, как сталинский Кремль) раздавался звонок. Карл спрашивал, “как дела”, или “хау ар ю” (англизация наших бесед с каждым годом неизбежно увеличивалась), рассказывал какие-то новости из Москвы, и мы обменивались анекдотами свежей советской выпечки, только что поступившими в обращение через Париж или Копенгаген. Каждый раз, когда я слышал в трубке его голос, вспоминалась январская ночь 1979 года, кухня в квартире на Аэропортовской, метропольцы, сгрудившиеся вокруг приемника, завывание глушилки, интервью с главой издательства “Ардис” на волнах “Голоса Америки”. Он говорил: “Мы только что получили из Москвы уникальную литературную коллекцию... Не знаем, будет ли она издана в официальном советском порядке?... Мы выпустим ее в любом случае...” В отличие от иных наших так называемых собратий, эмигрантских писателей, которые стали сразу искать за инициативой “Метрополя” некий второй корыстолюбивый смысл, этот американец сразу понял его литературную и идеалистическую суть.

Кроме всего прочего, я любил чисто физическое присутствие Карла, как здесь говорят “в нашей толпе”. Периодические встречи в Нью-Йорке, Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Милане, Париже... голова Карла приветливо маячит над среднеплечием толпы...

Последний раз перед началом его трагического и героического финала мы встретились на атлантическом курорте Рехобо-Бич. Боб Кайзер с Хан-

ной, мы с Майей, Елена Якобсон, Карл и Элендея сидели на балконе над темным океаном. Младшая дочь Профферов крошка Арабелла то и дело прибегала, делала страшные рожи, как видно, под влиянием каких-то мультяшек. Ничто не предвещало беды.

Через несколько дней после этого вечера Карла сразила дикая боль. В таких случаях вспоминается пастернаковское: “Стихи мои, бегом, бегом. Мне в вас нужда, как никогда. С бульвара за угол есть дом, Где дней про-рвалась череда...”

Карл Проффер был исключительно американской и исключительно университетской фигурой, и в своем умирании он продемонстрировал исключительно американский, исключительно университетский, если можно так выразиться, “подход к проблеме“. Не было никаких умолчаний или иносказаний. Он говорил, что хочет протянуть как можно дольше для того, чтобы маленькая Арабелла успела его запомнить. Он боролся два года, прошел через несколько операций и циклов изнурительной экспериментальной терапии, а в перерывах даже на больничной койке занимался переводами, писал статьи (сенсацию произвела его собственная статья о болезни в “Вашингтон пост“), работал над своими мемуарами и даже совершал путешествия на тропические острова и в Европу.

Однажды они летели компанией над Карибским морем в Майами. Вдруг в чартерном самолете началась сильнейшая вибрация, пассажиров попросили надеть спасательные жилеты. В чем выражается англо-саксонско-шотландско-ирландская паника? Карл рассказывал:

— Кэтти закрыла глаза и стала вспоминать любимые стихи, Лэн как юрист, чтобы убить время, составлял свое финансовое завещание, Элендея старалась успеть дочитать детективный роман, а я успокаивал соседку слева: не волнуйтесь, самолет не упадет, потому что ваш сосед справа находится на пути к другому финалу.

Болезнь как-то особенно подчеркнула его человеческие качества, в глазах его светились мягкость, доброта, улыбка. Видно было, что он наслаждается каждой данной минутой, что даже простая дружеская болтовня для него сейчас — дар Небес, каждый стакан воды — благо.

Вот теперь он ушел, сорока семи лет, провожаемый не только детьми, но и родителями. Русская литература, американский университет, мировая община писателей потеряли человека позитивного действия, столь редкого в наше время хлопотливой и бессмысленной суеты, когда никто не дослушивает друг друга до конца, когда книги не дочитываются, но лишь приоткрываются с единственной целью дальнейшего “по поводу“ словесного блуда, когда творцы бешено колотят по своим пишмашинкам, одержимые возвышенными идеями попасть в коммерческие книжные клубы, огрести лопатой пресловутые “роялитис“, захватить очередной “грант“, а то и самого “нобеля“, ублажить мегаломанические свои страстишки, хапануть-хапануть-хапануть, создать вокруг себя клику подхалимов и отшвырнуть подальше малопочтительных коллег, которые и сами, погрязая в бесконечных пусто-порожных интервью, презентациях, публичных дискуссиях, зверея от теле-

фонных звонков, гонят, гонят, гонят круговую безостановочную гонку без промежуточных финишей, стараясь хоть на секунду задержать внимание совершенно озверевших под потоками книжного дерьма читателей, поразить мир злодейством, стащить штаны, продемонстрировать пенис, плюнуть в суп соседу по коммуналке, в наши дни, когда хрипящий в идеологической астме стражник призывает и дальше высоко нести знамя, создавать возвышенные образы современников, в эти дурацкие дни из мира ушел один из немногих людей прямого позитивного действия, учивший студентов, писавший книги, сделавший делом своей жизни спасение униженной и оклеветанной литературы, поднявший свое издательство на уровень этого все-таки довольно высокого предмета.

ШТРИХИ К РОМАНУ "ГРУСТНЫЙ БЕБИ"

1953

Боб Бимбо был настоящим негром из Абхазии, где в восемнадцатом веке неведомыми путями оказалось несколько сот его африканских предков. Звали его по-настоящему не Боб и не Бимбо, а Багратион Апбар. Он говорил на жаргоне черноморских ресторанов, в котором преобладало звучное междометие "блабуду".

"Чувачки, блабуду, Бимбо — мое сценическое имя, блабуду, псевдоним. В солнечной Абхазии есть негритянский колхоз, я оттуда, мой друг Фазыл не даст соврать. Какая нелегкая занесла нас туда, блабуду, скрыто во мраке истории. Барухи в вашем городе, чувачки, однако, не очень гостеприимные, кинули мальчика без штанишек передком в сугроб. Нет сочувствия к угнетенным народам мира. В такой волнующий день выступаю не в лучшем виде. Тому, кто нальет хоть полстакана, блабуду, скажу "сенкью вери мяч"..."

В "Красном подворье" между тем становилось все оживленнее. Появился известный в городе жуир Вадим Клякса. Далеко не все знали его как эмгэбэшного куратора зланных мест майора Шедрину. С благодушной улыбкой он поманил пальчиком Филимона. "Несколько слов лично с вами, Филя. Присядем".

Он отсел с Филимоном в сторону под картину Исаака Левитана "Над вечным покоем" с ее скорбной одухотворенностью. Почесывая длинным ногтем мизинца пробор набриолиненной прически, стал задавать вопросы. "Ну, как дела в университете, Филя? Хорошие ребята в группе? Держится еще у вас волейбольная команда? А как девчата? Вот эта черненькая твоя подружка Мила, не беременна еще? В Дом специалистов на танцы ходите?"

Лукич-Адрияныч принес майору одну за другой две большие рюмки коньяку, одну "тактическую", другую "стратегическую". Засим майор Шедрина шарахнул кулаком по столу и грозно выдохнул прямо в глаза Филе:

— Где прячешь оружие, свинья?

Обычно от таких вопросов пьяный народ трезвел. С Филимоном этого не случилось. В глазах у него прыгали три вишневеньких книжечки МГБ на

фоне трех вариантов линий судьбы майора, то есть в том смысле, что Вадика Кляксы.

— Да, че ты, Вадим, да кончай ты...

— Перед тобой не Вадим, а представитель органов пролетарской диктатуры! Я тебя могу расстрелять еще до утра! Сукин ты сын, неблагодарная тварь! Великого Сталина заблевали, не успел умереть! Кому Родину предаешь, признавайся!

“Вот он, мой последний день рождения, — подумал пьяной головой Филимон. — Невольно хочется пройтись в грустном танго. Эх, чего-нибудь бы напоследок угарного, зыбкого, увядающего...”

Коммунальная жизнь нередко приводит к тому, что хорошие идеи одновременно зарождаются в четырех и более головах. Спиридон, Парамон и Евтихий уже танцевали. Нонна, Рита и Клара сдержанно извивались в объятиях мужской молодежи. Откуда же проистекла музыка, если музыканты в тоске по ушедшему гиганту еще не играли, а только лишь бесплатно употребляли фирменное варево солянку “Кр. подворье”? Музыка стекала с губ самих танцоров, сначала “Утомленное солнце”, потом “Кампарсита”, затем уже и нагловатая “Мамба итальяна”.

Интересно, что число танцующих увеличивалось. К футуристам-мушкетерам присоединились как-то странно (неадекватно!) оживленные венгерские студенты, на которых ведомство “Кляксы” уже подготовило немалый материал. В вихре самодельной “мамбы” мелькал уже и отчаявшийся именник со своей подружкой Милкой, известной в городе не только своей сногшибательной попкой, но и парой туфель на каучуке в бродвейском стиле. Танцы напоследок. Хей, мамба, мамба итальяно!

“Что делать? Вызывать наряд? Дежурному по городу звонить? Еще одну “стратегическую” принять?” — Такие мысли, будто вихрь демонов, пронесли в ошеломленном сознании майора Шедрины. Вдруг к нему приблизился стройный и лиловатый, как поздняя сирень, юноша без наружных брюк. Внутренние брюки, иначе кальсоны, начинали уже оттаивать, и скопившаяся в промежности сосулька готова была отвалиться. “Вы кто такой?” — гаркнул пораженный майор. “Я Багратион Апбар, — признался беглый кавказский колхозник, он же Боб Бимбо, жертва американского расизма.” — “Вы танцуете, молодой человек?”

1985

По сообщению телевизионной программы “Интертейнмент тунайт” киноактриса Джейн Фонда сделала головокружительное признание журналу “Стар”. Оказывается, она в течение последних двадцати (20!) лет страдала патологическим обжорством и для того, чтобы поддерживать то, чем сейчас восхищается все прогрессивное человечество, в пристойной форме, ей приходилось по несколько раз в день возбуждать рвоту.

Джейн! На ГМР, который находился в приступе глубокого экзистенциализма, это сообщение произвело впечатление разорвавшегося патрона с горчичным газом. Начались метания со скрипом разладившихся суставов.

Значит, и тогда, Джейн, в те времена, гудящие под ветром — они ведь тоже входят в зону вашего двадцатилетнего признания, — значит, и тогда, Джейн, вы по несколько раз в день... блевали, дорогая?

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В течение двух лет еженедельно я выходил в эфир на волнах русской службы “Голоса Америки” с десятиминутной программой под рубрикой “Capital Shift”*. В названии рубрики, ясное дело, присутствовала двусмысленность: с одной стороны, речь шла как бы о капитальных изменениях в жизни, а с другой — как бы подразумевалось отсутствие таковых; ничего, мол, особенного не случилось — раньше жили в русской столице, а теперь в американской.

Решив остаться на берегах Потомака с претензией на оседлость, мы стали искать квартиру за пределами функциональной жилой зоны Юго-Запада, поближе к реальной жизни “Новых Афин”.

За те деньги, что дерут со съемщиков домовладельцы из дистрикта Колумбия, можно снять целый дом за рекой, в Виргинии, или в мэрилендовских пригородах, однако мы все еще были чужды американской привязанности к suburban life** и нас как раз тянуло в самый центр дистрикта, к тому району, что называется здесь “Круг Дюпона”, с его кафе парижского типа и книжными магазинами, открытыми за полночь.

Иные знакомые увещевали нас: да как это можно в даунтауне селиться, опасно же! Дом одного из этих знакомых в пригороде Сильвер Спринг был между тем за последний год ограблен дважды. В первый раз воры вынесли столовое серебро, во второй — телевизор, однако оба раза не тронули бесценных русских икон шестнадцатого века. Может быть, он полагал, что в дистрикте более искусненное жулье? В поисках квартиры сказывается эмигрантская двойственность: с одной стороны, ищешь то, что напоминало бы *прежнее*, с другой — хочется заполучить такое, чего в прежней жизни не было, да и быть не могло. Увы, квартиры, которые мы смотрели, не отвечали этим диким требованиям, а были самыми обыкновенными вашингтонскими квартирами.

Однажды мы приехали по объявлению в газете на робкие склоны единственного в городе холма, на улицу Вайоминг, вошли в дом и сразу поняли, что нашли искомое. Квартира эта, вся белая, двухэтажная, с винтовой лестницей, в прежней нашей жизни существовать не могла, но в то же время она и напоминала нечто *прежнее*, а именно: смутные “заграничные” видения московских сумасбродов.

Из огромных окон нашего нового дома открывался вид на всю амери-

* Смена столиц.

** жизнь в пригородах.

канскую демократию, то есть за скоплением викторианских крыш и стеклянными плоскостями центра мы, благодаря расположению на вершине холма, могли видеть и купол Капитолия, и монумент Вашингтона, и колоннаду памятника Линкольну. Над всеми этими святынями простиралось огромное небо, по периферии которого непрерывно проходили самолеты к аэропорту Нэшнл. Грохот их, однако, до нас не долетал, а скольжение дельфинистых очертаний лишь усиливало чувство простора. Решено! Мы посеемся здесь, на границе двух популярных городских зон — Дюпона и Адамс-Моргана.

Цена, которую мы согласились платить за это очаровательное жилище, оказалась достаточно дикой — двенадцать сотен в месяц. Если пересчитать эту сумму по курсу московского черного рынка 1:4, получится 4.800 рублей, то есть двадцать четыре средние месячные зарплаты советского трудящегося (по официальному же курсу получится шесть месячных зарплат). Звучит, пожалуй, абсурдно, однако, если вспомнить упоминавшиеся уже ранее сравнительные расчеты стоимости советского и американского танков, все придет к неожиданной гармонии.

Явился менеджер, молодой человек из племени “яппи”, мистер Брик. (Позже выяснилось, что он литовского происхождения и по-настоящему его фамилия звучит как Олбрикаскаускас).

— Я должен вам, наши дорогие русские новоселы, показать одну вещь, которая может вас основательно удивить, но впоследствии, я гарантирую, доставит вам удовольствие и облегчит трудности быта, в частности доставку покупок из супермаркета.

Что это за херация такая, которая так скрасит наше существование, думали мы, следуя за мистером Бриком на лестничную площадку к дверям лифта, у которого он и остановился.

— Вот, посмотрите, перед вами кнопка, — сказал он. — Стоит вам ее нажать, как через непродолжительное время эти стальные двери откроются, и перед вами окажется небольшое кубическое помещение. Входите внутрь без опаски. — Он проделал вышеописанную операцию, и мы вошли в лифт.

— На этой панели, — продолжал мистер Брик, — вы видите кнопки с указанием этажей. Сейчас мы с вами наверху, то есть на четвертом этаже. Вы нажимаете вот на эту нижнюю кнопку, и двери этого кубического помещения закрываются. Не впадайте в панику, друзья, кабина благополучно доставит вас на уровень улицы Вайоминг, где эти двери откроются автоматически. Ту же самую процедуру вам нужно проделать для подъема, только в обратном порядке. Не правда ли, не так уж сложно?

— Дэйв, ради Бога, не говорите нам, будто вы думали, что в России нет лифтов, — сказали мы ему на американский манер.

Мистер Олбрикаскаускас был, очевидно, смущен. Россия с лифтами? Эта новость, должно быть, разрушила целую образную систему. Сделав для себя это революционное открытие, он теперь показывал все прочее оборудование в небрежной, даже как бы пренебрежительной манере: вот, мол, тут вот этот пусячок, вот, мол, еще эдакая фиговина, испокон веков известная

в просвещенной России... — а между тем о многом из этого оборудования мы и в самом деле знали только понаслышке.

Во-первых, отопительно-охлаждающая система, автоматически поддерживающая нужную температуру и экономно выключающаяся, когда в ней нет нужды. Во-вторых, стиралка-сушилка, встроенная просто в небольшой шкафчик. В-третьих, электрическая самоочищающаяся плита с каким-то там еще "таймингом", в котором мы до сих пор не разобрались. В-четвертых, в-пятых, в-шестых и так далее. Микроволновая плита, вытяжная система, затем машинка, для которой и подходящего-то русского слова не подберешь, разве что блюдо-мойко-сушилка, потом фиговина, полностью пребывающая за пределами русского языка, так называемый "гарбидж-диспозал", поглощающий без остатка пищевые отбросы (может быть, "мусоропоглотитель"?), и, наконец, "компактор", который прессует весь домашний мусор, включая бутылки и банки, в небольшом ведре в течение двух недель, да еще и брызгает на собранную массу специальным раствором, отбивающим запах...

— Ну, вот это, — сказали мы мистеру Брику, — уже похоже на буржуазный декаданс.

Домоуправляющий просиял: все в порядке, фолкс, вы в Америке!

Отвлекаюсь на минуту от бытовых описаний, чтобы окинуть взглядом технологическую цивилизацию. В Америке ты ощущаешь себя в самом ее центре. Может продрать лошадиная оторопь: каждый твой шаг, малейшее движение сопряжено с размахом технологии. Твой белый куб, разделенный перегородками и перекрытиями, со спиральной коммуникацией вверх и вниз, буквально набит технологией. Кроме перечисленных уже машин, он завален кассетами, пластинками, магнитофон вверху, магнитофон внизу, радио вверху и внизу, проигрыватель внизу, телевизор вверху и телевизор внизу, видеорекордер, копировальная машина, четыре пишущие машинки (одна из них электронная), автомобиль "беби-бенц" под окном, "омега" жены запаркована на улице, фотоаппарат обычный и "Поляроид" и, наконец, персональный компьютер с "принтером", не говоря уж об освещении, сушилках для волос, оборудовании ванных комнат, холодильнике, кофеварке, "фуд-процессоре", кофемолке, тостере, автоутюге, пылесосе, щипцах для завивки, электросбивалке, калькуляторе, электрогрелке, массажном душе, тренажере-велосипеде... Это то, что окружает нас, двух немолодых людей и молодого кокер-спаниеля, каждую минуту, попеременно вступая в действие, превращая частично уже и само существование в технологическую акцию.

Есть ли предел этому развитию? Советский ученый Борис Раушенберг (не брат ли американского художника Раушенберга?) считает, что технологическая цивилизация сама по себе не может продолжаться более ста двадцати лет и по прошествии этого срока самоуничтожается. Если отсчитывать, однако, от изобретения парового котла, то окажется, что мы раушенберговский срок покрыли уже дважды. Никто, впрочем, не отрицает за братьями

Гаушенбергами права на дерзновенные пассажи, ибо оба являются гордостью технологической цивилизации (один сфотографировал темную сторону Луны, другой наклеивал на холсты кусочки других материй), однако, оставив на время в сторону апокалипсические предсказания как необходимый, но несрочный элемент цивилизации, зададимся более скромным вопросом: есть ли тупик, иными словами, есть ли предел всей этой роскоши, ибо как же иначе еще назовешь образ жизни многомиллионных человеческих масс, если не массовой роскошью?

Иной раз можно слышать: американское процветание остановилось. Елки-палки, если оно и приостановилось, то, может быть, лишь потому, что дальше некуда идти. Так называемый капитализм привел людей конца XX века едва ли не в тупик процветания, сделав роскошь достоянием многомиллионных масс. Дальнейшее развитие капитализма, если он намерен развиваться, может быть, направится в каких-нибудь других направлениях — скажем, в улучшении массового вкуса.

Впрочем, у нас под окном, на задах нашего элегантного дома в дворовом проулке, капитализм пребывал еще в стадии, весьма далекой от совершенства, демонстрируя свою грохочущую суть, столь справедливо осужденную Карлом Марксом. Каждое утро с шести начиналась конкурентная борьба четырех мусорных компаний, одна из которых носит имя лауреата Ленинской премии мира французского поэта Арагона "Aragon Waste". Один за другим четыре огромных трака наполняют наши зады грохотом раннего капитализма.

Наши зады вообще — это особый случай. Несмотря на запаркованные там "мерседесы", "ягуары" и "корветы", они (зады) являют собой разрозненность, корявость, аляповатость, которым может позавидовать и рязанская "затоваренная бочкотара". Каждое домохозяйство асфальтирует кусочек почвы для своих паркингов, проезд, однако, остается ухабистым, как дорога между Ухолово и Покровским; объединяющие действия отсутствуют, или, как поется в песне Окуджавы "Черный кот", надо б лампочку повесить, денег все не соберем".

Есть на этих задах и свой enfant terrible, мрачный, некогда белый дом, крытый бугристым варом с пучками дикой травы, с жутким подвалом, к которому иногда посреди ночи "роллс-ройс" подвозит нескольких оборванцев, черных и белых. Скопление мусора возле этого дома, граничащего с так называемой террасой ресторана "Баобаб", временами поднимается выше человеческого роста. Хозяин отвратительного строения, человек с социалистическими наклонностями, отказывается участвовать в конкуренции мусорщиков. Он абсолютно убежден, что его мусор должно убирать правительство дистрикта. Правительство, очевидно, придерживается другой точки зрения. Кто должен позаботиться о крысах, населяющих подвал, неизвестно.

Сначала мы отказывались верить своим глазам, когда видели, как здоревенные крысы неторопливо пересекают проезжую часть нашего двора. Это, должно быть, просто особую рода домашние животные, успокаивали мы друг друга, не может быть, чтобы крысы вот так запросто тут бегали, в

столице Соединенных Штатов Америки. Потом мы обнаружили одно дохлое “домашнее животное” на своем паркинге; это была явная крыса, черт возьми. Побежали к соседям, побежали к капитану нашего блока, мистеру Бернсу — тревога! Наши соседи — “яппи”, народ чистый и спортивный, как с рекламы, только плечами пожимали: подумаешь, крыса, забудьте об этом, не принимайте всерьез. Капитан Бернс пообещал воздействовать на капиталиста-социалиста. Куча мусора исчезла, видимо, заключен был контракт с “Арагоном” об одноразовой очистке авгиевых конюшен. Крысы продолжают бегать. В Советском Союзе в связи с этим была бы объявлена тревога по всей городской санитарно-эпидемиологической службе. Поразительно, что в Америке это никого особенно не волнует. Что уж говорить о тараканах. Обнаружив у себя дома дюжину усатых, поэт Евгений Евтушенко разразился поэмой “Тараканы в высотном доме”, полной “гражданского мужества”. Здесь тараканы, по всей вероятности, не ассоциируются со Сталиным.

В СССР гражданин часто “берет на горло”, обнаружив что-нибудь гадкое: “Да как же это возможно при социализме?! Да вы же позорите наше социалистическое общество!” В Америке никому в голову не придет “качать права” в такой манере, вопить “да как это возможно при капитализме?!” Никому, кроме советских эмигрантов.

Для нас капитализм — это современная технология, здоровые денежные отношения, отличное обслуживание, социализм же без демагогической маски — гниль и перекося. В Советском Союзе люди, чтобы не пропасть, стараются вступить друг с другом в первичные рыночные отношения: ты — мне, я — тебе, услуга за услугу, деньги за услугу, услуга за предмет и т.д. парадоксально, можно предположить, что СССР постепенно вращается в капитализм, в то время как в капиталистическом обществе русский эмигрант удивленно обнаруживает немало черт социалистического перекося: ухудшение сервиса, наплевизм, обезличку, халтуру...

Жена несет мой пиджак в швейную мастерскую по соседству. Дело непростое — укоротить рукава на полдюйма. “Через десять дней будет готово”, — говорит приемщица, неприветливая черная девчонка, не отрывающая глаз от музыкального шоу по телевизору. Десять дней, чтоб обрезать рукава?! М-да... В СССР в таких случаях дают приемщице трешку сверх счета и получают пиджак через час. Здесь вроде так не принято. Через десять дней приемщица не может даже найти мой пиджак. В ответ на возмущение жены издевательски ухмыляется: может себе позволить под защитой профсоюза.

Хваленый “мусоропоглотитель” выходит из строя. Звоним в домохозяйство. Там обещают прислать водопроводчика и действительно присылают, но только через неделю. В Советском Союзе в таких случаях появляется человек — чаще всего его зовут Николай — и за пятерку чистоганом тут же чинит все что надо.

Упомянутое выше “кубическое помещение”, призванное так ярко скрашивать нашу жизнь, поднимая над уровнем улицы Вайоминг, около полуго-

да бездействовало в связи с диспутом между компанией подъемных устройств и консорциумом владельцев недвижимости. Мы пока, как в древнем Риме (а там тоже, как выяснилось, были четырехэтажные здания), корячились с пакетами на четвертый этаж. В СССР в таких случаях жильцы кооператива складываются и "дают на лапу" тому, от кого что-то зависит. Разрешение диспутов стремительно ускоряется. Социализм это или капитализм?

Замечательный опыт у нас был с торговой фирмой "Хект", вернее, с ее мебельным отделом, еще точнее, с отделом доставки, и еще точнее, с секцией мебельной доставки, а также с анналами этой фирмы, то есть, складами в зоне Большого Вашингтона.

Купив однажды комплект мебели, а именно стеклянный стол на стальных ножках, полдюжины стульев и кресло, мы взялись ждать доставки. Обещано было через две недели. Две недели! В СССР обычно в таких случаях находят соответствующего человека — обычно его тоже зовут Николай, — дают ему "на лапу", и мебель под чутким руководством этого Николая Второго прибывает на следующее утро. Здесь так не водится, и, может быть, поэтому мы прождали не две недели, а три. Через три недели характерный голос по телефону попросил мистера Эскинтоу не выходить из дому с девяти до пяти. Маленький праздник начался дома — едет! мебель из "Хекта" прибывает! Радость была преждевременной: мебель не прибыла ни в тот день, ни на следующий, ни через неделю. В ответ на мои звонки телефонистки "Хекта" неизменно спрашивали: "What's your name? How'd you spell it?" и, получив спеллинг, говорили: "Hold on"*. Затем в телефонии появлялась следующая девица, которая снова просила spell it, тщательно выясняя — "s" as in "soup"? "V" as in "vase"? — только лишь для того, чтобы перепихнуть меня на третью дуру, которая вновь просила spell it, с исключительной дотошностью уточняя: "a" as in "air"? "K" as in "kite"? "S" as in "soup"? "Y" as in "young"? "O" as in "office"? "N" as in "new"? "O" again as in "offer"? "V" as in "vase"***. На пятый день подобных переговоров — в конце каждого их этих дней я получал утешительное: "Your delivery is in the process" — я проспеллинговал свое имя таким образом: "A" as in "anapest", "k" as in "kibitzer", "s" as in "surrealism", "y" as in "Yoknapatopha", "o" as in "oratory", "n" as in "nepotism", "o" again as in "orgasm", "v" as in "ventriloquism"****.

В ответ на это последовало молчание. В глубинах "Хекта" задул ветер. "Are you with me?" — спросил я осторожно. "Yes, sir, — пробормотал неуверенный голос. "What's your name?" — спросил я "Nancy Roose-

* Как вас зовут? Скажите по буквам... Подождите.

** "А" как в слове "воздух"? "К" как в "воздушном змее"? "S" как в слове "мыло"? "Y" как в слове "молодой"? "O" как в слове "офис"? "N" как в слове "новый"? "O" опять, как в слове "каз"? "V" как в слове "ваза"?

*** Ваша доставка в процессе... "А" как "анapest", "К" как в "зануде", "S" как в "сюрреализме". "Y" как в "Йокнапатопфе" (*выдуманное название у Фолкнера*). "O" как в "оратории", "N" как "непотизм", "O" опять, как в "оргазме", "V" как "чревоущепание".

velt", — был ответ. "R" as in "Renaissance"?* — спросил я. Она повесила трубку.

На следующий день, то есть через полтора месяца после покупки, мебель из "Хекта" была доставлена. От кресла была утеряна подставка для ног, полдюжины стульев оказались из другого семейства, но зато стеклянный стол был в порядке. "Я за эту путаницу не отвечаю, — сказал старый грузчик, — обращайтесь в компанию. Я — просто рабочий". В глазах у него был немой вопрос. Он был очень похож на нашего Николая, несмотря на иную расовую принадлежность. Не пришла ли пора и здесь вернуться к первичным отношениям?

АДАМС-МОРГАН

маленький вавилон в больших афинах

В столице множество улиц названо в честь штатов, большинство остальных идет по алфавиту или просто пронумеровано с учетом сторон света. Исторически тут сказывается некоторый дефицит фантазии. Однако он восполняется изощренностью городской планировки. Вашингтонцы иногда шутят, что план города напоминает небрежно брошенный на тарелку комок спагетти. Улицы текут, загибаются, пропадают, потом появляются снова в самых неожиданных местах. Наш Вайоминг, например, беря начало в районе дипломатических особняков, вдруг исчезает, но если вы пройдете полквартала по Двадцать третьей стрит, вы снова его обнаружите, превосходно пересечете одну из главных магистралей города Коннектикут-авеню, чтобы опять потерять на перекрестке с двенадцатью углами, однако при некоторой настойчивости вы опять его обнаружите за перекрестком, а далее он уже упрется в веселую Восемнадцатую и завершится. Впрочем, не исключая, что где-нибудь на востоке он начнется снова, но я в тех местах не бывал и ничего об этом не слышал.

Через два месяца после переезда к нам в дверь постучали, и вошел пожилой господин в плаще "лондонский туман". Он отрекомендовался как мистер Рэй Бернс, капитан нашего "блока", то есть квартала. "Добро пожаловать на Вайоминг, — сказал он. — Мы здесь стараемся быть, как одна семья. Надеемся, сэр, что вам у нас понравится".

С тех пор я вижу мистера Бернса почти каждый день, и всегда он занят каким-нибудь полезным для улицы Вайоминг делом — то постригает газончики, то сажает цветы, то убирает осколки разбитой посуды, и никто ему за это, разумеется, не платит ни цента.

Битые бутылки для меня — все еще одна из больших американских загадок. Ни разу еще не видел самого процесса битья, но осколков полно повсюду. Среди огромных разниц Америки и России есть и эта — в СССР пьющие люди бутылки сдают, а здесь бьют.

* "Вы здесь?" — "Да, сэр"... — "Как вас зовут?" — "Нэнси Рузвельт"... — "R" как "Ренессанс"?

Мистер Бернс с понимающей улыбкой осколки эти собирает. Иногда мне кажется, что именно на таких вот стариках, англо-шотландцах, и держится здравый смысл этой страны с ее пестрым космополитическим населением.

Капитан нашего квартала преподнес нам выпуск газеты нашего квартала "Сторожевой листок авеню Вайоминг". Это была написанная от руки красивым почерком миссис Бернс и размноженная на ксероксе штука плотной бумаги. Открывалась она поздравлением по случаю Рождества Христова и пожеланием счастливого Нового года. Затем сержант Джерри Кейгер из третьего дистрикта полиции призывал обывателей включиться в борьбу по профилактике преступлений. Статистика на улице Вайоминг, сообщил сержант, вообще-то благоприятная. За полгода — всего пять непривлекательных случаев: одно ограбление, пропажа велосипеда и три раза из запаркованных на улице машин кое-что слямзили. Сержант просил граждан не оставлять ничего в машинах, чтобы не соблазнять воришек.

Департамент общественного обслуживания полиции сообщил также, что он распределил двадцать пять праздничных корзин с едой для нуждающихся семей. Сообщалось также о предстоящем детском празднике в школе Святого Павла-Августина. Граждан улицы Вайоминг пригласили жертвовать для этого мероприятия деньги и игрушки.

Затем следовал написанный с определенным изяществом исторический очерк. "В ноябре 1937 года президент Рузвельт начал свой второй выборный срок, продолжая выводить страну из депрессии. В списке музыкальных боевиков оказались песни "Мой забавный Валентин", "В тиши ночи", а также "Леди Бродяжка". В это же самое время Клэр Сайзер и ее муж переехали в дом № 1829 по Вайоминг-авеню".

Звучит это, между прочим, почти как начало романа Эдуарда Докторова "Рэгтайм", который я когда-то перевел для журнала "Иностранная литература".

"Сегодня, сорок пять лет спустя, — пишет мистер Бернс, — я разговаривал с миссис Сайзер, которая продолжает жить по тому же адресу. Она поделилась со мной ломтиком истории.

Дома в нашем квартале были построены между 1910 и 1920 годами. У района была прекрасная репутация (эти слова многозначительно подчеркнул мистер Бернс) благодаря его расположению и выдающимся обитателям.

Здесь жил, например, личный врач президента Калвина Кулиджа доктор Стайлс, который лечил от заражения крови младшего из президентских сыновей вплоть до трагической смерти последнего. Здесь также жил — подумать только! — покоритель Северного полюса коммодор Роберт Пири. Памятная доска размещена у входа в его дом, в котором ныне содержится семь отдельных квартир".

Поразительно то, что мистер Бернс выдерживает стиль романа "Рэгтайм" вплоть до помещения одного из героев этой книги на улицу Вайоминг.

"Миссис Сайзер, — пишет он, — в свои девяносто два года все еще ми-

лая и живая леди. “Я не хотела бы жить нигде, кроме Вашингтона, — говорит она. — Я здесь родилась, и, что бы ни случилось, хорошее или плохое, я люблю это место”.

Далее в “Сторожевом листке” дебатруется проблема одностороннего движения, предлагается вниманию обывателей расположенный поблизости общественный центр, где можно заниматься спортом, рассказывается о мероприятии по добровольному высаживанию крокусов и даффоделий, благодаря которому сделан еще один шаг не только в сторону украшения нашей улицы, но и в сторону развития “духа комьюнити”.

Не обошлось и без коммерческого объявления — закон капитализма. Соседка Софья Подольски сообщила, что продает морские ракушки, а также изготавливает из них фигурки слонов, уток и сов.

К образу улицы Вайоминг следует еще добавить, что она застроена в основном трехэтажными домами викторианского стиля. На ней всего два магазина, торгующих самым необходимым. В первом круглосуточном “7-11” можно купить горячую сосиску и пожевать. Во втором магазине продается пицца духовная, а именно: оккультные книги и загадочные предметы.

Благодаря тому, что мы расположены на вершине холма, из наших окон можно великолепно наблюдать национальные фейерверки. В День Независимости однажды перед нами открылось фантастическое зрелище. Праздничный фейерверк совпал с колоссальной грозой. Происходило как бы соревнование многоцветных людских шутих с поперечными и продольными небесными молниями. Завершилось это на удивление мирным дождем.

Наша улица расположена таким образом, что ее можно отнести к трем районам города — дипломатической “Калораме”, артистическому “Кругу Дюпона” и этническому Адамсу-Моргану, который круто опровергает установившийся в мире стереотипный образ американской столицы с ее торжественными фасадами.

Адамс-Морган получил свое название от слияния имен двух десегрегированных школ, сам себя он называет маленьким Нью-Йорком, что, к счастью для нас, его обитателей, — большое преувеличение. У Нью-Йорка же пока не хватает зазнайства называть себя Большим Адамс-Морганом.

На Нью-Йорк мы похожи прежде всего пестротой своего населения. На субботнем базаре на перекрестке Восемнадцатой улицы и Колумбия-роуд кого только не увидишь: белые фермеры с внешностью советских хиппи, жители Карибских островов с их “бочечными оркестрами”, какие-то странствующие французы, корейцы, китайцы и вьетнамцы, индусы и арабы; Латинская Америка представлена во всех вариантах. С чернокожими тут тоже не все так просто, далеко не все они американские негры, много встречается и иностранцев, в частности нигерийцев — милейший, между прочим, вежливый и веселый народ.

Однажды жена пошла за покупками и сказала черной продавщице, что у нас скоро праздник — православная Пасха. Так ведь это и наш праздник,

воскликнула продавщица, мы тоже православные, из Эфиопии бежали от полковника Менгисту.

Основательно здесь также процветает и социальная пестрота, или, как выразился бы советский классик Анатолий Софронов, — контрасты, контрасты. Среди машин, запаркованных вдоль тротуаров, можно увидеть новенькие “ягуары” и “мерседесы” рядом с огромными полуразвалюхами, оставшимися от шестидесятых годов.

Очень много в нашем районе писателей. Из многих окон стрекочат пулеметики пишущих машинок. Однажды пошли мы на “блокпарти”, стали знакомиться с соседями и выяснили, что добрая половина из них писатели. Каково же было их удивление, когда они узнали, что и я — писатель.

Немало здесь и бродяг, похожих на знаменитых французских клошаров, но в американском варианте, для которого в здешнем наречии немало имеется словечек, их называют и “трамп”, и “бам”, и “хобо”, все приблизительно соответствуют советскому слову “бич”, которое — вообразите — берет свое начало от английского “beach” и определяет людей, предпочитающих отдых на пляже работе на море. Иногда мне кажется, что и эти бродяги — писатели. Один из них, например, всегда просит у меня пять долларов. Явно писательский размах, не правда ли?

Народ здесь нередко настроен на шутку. Собачники друг друга спрашивают: как часто ваша собака водит вас погулять? Старушка, хихикая, обращается к бегунам, затормозившим у красного светофора: вы что, ребята, хотите пи-пи? Иногда появляется черный красавец в огромном розовом тюрбане, желтом развевающемся халатике и зеленых кисейных штанишках. Скромно потупив глаза, понимая какое огромное удовольствие доставляет окружающим, он прогуливается от моста Дюка Элингтона до кафе “Станция Колумбия”.

Среди всех этих пестрот района Адамс-Морган наблюдается и политическая пестрота. Вот, например, два приятеля, владельцы антикварных лавок. Один сбежал из Венгрии в 1956 году, второй — из Румынии лет десять назад. В их разговорах, надо сказать, мало присутствует симпатии к “самому передовому учению”. По соседству, однако, располагается и другая лавка под названием “Революционные книги”. Хозяйка ее с присущей этому типу людей бездарностью навалили в витрину книги наших старых знакомых — Маркса, Ленина, Сталина, портреты Брежнева, обнимающегося с Кастро, Кастро обнимающегося с Ортегой — сандинистским Ворошиловым. Задник витрины выполнен в красках мятежного Октября, то есть красным и немного черным — как бы вихрь.

Раз, проходя мимо витрины “революционных книг”, я вспомнил боевой орган трудящихся всего мира, московскую “Литературную газету”, в частности, статью некоего Изюмова под названием “США — стоп-кадр” или что-то в этом роде. Статья была преогромнейшая, как бы отчет по командировке, и основной ее темой оказался, как товарищ Изюмов оригинально в духе Анатолия Софронова выразился, “разгул реакции в Америке”. Вернулись времена маккартизма, сообщает он советским читателям, простые аме-

риканцы сейчас находятся под жесточайшим идеологическим контролем. Если что-нибудь читаешь не то, если даже получаешь письма из лагеря мира и социализма, немедленно “пополнишь собой” — ох, нравятся мне эти оборотки! — “ряды безработных”, а то и в тюрьгу загремишь. Администрация Рейгана, пишет Изюмов, наглухо закрыла доступ к источникам правдивой информации, “Литературная газета” запрещена повсеместно. Во избежание знакомства американцев с истинами марксизма-ленинизма в стране жестоко возбраняется продажа коротковолновых радиоприемников.

В другой раз как-то остановились мы перед этой витриной с приятелем. “Странное дело, — сказал он. — Почему-то не видно здесь книг Троцкого. По идее, здесь ведь должен быть и Троцкий, не так ли?”

Мы зашли внутрь. Два молодых продавца левоамериканской наружности сидели под огромным в полный рост и в натуральную величину портретом Ленина в кепке и с бантом. Любопытно, почему этот кот? Наверное, не продается. Так и оказалось — святыня! “А какие у вас есть книги Лео Троцкого?” — спросили мы. Молодые люди замаялись. “Видите ли, мы не держим книг Троцкого, потому что у него был довольно односторонний взгляд на революцию. Впрочем, есть у нас очень хорошая книга профессора Гаванского университета Реригеса “Порочная сущность троцкизма”. Вам завернуть?”

Вдоль стены висели портреты разных людей, отличавшихся разносторонними взглядами на революцию, — Сталина, Ким Ир Сена, Хо Ши Мина, Мао Цзэдуна, Брежнева, Сулова, Чапаева...

— Как вы думаете, джентльмены, кто привлекательнее, Сталин или Мао? — спросили мы.

— В каком смысле? — несколько опешили молодые люди.

— Ну, в смысле мужской красоты.

Молодые люди переглянулись, нахмурились, пожали плечами.

— Неуместный вопрос. В самом деле неуместный, бестактный вопрос.

— А нет ли у вас портрета или какого-нибудь произведения маршала Лаврентия Павловича Берия? — в шутку спросили мы.

Шутка, увы, тоже оказалась неуместной. Нам тут же была предложена книга Берия “К истории большевистских организаций Закавказья” в дивном английском переводе, даже передающем кавказский акцент автора.

Может быть, где-нибудь в других районах и в самом деле реакция, в Адамс-Морган, как видим, революция продолжается.

Шел однажды ночью по Вайоминг-авеню один наш друг по имени Эли Ливайн, в руке нес авоську с двумя предметами, одним авангардистским — рукописью романа “Палисандрия” Саши Соколова, другим традиционным — пирогом с капустой.

Навстречу пружинисто двигался “Че Гевара”, горел глазами. Эли Ливайна трудно не ударить: уж слишком интеллигентная наружность. Революционер так и сделал — бени Эли по башке, хватъ авоську, и был таков!

Ночь прошла для нашего друга в зыбких рефлексиях, в мучительных сопоставлениях исторических параллелей. Для революционера, как выяс-

нилось, ночь тоже не прошла даром. Утром, бледный до серости, он появился у порога Эли Ливайна, вернул ему авоську с содержимым и попросил прощения за акт непродуманной экспроприации. Сейчас, бежав из жарких бурь “пылающего континента”, юноша все больше склоняется к прохладному влиянию Вермонта. Хорошо подстриженный и чистый, он готовится к поступлению на русское отделение Джорджтаунского университета. Трудно все-таки предположить, что этот перелом произошел у него под влиянием пирога с капустой, скорее всего все-таки под влиянием авангардной русской повести. А еще говорят о “нравственном дефиците” авангарда! Как Маяковский-то писал: “Да будь я и негром преклонных годов, и то без унынья и лени, я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин”. Что уж говорить о молодом “Че Геваре” из района Адамс-Морган!

В зоне нашего “треугольника Калорама”, между прочим, располагается немало советских учреждений: трехэтажный дом советских агентств печати на Восемнадцатой улице, генеральное консульство на Фелпс-Плэйс, торговая миссия в элегантном особняке напротив отеля “Вашингтон Хилтон”, у стены которого странный “Ромео” разрядил свой пистолет в президента этой страны.

Мимо этого особняка я пробегаю по своему маршруту едва ли не через день. Однажды вижу: три сотрудника на виду у всего города с лопатами копают что-то в садике под бронзовым хвостом лошади генерала Маклеллана.

Я остановился посмотреть. “Что это вы, ребята, делаете? — спрашиваю. — Нашли что-нибудь ценное или, наоборот, прячете чего-нибудь интелесное?” Они мрачно на меня посмотрели. “Ты, видно, сукин сын, забыл, какой сегодня день. Популярно объясняем для невежд: 21 апреля — Всесоюзный Ленинский коммунистический субботник; иными словами, День Всенародного Окучивания. Грядочки копаем для крокусов и даффоделий”.

Однажды, прогуливаясь, я, неизвестно с какой стати, купил в книжной лавке Джорджтауна “Одиссею” на английском языке и поплелся к “Дюпону”: редкий случай, когда выдался свободный час для предания любимому и на сто процентов неамериканскому занятию — шляннию по городским улицам.

Все кишело вокруг в деловитых пробегах. На углах торговали пороссячьими носами к предстоящему матчу наших “Скинс” с чужими “Долфинс”. В новоотстроенном полустеклянном “Вашингтон-сквер” открылась еще пара шикарных магазинов. На Дюпон-серкл я был остановлен дамой, которая спросила, почему русские писатели столь склонны к сатире. В целях гармонизации действительности, мэм, ответил я и последовал далее за фонтан. Был серый прохладный, столь идеальный для городского шлянния день. За фонтаном собирали деньги в пользу жертв режима Хомейни. Я дал, что нашлось в карманах, “файф бакс”. Далее пара рыженьких требовала демонстрация ракет “Першинг”. Им я не дал ни копыя. Над пиццерией “Везувий” поднимался тревожный дымок. “Крамер-буке” вывалил в окно очередную свал-

ку книжных шедевров. Проголодавшись, я толкнул какую-то дверь и оказался в заведении, где пахло фаршированным перцем. И только лишь взяв меню, я сообразил, что сижу в греческом заведении, которое так и называется — “Эллада”, что гипсовая статуя в углу не кто иная, как охотница Артемида, и что в сумке у меня лежит не что иное, как “Одиссея”, которую я купил час назад по неизвестному побуждению. Заказав стакан “рицины” — неужели Улисс пил такую же гадость? — я стал читать:

...И голосом звонко-приятным богиня
 Пела, сидя с челноком золотым за узорную тканью.
 Густо разрослись, отвсяду пещеру ее окружали
 Тополи, ольхи и сладкий лиющие дух кипарисы;
 В лиственных сених гнездились там длиннокрылые птицы,
 Кобчики, совы, морские вороны крикливые, шумной
 Стаей по взморью ходящие, пищи себе добывая...

Так, к Средиземному, к колыбели человечества; остров Калипсо, США.

АМЕРИКАНСКИЙ КРЫМ И ДАЛЕЕ...

Рассказывая о нашем быте в Вашингтоне, нельзя не упомянуть и наших побегов из столицы: ведь если нельзя из столицы убежать, она превращается в гнусную дыру.

Лучше всего из столиц удирается зимой. Из Москвы посреди зимы “рвут когти” в Крым или на Кавказ, из Вашингтона драпают во Флориду или на острова Карибского моря. Расстояния адекватные.

С зимними побегими в Америке мне повезло: январь — блаженный перерыв в академической деятельности, и можно сняться с места с той же легкостью, что и в Москве, где круглый год был блаженным перерывом в академической деятельности за полным отсутствием таковой.

Однажды в январе решили: стыдно не побывать в Ки-Уэсте, и вот мы в Ки-Уэсте, который соотносится с роскошным Майами примерно так же, как излюбленная русскими писателями восточнокрымская деревня Коктебель соотносится с профсоюзным великолепием Сочи. Здесь нет арабских шейхов с гаремами и телохранителями, каждый владеет своим телом на свой собственный риск, нет здесь и международных казино с их специфической публикой, а любители золота предпочитают добывать его в костюмах для подводного плавания. В центре старого Ки-Уэста на выставке сокровищ экспедиции Мэла Фишера наибольшее впечатление на посетителей производит золотой кубок губернатора провинции Куско, на дне которого лежит перстень. Перстень вправлен в камень, называющийся, кажется, “азурит”, это сильнейший антидот мышьяку. Тиран при помощи этого перстня обезвреживал отравленное. Интересно, есть ли такие перстни у современных тиранов?

Первая же прогулка по главной улице Дюваль показала, что приехали недаром: публика здесь кучкуется незаурядная — заповедные хиппи шести-

десятих годов, представители половых меньшинств, не пуганные критикой писатели и кто-то еще. Дополнительную остроту придают прогулке надписи на лавках "Heavily armed! You loot, we shoot!"*

Собственно говоря, остров Ки-Уэст известен каждому интеллигенту в России благодаря роману Хемингуэя "Иметь и не иметь". Мы тоже не лыком шиты и роман читали, хотя и не помним, что там происходит. Остались в памяти лишь только детали романа, и одна, например, вот такая странная. Хемингуэй пишет, что в Ки-Уэсте всегда стояла какая-нибудь эстонская яхта. Эстонские путешественники почему-то облюбовали остров для стоянок, посылали отсюда корреспонденции в свои буржуазные газеты и ждали гоночара, чтобы продолжить путь. Сейчас в порту Ки-Уэста всяческих яхт навалом, но эстонских мы не заметили.

Хемингуэй провел на Ки-Уэсте десять лет, и это были, кажется, самые его продуктивные годы. Остров гордится им. В его любимом баре, который называется "Неряха Джо", по всем стенам висят его портреты в дубовой раме и постановление мэра, объявляющее 21 июля Днем Папы Хемингуэя.

Открыт для обозрения и дом классика — окруженный пальмами большой двухэтажный дом богатого и стильного человека. В доме и вокруг масса грациозных котов. Я заметил двух рыжих, дымчатого и сиамца, но их там было, пожалуй, не менее десятка, словом, поддерживается это котолубивая Хемовская традиция.

По вечерам над ресторанами... В старом Ки-Уэсте на каждом углу кабачки: окна без рам, двери открываются прямо на улицу, везде с гитарами чудачковатые певцы. В "Неряхе Джо" каждый вечер пели песню о Нобелевских лауреатах, в первую очередь, конечно, о Хеме, потом о Фолкнере, Альбере Камю, упоминались также и наши — Пастернак и Солженицын; о Шолохове и Бунине почему-то забыли.

На закате на набережной ежезакатный фестиваль бродячих артистов. Черные ребята методично колотят в тамтамы, белые англо-американские, столь уже знакомые всему миру чудачки на скрипках, цитрах, флейтах исполняют музыку средневековья, над толпой на ходулях проходит жонглирующий факелами циркач... в толпе людей и собак легкие поцелуи, легкие потасовки, здесь же ужинают, сидя прямо под ногами, пьют пиво, покуривают сладкую травку... Жонглер кричит: "Господа, я прямо из Брюсселя, без пересадки из Брюсселя!" Вообразите, в Ки-Уэсте Брюссель — это экзотика... А что, если объявить: "Я прямо из Коктебеля!"?

На набережной стоит плакат "До Кубы 90 миль". Полтора часа езды по морю до "лагеря мира и социализма". Воображаю, если бы советский остров находился в 90 милях от "лагеря империализма и реакции", какую бы там устроили великолепную запретную зону, какие повсюду торчали бы вышки, как бы полосовали море прожекторами, как бы патрулировали все пляжи и бухты, лишь бы никто не сбежал. А здесь — плыви, когда хочешь, на все четыре стороны.

* Вооружены всерьез. Вы грабите, мы стреляем.

Однажды вечером на улице Дюваль мы встретили загорелую пару с пиратскими платками на головах. “Видишь, Майя, не мы одни такие умные, вон Юз Алешковский с Иркой тоже в Ки-Уэсте”.

Товарищ по эмиграции московский писатель Юз сейчас учит студентов хорошим манерам в коннектикутском колледже, Ирина там же преподает балльные танцы, здесь они тоже на каникулах, медитируют на пляже, по вечерам толкуют труды философа Тросникова.

Мы объединились с дружественной парой, продвинулись в близлежащий устричный бар и заказали по дюжине устриц. Потом двинулись еще дальше и заказали по блюду даров моря под общим названием “Чайна клиппер”. Все вокруг дышало мировым океаном и настраивало на философский лад. После ужина мы пошли на пляж и стали толковать Тросникова. Мы сидели впятером, включая собаку Ушика, под крупными карибскими звездами. Вокруг было очень тихо, из глубин океана, казалось, звучала томная гитара Фиделя Кастро. В такой обстановке долго на философии не продержишься — очень хотелось спеть что-то свое, напоминающее о других временах и нравах. И вот, почти не договариваясь, мы впятером запели кое-что ностальгическое. Можно поручиться, что остров Ки-Уэст впервые в тот вечер услышал любимую песню Коктебельской бухты, что у подножия Карадага в Крыму.

Товарищ Сталин, вы большой ученый,
В языкознании познавший толк,
А я простой советский заключенный,
И мне товарищ — серый брянский волк...

Другим студеным январем решили убежать еще южнее, и вот бежим на остров Сент-Мартин, что в Надветренном архипелаге.

Отправились сначала в Нью-Йорк повидать приятелей, читу Нисневичей. “Город Желтого дьявола” поскрипывал от мороза. Таксист сначала думал, что мы советские дипломаты и был суров, но потом, узнав, что мы на все сто процентов не советские дипломаты, разулыбался и не взял чаевых. Фотограф Лев Нисневич живет в артистическом Сохо в огромном лофте вместе с женой Тамарой и тремя котами — Сашей, Барсиком и Микки. Коты, как видно, сейчас здесь в моде — скульптор Эрнст Неизвестный живет в лофте с пятью котами, однако ни по имени, ни по внешнему виду их не различает. Следует отметить одну немаловажную деталь, вполне достойную занесения в активы современной цивилизации: отсутствие кошачьей вони. Нынче все котоводы покупают какую-то специальную лажу, похожую на мелкий гравий, она отбивает вонь, коей иногда грешат эти очаровательные создания. Что касается “Желтого дьявола”, то если бы основоположник соцреализма Горький имел в виду китайских поваров, город этот и в самом бы деле заслужил эту кличку. Что бы мы тут делали без этих чертей кулинаруи?

За ужином в ресторане, куда нас повел Лев, один из этих “желтых дья-

волов“ спросил: “Вы из какой страны, господа?“ “Догадитесь“, — сказали мы. “Ума не приложу“, — ответил он. “Мы из той страны, что расположена между Польшей и Китаем“, — сказали мы. “К сожалению, я из Тайваня“, — сказал он. “Ну, все-таки, вспомните географическую карту, — настаивали мы. — Такая большая странища, напоминающая контурами дракона“. Он сильно напрягся и наконец пришел к заключению: “Вы, должно быть, из Новой Зеландии, господа“. “Пожалуйста, еще одну порцию этих ракушек со столь загадочной начинкой“, — попросили мы. “В конце концов география не моя специальность, — сказал он. — Спросите меня о сортах рыбы и получите исчерпывающий ответ“. — “Известно вам, где живет удак?“ — “Ну, стало быть, я правильно догадался — в Новой Зеландии!“

Пребывая в этой легкой географическо-гастрономической сумятице, мы отбыли на Антильские острова, и вот мы на Антильских островах. Теперь пришел черед приступить к политико-исторической части нашего рассказа.

Сразу должен признаться в полуневежестве по поводу расстановки сил и распространения сфер в регионе. Хромаю и по исторической части. Известны мне только иные курьезы и особенности некоторых отдельно взятых островов. Известно, например, что остров Куба все продолжает наращивать свою несокрушимую мощь по мере того, как Фидель Кастро приобретает все большее сходство с Фридрихом Энгельсом. С другой стороны, остров Гренада вдруг всему свету на удивление продемонстрировал “обратимость“ социалистических изменений обратно в капиталистические изменения. Известно также, что многие острова в последние годы получили полнейшую независимость от своих метрополий, но, с другой стороны, остров Ангилья после семи лет независимости попросился обратно в Англию, чем подтвердил сложившееся у меня впечатление, что Британская империя в последнее время медленно, но верно возрождается. Ну а вот остров, на который мы только что прибыли, тоже явление из себя представляет уникальное.

В туристских проспектах остров преподносится как “две страны — один рай“. Дело в том, что этот гористый и весьма изрезанный клочок тропической земли площадью 34 квадратных мили принадлежит двум странам — Франции и Голландии. По-французски он именуется Сен-Мартин, ну а по-голландски Синт-Маартин. Открыл его в день Святого Мартына во время своего второго путешествия, разумеется, все тот же Христофор Колумб, о котором в туристском проспекте сказано не без некоторой элегантности, что он был самым целеустремленным круизным туристом своего времени. Открыв, объявил навечно, то есть необратимо, собственностью испанской короны. Увы, испанские изменения на острове оказались обратимыми, как и социалистические на Гренаде. В дальнейшем на острове начались франко-голландские потасовки, которые завершились в 1668 году подписанием соглашения о разделе острова на две приблизительно равные части, северную — французскую и южную — голландскую. С того времени соглашение нарушалось шестнадцать раз, но потом снова восстанавливалось, и на текущий момент оно является самым старым из всех международных соглашений, еще сохраняющих силу.

В первое утро после прибытия, отдернув шторы, мы увидели перед собой большой залив идеальной подковообразной формы, окаймленный полосой пляжей, низкими строениями голландской столицы Филипсбург и невысокими горами именно таких очертаний, что привлекали во все времена искателей приключений. На внешнем рейде стояло несколько круизных лайнеров.

Балкон нашего номера на первом этаже выходил прямо на прибрежные камни, там живописно раскинута была небольшая морская свалка, вполне типичная для нынешних морских побережий — обрывки резиновой рыбацкой робы, кое-какое отработавшее свое белишко, пластмассовый галлон из-под молока, отжатые пузырьки пляжного крема и т.д. Море, однако, в десяти шагах от нас было прозрачным, пара пальм раскачивала свои ветви, в них порхали желтогрудые колибри, среди отходов цивилизации сновали первозданные ящерицы. Решено было сразу после завтрака взять напрокат автомобиль и объехать остров, благо на все это дело, как следовало из туристского буклета, требовалось не более двух с половиной часов.

Итак, отправляемся сначала в столицу голландской части — город Филипсбург — поселение, расположенное на песчаной косе между морским заливом и соленой лагуной. На главной улице Фронт-стрит поражают витрины роскошных магазинов, иные из которых не уступят ни Пятой авеню в Нью-Йорке, ни Елисейским Полям в Париже. Они тем более выглядят удивительно, что мирно соседствуют с полудеревенским убожеством “третьего мира”, идиллически процветающим во всех боковых переулках. Снова вспоминаешь крылатые метафоры классика социалистического реализма Анатолия Софронова: “остров контрастов”.

В самом деле, число контрастов по мере продвижения в глубину острова нарастает. Дороги, например, преотвратные, узкие, с ухабами, а нередко и просто грунтовые, но по этим отсталым дорогам мчится в больших количествах передовая автомобильная технология Запада, движение на удивление интенсивное, кажется, что все тридцатитысячное население острова целеустремленно мчится куда-то за рулями личного транспорта, хотя непонятно, куда можно так бодро мчаться и какие цели преследует население на острове, что пятнадцать километров в длину и столько же в ширину.

В полное изумление приводит здесь американцев здешняя телефония — оказывается, не очень-то она работает. Надо сказать, что шоколадные голландцы и французы (а именно таков цвет кожи девяноста процентов местного населения) из своей телефонной неадекватности тоже сделали рекламу. Наш остров, говорит реклама, в своем бурном росте перерос свою телефонную систему. Лучший совет туристам — забудьте всяческую суету и вообще не звоните никуда, расслабляйтесь.

Мы едем мимо вилл, прилепившихся к склонам гор. Одна из них, белая и с американским флагом на крыше, принадлежит королю джаза Бенни Гудману. Вдруг мы замечаем, что вокруг стали мелькать французские названия, стало быть, мы уже во Франции, а вот и не больше — не меньше, как город Орлеан, десятка три домиков и католическая церковь, а вот уже и

французская столица Маригот, мирно лежащая на берегу тихой бухты с парусниками и катерами; настоящие французские ажаны в их круглых кепи и в шортах позируют для туристских снимков.

В обеих частях острова, между прочим, поражает немалое количество грязи и хлама. Мусора тут, пожалуй, скопилось больше, чем во всей Голландии и Франции, — брошенные покрышки, гниющие корпуса автомобилей, ржавая проволока, ящики, бесхозные куски бетона, бутылки, банки, тряпье... Колонизаторы, черти, почему-то не научили островитян следить за чистотой. Население здесь явно не бедствует — мы видим вокруг добротные дома с хорошей мебелью, массу машин, детей и подростков в дизайнерских джинсах и маечках; красотки вообще на высшем уровне, с сигаретами в грохоте музыки “регти”, за рулями своих “хонд” и “тойот”. Потреблять здесь уже научились, а вот убирать за собой еще нет. Впрочем, многие считают, что вкус к потреблению — это основной путь “третьего мира” к дальнейшему ненасильственному развитию.

В магазинчике на главной улице голландского городка Филипсбурга две продавщицы, черная и белая, на пулеметной скорости общались друг с другом, употребляя довольно странные звуки и словосочетания. Покупателям они отвечали на обычном так называемом международном английском. “Простите, на каком языке вы говорите друг с другом?” — спросил я. “Этот язык “папельяменто”, — охотно ответила негритянка. Комбинация испанского, английского, французского, голландского, португальского, итальянского, да Бог знает еще какого, все вместе звучит похоже на испанский и является основным бытовым средством коммуникации Нидерландской Вест-Индии, в состав которой входят, кроме Синт-Маартина, то есть его голландской половинки, еще пять островов, включая большой островище Кюрасао с его почти двухсоттысячным населением. Позднее хозяин бензоколонки рассказал мне еще больше об этом языке. На нем не существует ни литературы, ни газет в связи с отсутствием письменности, но между тем именно он является здесь основным средством коммуникации. Такая лексическая ситуация, разумеется, не могла не напомнить мне путешествия на *Остров Крым* с его комбинированным языком “яки”.

Интересно было наблюдать за жизнью местного населения. Честно говоря, я был даже доволен, что остров оказался не таким, каким он представлялся в воображении, то есть в соответствии с рекламными буклетиками, — вылизанным полем для гольфа с идеальными современными коттеджами и пальмовыми аллеями. Вместо этой глянцевиной поверхности мы нашли здесь гору мусора, неряшливость, пижонство, шелудивых собачонок и беспризорных овец, красоток в спортивных “мерседесах” и “колхозниц” с ведрами на головах, постоянную и какую-то странную, на наш взгляд, как бы деловую озабоченность местного населения, некий дух причерноморской зоны, особенно Абхазии, переезды туда-сюда, толковища на углах, плутоватые физиономии у отелей и на пирсе, страннейших пластмассовых коней и петухов в витринах магазинов, алебастровые бра в коридорах гостиницы, каковых в западном мире вроде бы не может существовать и за которыми

надо снаряжать экспедицию, скажем, в Караганду, продажу чего-то резного, деревянного, плетеного, нанизанного на ниточки, “козла”, которого по вечерам в своих двориках забивают “шоколадные голландцы” с неменьшей увлеченностью, чем это делают ветераны армии и госбезопасности на московских бульварах, — словом, мы нашли здесь как бы свой карибский вариант нашей “затоваренной бочкотары”.

Самих нешоколадных голландцев на острове раз-два, и обчелся, речь их на улицах почти не слышна, а вот французов не так уж мало — и в северной части, которая без всяких хитростей попросту считается частью Франции, и в южной, где они владеют магазинами и ресторанами. Рестораны здесь, надо сказать, чертовски дороги, но и отменны, в них поддерживаются французский шик и стиль.

Любопытно бывает обнаружить в какой-нибудь маленькой бухточке, среди деревенских дворов с бродящими курами и овцами идеальный французский ресторан и в нем хозяина, эдакого парижского сноба в лаках с тонкой золотой оправой, похожего на моего одного приятеля, что путешествует через океаны в первом классе, держа в одной руке бокал сухого “мартини” и томик Платона в другой.

Чтобы создать у читателя некоторое представление о ежедневной жизни островитян, приведу несколько сообщений из местной газетки.

“...Леди Джи-Си-Эм в полночь обнаружила у себя на крыльце незнакомого мужчину. Заметив, что обнаружен, мужчина убежал...”

“Во дворе дома на улице Гвоздик загорелась куча мусора. Подозревают, что причиной пожара стали бенгальские огни. Пожарные загасили огонь...”

“Джентльмен Ви-Пи запарковал свой грузовичок на Франт-стрит, но, вернувшись, обнаружил его полное и удивительное отсутствие. Предполагают, что кто-то решил на грузовичке позабавиться...”

“Леди Эс-Эм-Эс явилась в полицию с жалобами, что джентльмен Эйч во время недавней с ней ссоры дал волю рукам. Правительство, сказала она, должно решительно пресекать подобное безобразие...”

“Иные из новоприбывших требуют на нашем острове предоставления им работы, однако не хотят пачкать руки. Джентльмен Кью, явившись на работу в пьяном виде, даже не представлял себе, в чем заключаются его обязанности...”

“Молодой герой. Четырнадцатилетний Тео Нейлингер спас утопающего в бурных водах Гайана-бич шестидесятилетнего гостя легендарного джазиста Бенни Гудмана, который, будучи бывшим морским пехотинцем, слишком переоценил свои плавательные возможности. Окруженный толпой, молодой герой сказал: “Ол райт. Так поступаем мы, антильцы...”

“Дорогая редакция, я являюсь красивым подростком. Недавно ко мне подошел красивый пожилой господин и предложил совершить на его яхте кругосветное путешествие. Что вы мне посоветуете?” — “Дорогой красивый подросток, мы советуем тебе завершить образование, получить хорошую работу, заработать деньги и совершить кругосветное путешествие без красивого пожилого господина...”

“Комиссар по туризму, культуре и спорту Сэм Хейзел (на нас смотрит круглая физиономия веселого плута) говорит, что при нынешнем развитии слово “конкуренция” на острове Сен-Мартин становится абсурдным. В отличие от других островов мы не пытались ни построить социализм, ни развить промышленность, мы просто ждали. Теперь они испытывают кризис, а мы бурно развиваемся. Туризм — вот истинный путь карибской цивилизации”.

Опускается вечер. Начинают стучать “бочечные оркестры”. Признаться, я этот ритм “регги” терпеть не могу, однако положение туриста как бы обязывает восхищаться экзотикой. Как-то на пляже толпа человек в пятьдесят “шоколадных голландцев” танцевала часа четыре под одну и ту же песню. “Нравится вам наша музыка?” — спросил меня полицейский. “Музыка-то хороша, — слукавил я, — но, кажется, с кассетой что-то не в порядке, все время крутится одна и та же песня”. — “Да что вы, мой друг, — удивился он, — это сорок четыре совершенно разные песни”. Цезарю — цезарево, быку — быково.

Продолжаем снова из Блока, как и в Ки-Уэсте: “По вечерам над ресторанами” какой-то там воздух дик и глух, и правит окриками пьяными весенний и тлетворный дух. Далее из советского фольклора: “Все в порядке, пьяных нет”. Пьяных и в самом деле мы за всю неделю не наблюдали ни одной персоны, и медицинский вытрезвитель, господа, хотя, возможно, это и прозвучит фантастично, попросту отсутствует. В связи с этим отсутствием не чувствуется как-то тлетворного духа, если только нельзя к этому духу отнести ресторанный дороговизну. Вот тут уж, в этих островных ресторанах, на туристах отыгрываются вовсю, каждый ужин вдвоем подкатывает под сотню. Кухня, впрочем, во многих местах великолепная, особенно во французских заведениях “Эскарго” или “Журавлиный хвост”, или в заведении с уклоном к международному авантюризму, именуемом “Хемингуэй”. Опять он!

Наш хозяин, объяснили нам в этом ресторане, дружит с этой семьей, и внучки писателя, столь мило продолжившие фамильную славу Марго и Мариэль, нередкие здесь гости. “Сегодня вечером не ждете?” — спросил я. “Мы ждем их каждую минуту, сэр”, — был ответ. Заиграла музыка из знаменитого французского гомосексуального шедевра “Клеточка с приветом”, и началось шоу — танцы трех существ неопределенного пола.

О скольких предметах я уже рассказал в этой серии побегов, но не коснулся пока что одного, из-за которого, собственно говоря, и все побегии возникают, а именно пляжа. Тут, впрочем, особенно-то и распространяться нечего за пределы одного слова — восхитителен! Лежа под пальмами на песке, напоминающем пудру “Макс Фактор”, рядом с прозрачной водой — странным образом никаких даже мелких нефтяных катышков не обнаруживалось, — мы посматриваем на сопляжников, американцев пожилого в основном возраста. Любопытно, что среди них немало типов, напоминающих пер-

сонажей коктейбельского литфондового курорта. Вот, например, лежит пот-от Поженян, читает мемуары автомобильного магната Иакока, хочет стать богатым. Вот с коктейлем "Кровавая Мери" проходит правдист-международник Почивалов, вот раскладывает пасьянс армейская сильфида Юлия Друнина... На пляжах как-то особенно ясной становится конечная неизбежность идеологической конвергенции.

Кончается наш очередной побег, мы грузимся в "джамбо" компании "Пан-Ам" и летим, но не на север, а на юг, на остров Антигуа, чтобы забрать и там группу загорелых. Вслед за этим берем курс на Нью-Йорк, и вот мы в Нью-Йорке. Там свищет морозный ветер. К моменту посадки в поезд на Вашингтон начинается дикая пурга. Объявляют, что на трассе авария и что, возможно, за Филадельфией всем придется высадиться и продолжить путь на автобусах. Американцы в таких случаях никогда не ворчат. Ворчат только иные русские эмигранты: стоило ли, мол, эмигрировать из метели в метель? Не лучше ли было сразу слинять на Карибы?..

...Говоря о зимних побеггах из вашингтонского быта, следует несколько слов сказать и о возвращениях.

Однажды мы приближались к городу с юга, по хайвею № 95. Был воскресный праздничный вечер. В "омега" уже работала вашингтонская радиостанция, "интеллектуалка", как мы ее называем. Шла Сороковая симфония Моцарта. При приближении к Пентагону шоссе расширилось до пяти полос. Вровень с нами на одной скорости шла машина других вашингтонцев, многие были загорелыми, видно, как и мы, провели неделю-другую во Флориде.

Открылись за Потомаком освещенные закатным солнцем постройки Мола, все эти святыни нашей уникальной демократии, само существование которой среди свирепого марксизма вызывает некоторое торжественное удивление.

Вдруг мы услышали какое-то восторженное попискивание. Наш двухлетний Ушик, встав на задние лапы и упираясь передними в наши спины, восторженно взирал на Вашингтон. Радостный скулеж его усиливался по мере приближения к Адамс-Моргану. Пес радовался возвращению в столицу, а ведь рожден он был в Канзасе.

ШТРИХИ К РОМАНУ "ГРУСТНЫЙ БЕБИ"

Пресловутая наблюдательность русской литературы! Горлышко разбитой бутылки (Чехов), рой мошкары над головой марширующего штабс-капитана (мое, и Чехову не отдам).

Пресловутый Запад делает вид, что спешит, кокетничает сам с собой: какой я нехороший, развратный, порочный... делает вид, что ему наплевать на русскую литературную наблюдательность; сейчас, мол, не до деталей!

Пипнушему человеку вперу внасть в транс: нечего уже наблюдать, все наблюдено, все наблядено, продано по двадцать раз на корню в "ноубиз" с

учетом колебания биржевых ставок. Классик, и тот спасует перед мерами, направленными на подавление литературной наблюдательности как на Западе, так и на Востоке.

Пишите — “вошла девушка”; этого достаточно. Вам кажется, что следует указать на ее несколько английскую внешность — выпуклый лоб, все чуть-чуть сужено, подбородок чуточку вперед, густые волосы малость пегаваты, — но это в самом деле никого не интересует, потому что подразумевается. Может быть, через полгода встреч вы заметите, что зрачок одного ее глаза (какого — забыл) начинает иногда бурно вращаться, но это и в самом деле не имеет отношения к мировому “интертейнменту”, это уж из вашей частной жизни.

Отцвели каштаны, скажете вы, проститутки на Бульваре Ланн все, как одна, похорошели, однако и эти ваши наблюдения вряд ли имеют практическую пользу, поскольку слишком нагло располагаются во времени.

Улицы идут одна за другой в строгой последовательности — 31-я, 32-я, 33-я... Никого, кроме вас, не восхитит тот факт, что между 33-й и 34-й протекает улица Бетховена; ее можно было бы спокойно не заметить.

Пища для обобщений:

...В городе Red Bluff (Красный Блеф?), Калифорния, раскрылась интересная история. Семь лет назад рабочий с лесопилки мистер Хукер похитил двадцатилетнюю особу и с тех пор держал ее в заточении в качестве сексуальной рабыни.

Рабыня днем содержалась в специально для нее построенном ящике, а по вечерам мистер Хукер вместе с супругой (у них двое детей) извлекали ее оттуда, мучили горящими спичками, подвешивали ее к потолку, раскладывали на доске и “имели секс” с нею.

Обобщение: они все эро-монстры!

...Вся страна широко обсуждает главы из мемуаров восемнадцатилетней киноактрисы Брук Шилд “Как сохранить и поддерживать свою невинность”.

Обобщение: в принципе они все — чистопробные пуритане!

...Мистер Макферленд из Сан-Диего, Калифорния, спрыгнул на рельсы, чтобы спасти своего ирландского сеттера из-под колес подходящего поезда. Сеттер уцелел. Мистер Макферленд лишился ноги.

“Некоторые считают меня чудачком, — сказал этот тридцатичетырехлетний холостяк, — но я полагаю, что ради любящего и преданного мыслящего существа пожертвовать ногой не так уж дико. Я получаю сотни писем со всей страны, и все меня одобряют. Большинство людей любит своих животных гораздо больше, чем мы иногда думаем”.

Обобщение тут уже высказано, хотя оно и несколько противоречит лаконизму: No pets*, существующему в восьмидесяти процентах объявлений о сдаче жилья.

* Никаких домашних животных.

1953

Мрачное утро обездзугашвиленного мира. Филимон, Парамон, Спиридон и Евтихий поют коммунальную арию Каварадоси. Скоро расстрел.

Местная квартира органов пролетарской диктатуры, известная в народе под веселым именем “Бурый овраг”, как раз над этим оврагом и располагалась. В последние годы руководство решило пробудить в населении добрые и веселые эмоции по отношению к этому месту, и в овраге был разбит детский парк с фанерными фигурами и аттракционами.

Сейчас, стоя по пояс в снегу, четверо осквернителей памяти почившего могли сказать последнее прости и Деду Морозу, и Снегурочке. Майор Щедрина, он же стилига Клякса, держал их под мушкой своего браунинга. Десять “стратегических” рюмок коньяку до неузнаваемости изменили внешность “рыцаря революции”. Рассыпалась набриолиненная прическа, съехали в сторону усики. В этот момент он напоминал нечто среднее между хорошо уже известным в СССР Чарли Чаплиным и пока еще не известным Че Геварой.

— Кончай, Вадик, дурачиться! — пищали присутствующие в качестве зрителей подруги обреченных.

— Прощайтесь, белогвардейская сволочь! — гаркнул Клякса.

“Как плохо начинается новый возраст”, — пробормотал Филимон. “И новая эра”, — прошептал Парамон. “А ведь ожидалась оттепель”, — простонал Спиридон. “Не для нас”, — зарыдал Евтихий.

Со стен ледяного городка, так ностальгически напоминавшего искусство передвижников, заиграл на аккордеоне юноша Грелкин. Лиловый негр Боб Бимбо запел с английским акцентом:

— Есть у тучки светлая изнанка...

Есть ли у тучки светлая изнанка? Майор Щедрина отшвырнул пистолет.

— Помогите мне, чуваки, пробраться в Западную Германию!

— Да зачем тебе в Западную Германию, Клякса?

— Чтоб в Америку сбежать!

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Сент-Петербург во Флориде — может быть, самый странный город из тех, что мы посетили в Америке. Улицы унылого провинциального быта, заброшенные дома, тихо бредущие по корявому асфальту фигурки пенсионеров, и вдруг посреди этого убожества современная галерея с доброй сотней полотен Сальвадора Дали. Набережная с робкими лавчонками, руины розового, в стиле отеля “Великий Гэтсби”, длиннейший пирс, на краю которого высится мрачное бетонное сооружение, годное для съемок фильма о каком-нибудь тоталитарном заговоре против человечества, на деле же не что иное,

как вместилище нескольких рыбных ресторанов и видеоаркад... некоторую естественность пейзажу придавали лишь пальмы и паруса в заливе.

Мы ходили по набережной и искали памятник основателю города русскому негодянту Дементьеву. Дело в том, что этот город — один из робких центров русского присутствия в Америке. Старые эмигранты его иначе, как Санкт-Петербургом, и не называют в память о своей прежней столице, переименованной в город Ленина с тем же правом, с каким сочинения Льва Толстого могли бы быть переименованы в сочинения Шолохова.

Дементьев высадился на этих плоских берегах в конце прошлого века, чтобы основать город под гордым именем русской столицы, а свое собственное имя для удобства коммерческих операций трансформировать на американский манер и стать Деменсом.

“Деменс-лендинг”, то есть “высадка Деменса”, — так и называется это памятное место. Мы все оглядывались в поисках бронзовой или чугунной фигуры с какой-нибудь шпагой или ружьем в руке, но ничего подобного не видели. Подошли к группе стариков-рыболовов, черных и белых, тихо увядающих с удочками в руках под белесым жарким небом.

— Вы, кажется, местные, джентльмены? Подскажите, где можно найти здесь монумент “Деменс-лендинг”.

Старики замялись. Никто из них такого монумента в окрестностях не замечал.

— Просим прощения, монументами наша местность небогата, а вот высадка вот тут как раз неподалеку имела место, вот за теми пальмами, по слухам, и высаживались, нечистая сила...

Оказалось, что рыболовы полагают исторический пункт местом высадки каких-то флоридских “демонов”, а об основателе своего города Питере Деменсе они не слышали ровным счетом ничего.

Монумент, поставленный Конгрессом русских американцев, представлял собой камень размером не более среднего чемодана; найти который за стволами пальм было нелегко.

В какой-то степени масштаб и скромность, если не сказать жалость, этого мемориала отражают состояние русской этнической группы в США.

У русских в этой стране нет ни могущественных финансовых покровителей, ни политического лобби, ни образовательных институтов, ни даже развитой кулинарии, если не считать бруклинского населения в районе Брайтон-Бич, именуемого “Малой Одессой”, о которой речь пойдет ниже. Существующая организация, именуемая Конгрессом русских американцев, озабочена как будто только одной темой: время от времени мы узнаем о ее существовании, когда она начинает протестовать против привычки американской прессы называть советских функционеров “русскими”.

А между тем русских-то здесь, кажется, пара миллионов, и на протяжении послереволюционных десятилетий они внесли немалый вклад в развитие нашего нынешнего общества: ведь это были русские далеко не худшей

породы, достаточно, включая телевизор, вспомнить об инженере Владимире Кузьмиче Зворыкине; подняв голову к пролетающему вертолету — о конструкторе Игоре Ивановиче Сикорском; услышав современные лады музыки — о композиторе Игоре Федоровиче Стравинском...

В отсутствии национальной структуры, в мумификации культурного наследия русской общине никого, кроме себя самой, винить не приходится. Среди прочих других причин, вызвавших нынешнюю расслабленность, есть и идея так называемой смерти России, то есть необратимости большевистских изменений. Идея эта была популярна в русской эмиграции много лет и вряд ли стимулировала у молодых поколений желание оставаться “русскими”.

Все-таки, как мы выяснили, приехав, что-то еще осталось. Главной объединяющей силой является, конечно, русская православная церковь. В праздничные дни в храмах Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Вашингтона, Монреалья, Филадельфии мы видели основательные скопления сугубо русских персонажей, настолько русских и не тронутых той неуловимой и вместе с тем вполне отчетливой советской порчей, какой тронуты мы все, вновь прибывшие, что казалось, будто присутствуешь на съемках фильма о старой России.

Советская “порча”, или, если угодно, примета современной России, выделяет нас мгновенно из числа здешних русских. Она сказывается и в походке, и в жестикуляции, и в манере одеваться (кажется, более “западной”, чем у наших западных соотечественников), не говоря уже о манере речи и о лексике, загрязненной (или обогащенной) всем советским периодом истории.

По манере речи почти немедленно отличаешь советского русского от американского русского. Как-то раз пожилая дама повернулась к нам в толпе на Коннектикут-авеню: “Ой, здравствуйте, а я иду и слышу, кто-то рядом говорит *по-советски*”.

На самом деле речь, конечно, идет не о *советском* языке, а о современном говоре России, огромного языкового океана, в стремнинах которого мы провели всю жизнь, а с другой стороны, о консервированном (в лучшем случае) литературно-хрестоматийном русском, в худшем же случае о немыслимом “воляпюке”, составленном из английских, французских, испанских и немецких слов с русскими окончаниями и падежами.

Вот, например, как некий русский, родившийся в Германии, воспитанный во Французском Марокко и проживший последние тридцать лет в Соединенных Штатах, рассказывает о дорожном происшествии. “Еду с супругой по хайвею в своем вуатюре. Неожиданно перед нами появляется рэклис спидер. Я каширую, супруга — вообразите! — уринирует... Кель кошмар, господа!”

Мы уже привыкли и не удивляемся, когда слышим, что кто-то из знакомых “выбежал из денег”, “взял 95-ю дорогу”... Больше того, и сами то и дело ловим себя на таких примерно перлах: “Надо взять иншуранс, потому

что он (?) такс дидактабл, иначе с нашим мортгейджем мы не найдем своего шелтер...“

Подлинная жизнь русской эмиграции — это одно из главных открытий, сделанных нами в Америке. Прежнее “внутрисоветское“ представление об этих людях было искаженным. В советской прессе, в литературе соцреализма давно уже установились железные клише в отношении эмигрантов. В худшем случае это законченный мерзавец, предатель родины, циничная “белогвардейская сволочь“, в лучшем — опустившийся подонок, алкоголик, рыдающий в каком-нибудь сомнительном баре по чистым березкам России.

Отказавшись от всех советских клише, мы стали воображать себе жизнь наших собратьев за пределами империи совсем в другом ключе, и волей-неволей под влиянием все большего числа книг, просачивающихся из-за границы, перед нами возникал образ российского эмигранта, весьма близкий к полумифической личности Владимира Владимировича Набокова, великодушного писателя, усталого сноба и неутомимого охотника за бабочками.

На деле оказалось, что “набоковых“ в среде русских американцев не очень много, что, разумеется, вполне естественно — таких людей не может быть много. Большинство состояло из простых и вполне порядочных дам и господ, из которых пожилые были более “русоватыми“, а молодые, конечно, более “американистами“.

Оказалось также, что все наши авангардные писания, рисования и ваяния не имеют почти никакого отношения к *этим* русским. Для большинства из них русская литература если еще и существовала, то лишь в хрестоматийных образцах — “люблю весну в начале мая“, “выдь на Волгу, чей стон раздается“ и т.д., — а вся наша богемная братия, явившаяся в Америку с московских и ленинградских чердаков и из подвалов, казалась людьми испорченными, непонятными и опасными.

В американских мегаполисах, среди переплетений фривеев и миллионов катящихся автомобилей существовали маленькие русские общины с нравами российских уездных городов начала века.

На наших глазах однажды разыгралась вполне заурядная, но весьма красноречивая любовная драма. Московский художник, основательный пьяница и “ходок“, стал встречаться с молодой русской американкой, матерью троих детей и женой уважаемого русско-американского мужа. Скандал разгорелся невероятный.

Мой друг был невольным свидетелем этой истории, он рассказал мне о ее скорее трагикомическом, чем трагическом характере. Все происходило в большом американском городе, полном людей всех человеческих рас, полном всех этих “бизнесов“, и малых и больших, сексуального освобождения всех видов, в городе, заваленном книгами, журналами и видеокассетами выше ушей, а между тем в маленькой русской общине царили нравы Пошехонской старины; скандал носил явно ксенофобский характер, кумушки, которые всегда в России были столпами нравственности, возмущались не

столько самим фактом развала семьи, сколько вторжением чужака, как бы декадента, как бы *иностранца*.

Кажется, многие из русских пришельцев “новой волны” не очень соответствовали установившимся в Америке стереотипам в отношении русских.

Как-то мы столкнулись на вашингтонской улице с группой друзей, ну, и, разумеется, разорались, расхохотались. Местные жители, сидевшие на крыльце, прислушивались не без удивления, а потом спросили:

— На каком языке вы говорите, фолкс?

— На русском, — сказали мы.

— Хм, — пожали они плечами. — Для русского звучит слишком весело...

С удивлением новоприбывшие обнаружили, что в русско-американской общине, как в капле воды, отражаются и многие гадости, привычные для большой России.

Довольно бодро, например, процветает старорежимный антисемитизм (чрезвычайно странная, между прочим, штука после антисемитизма новорежимного).

Однажды в церкви священник призвал прихожан молиться за спасение Елены и Андрея, то есть за Елену Боннер и Андрея Сахарова. В ответ он услышал возмущенные голоса каких-то теток, которым в пору было бы заседать в советских органах: “А чего это нам за жидов молиться?!”

Священник, просвещенный и глубокий в своей вере человек, так в этот момент растерялся, что стал объяснять: Сахаров-де, не еврей, только жена его еврейка...

В закостеневшем невежестве немало здешних русских до сих пор полагают, что Советским Союзом и сейчас правят “жидовские коммунисты”. Другие антисемиты, более сведущие в положении вещей, направляют свои страсти-мордасти в адрес диссидентов, говоря, что “жиды опять задумали погубить Россию, едва оправившуюся от их революционных делишек, пусть хоть и советскую, но зато какую величественную, всему миру на заглядение!”

Невежество и ханжество тоже никуда не пропали. Нередко приходится с этим сталкиваться на литературных чтениях в эмигрантской аудитории. Новоприбывшие “модернисты” и “авангардисты” вызывают нахмуренное недоумение и подозрение.

Как-то раз я читал отрывки из нового романа в летней школе русского языка. После чтения ко мне подошла дама, внешним видом как бы олицетворявшая образ советской ханжи: высокая прическа из тех, что в Москве называют “блошинный домик”, платье пошива ателье Министерства обороны, поджатые в априорной обиде губки.

— Нам сказали, что будет выступать звезда русской прозы, и вот такое разочарование, — сказала она.

Я знал, что у этой школы есть программа обмена учителями с СССР и

был полностью убежден, что разочарованная дама приехала *оттуда*. Ну и ну, подумал я, вот таких мамаш они теперь в США направляют.

— Чем же я вас так сильно разочаровал, сударыня?

Она брезгливо сморщилась.

— Какая-то у вас в этом романе неприятная дидактика.

Дидактика? Чего-чего, но уж обвинения в дидактике я не ожидал. В том куске, что я читал, излагались страдания стихийного анархиста Велосипедова, в частности, его рефлексии по поводу предстоящего медосмотра в военкомате. Родина, полагал Велосипедов, как и всякая блядь, любит молодых солдат без геморроя. Она заходит сзади и говорит: нагнись, разведи руками ягодицы, надуйся! Если из заднего прохода не выскакивает шишечка, гордись — ты годен в бронетанковые войска. Ну а что, если выскочит? Свободен! Свободен, как партизан, как кавказский абрек!

— Дидактика, вы сказали?

— Ну а что же еще? Ну зачем вы описываете эти противные шишечки? Неужто без этой отвратительной дидактики нельзя обойтись?

— Вы давно из Советского Союза? — спросил я.

Оказалось, что она там ни разу и не бывала. Настоящая русская американка из семьи послевоенных “перемещенных лиц”.

Обобщать, впрочем, и здесь невозможно, потому что, кроме этих теток и дядек, русская община Америки познакомила нас с множеством интересных типов, интеллигентов, чудаков, идейных борцов против коммунизма и безыдейных кутил с гитарным репертуаром цыганских варьете Санкт-Петербурга или просто с людьми, которым мы были интересны, которые в общении с нами пытались составить для себя образ живой современной России.

“...you new arrivals brought up here some fresh air, you gave us a new pace... Thanks to you we the American Russians have realized that “russianness” doesn’t necessarily mean a musty backwardness,* елки-палки!

Этот тост поднимает all American Ted Stanitz**, при рождении нареченный Федором Станицыным. В отличие от своих родителей, которые, родившись здесь в русской семье, растеряли и язык, и интерес к исторической родине, Тед стремится теперь вернуться к “русскости”.

Нам, новичкам, очень трудно было понять феномен “русского американизма”. Постоянная путаница со словами “наши” и “ваши”. Вначале тех советских, обидчиков и лжецов, мы все еще называли “наши”, а этих, американских, давших нам приют в своей стране, называли: “они”, “их”, “ваши” и т.д.

* “...вы, новоприбывшие, привнесли с собой свежую струю воздуха, вы дали нам новый ритм... Спасибо вам! Мы, русские американцы, поняли, что “русскость” — это не значит “загадность” и “отсталость”.

** Типичный американец.

“...Наши в Афганистане творят черт-те что... Наши сбили пассажирский авиалайнер... Американцы заявили протест... Американцы обогнали наших в космосе...”

И вдруг, раз за разом, я стал ловить себя на том, что употребляю слово “наши” по отношению к Западу, к Америке.

— Видишь, — говорил я жене или приятелю о последних новостях, — в Германии произошел обмен шпионами. Обменено четверо ихних на двадцать наших.

— Это невыгодный обмен! — возмущается жена или приятель. — Когда *они* наконец научатся иметь дело с *нашими*?!

Полная путаница. *Они* в данной интерпретации американцы. *Наши*?.. Кто они? Вдруг жена или приятель спохватываются, что называют *нашими* совсем “не наших”, а тогда, значит, обмен выгоден: двадцать душ *наших* за четыре *ихних*.

— Ты говоришь “наши” про “наших”? — спрашивает жена. — Про наших советских или про наших американских?

— Давай договоримся: их наши — это уже не наши, а наши наши — это наши, о’кей?

В таких языковых спотыканиях и проявляется процесс американизации, так мы начинаем понемногу понимать, что означает — быть не просто изгнанниками, но русскими членами западного блока.

РУССКАЯ ПАСХА В ВАШИНГТОНЕ

Недавно православная Пасха совпала и с европейской, и с еврейской. В канун праздника повсеместно в городе слышались приветствия “Хэппи Истер” — “Счастливой Пасхи”! Последним из сферы обслуживания, сказавшим мне эту фразу, оказался черный автомеханик на станции “Эксон”, заменивший прокладку в трансмиссии моей машины. “Вам также”, — ответил я. Приятно, когда у тебя общий праздник со всем городом.

Ближе к полуночи мы отправляемся в северную часть города, в наш скромный храм Святого Иоанна Предтечи. Скромность вообще отличает все, что связано с русской жизнью в Америке.

В Вашингтоне, например, функционирует отделение Русского литературного фонда, этой уникальной организации, основанной в Петербурге сто пятьдесят лет назад для помощи “неимущим и пьющим литераторам”. Советский вариант этого учреждения представляет из себя многомиллионный государственный бизнес, здесь в Вашингтоне под руководством энергичной и элегантной председательницы, профессора Елены Якобсон, Литфонд проводит свои скромные вечера в скромном зале протестантской церкви.

Что ж, может быть, эта скромность является хоть маленьким, но все-таки противовесом гигантомании социалистической метрополии.

Итак, мы съезжаемся на заутреню. В городе два православных собора. В Свято-Николаевском соборе, где настоятель — профессор русской литературы Джорджтаунского университета отец Дмитрий Григорьев, служба идет

почти полностью на английском языке. Мы, разумеется, выбрали храм, где молятся по-русски. Немаловажную роль в этом выборе, конечно, сыграла и личность настоятеля Собора Иоанна Предтечи отца Виктора Потапова. Мы с ним и его семьей за нашу жизнь в Вашингтоне хорошо подружились. В жизни отец Виктор — это приятный русский молодой человек, ему немного за тридцать. Трудно поверить, что в юности он говорил по-русски с акцентом, настолько жива и современна его русская речь сейчас. Родившись в Америке, отец Виктор посвятил свою жизнь русской церкви. Он прекрасно знает литературу, и не только зарубежную, но и за интересными именами в России следит, дружит с Ростроповичем и Солженицыным. Часто в доме Потаповых в вашингтонском пригороде Сильвер-Спринг, душой которого (не пригорода все-таки, но дома) является жена Виктора Маша (трудно назвать “матушкой” молодую хорошенкую парижанку из известной семьи Родзянко), собирается по праздникам многолюдная компания прихожан. Веселые шумные вечера. Однажды отец Виктор извещил о радостном событии: в Вашингтон прибывает чудотворная икона Курской Богоматери. Она известна на Руси еще со времен татарского нашествия и вывезена была за границу в составе Добровольческой армии.

Мне нравятся проповеди отца Виктора, как их манера, так и смысл. Однажды я слышал, как он рассказывал прихожанам об иконоборчестве и в связи с этим вспомнил историю царя Авгаря.

Прикованный к постели царь послал придворного живописца в Палестину, чтобы запечатлеть образ Спасителя. Из-за большого стечения народа, а может быть, и из-за других причин живописцу никак не удавалось это сделать. Вдруг Иисус подозвал его, потом попросил кусок холста, так называемый убрus, и приложил его к своему лицу. На холсте отпечатался Его портрет. Это был первый нерукотворный образ Спасителя. Живописец отвез святой убрus своему повелителю в город Едессу. Впоследствии на протяжении веков нерукотворный образ Христа прошел через множество испытаний, кочевал из страны в страну. Поразительно то, что он несколько раз давал себя отпечатки.

Мне этот рассказ отца Виктора пришелся кстати. Я в то время писал роман о фотографах и думал о непостижимой космической сути фотопроекции.

Вокруг храма, в прилегающих тихих улицах, под огромными деревьями паркуются машины прихожан. Кирпичной кладки церковь стоит на перекрестке и на холме, маковка и крест по праздникам подсвечены. Церковь не вмещает всех прибывших, народ стоит на ступенях и вокруг на склонах холма. В руках у молящихся свечи, огоньки трепещут на ветру, пасхальные ночи почему-то всегда выдаются тут ветренными.

В полночь звучит колокольный звон, и появляется крестный ход. Возглавляют шествие дети, среди них Сережа и Марк Потаповы и пятилетний Филипп, сын писателя Саши Суслова. Я слышу, как, проходя мимо нас, дети тихо разговаривают по-английски.

Что поделаешь, все они умеют благодаря усилиям родителей говорить и

читать по-русски, но естественно для них говорить, конечно, по-английски. Передавать язык из поколения в поколение — трудная задача для русской общины в Америке. В газетах можно увидеть приглашения в летние скаутские лагеря — “принимаются дети, хотя бы немного говорящие по-русски”.

Все выходят из храма, и на холме собирается основательная толпа, человек не менее четырехсот. Удивительно много литературно знакомых лиц — типы Толстого и Чехова. В этом же старом русском ключе звучат, как ни странно, и фигуры военнослужащих, особенно фигуры русских парней в парадной форме американской морской пехоты, эти выглядят просто как прежние кадеты или нынешние суворовцы.

“Христос воскрес из мертвых смертью смертью поправ...” — поет хор. “Христос воскрес!” — слышится возглас священника. “Воистину воскрес!” — отвечает народ. Невольно думаешь: “Господи, сколько вокруг русских, и полное отсутствие марксизма-ленинизма!” Начинаются троекратные целования.

Американское телевидение теперь каждый год показывает сцены пасхальных служб и крестных ходов в Москве. На экранах все выглядит весьма пристойно, несмотря на присутствие огромного числа милиции и дружины или благодаря ему. Пасха, кажется, становится в России все более нормальным, радостным и значительным праздником, все меньше наблюдается истерического ажиотажа, когда огромные толпы ничего не понимающей полупьяной молодежи крушили решетки церковных оград.

Слово “радость”, однако, по отношению к религиозному празднику у советских людей (и у бывших советских тоже) вызывает внутреннее неудобство. Безбожная власть семь десятилетий внедряет отношение к религии как к делу темному и затхлому, уделу немощи и уныния. Прimitивный позитивизм советского общества, это наследие унылых революционных демократов XIX века (как ни странно, до сих пор еще в ходу в американских академических кругах), религиозное, мистическое чувство считает недостатком образованности, а праздник Воскресения Христова относит к суевериям. Возврат русских к поискам смысла Пасхи — это протест против марксистского примитива и, может быть, шаг вперед, перешагивание негативного опыта.

НОВЫЕ РУССКИЕ ПЛЕМЕНА

В последние годы в этнической пестроте мира произошли не особенно значительные по масштабам, но довольно примечательные изменения. Появились новые русские племена. К курянам, смолянам, вятичам, новгородцам, москвичам, рязанцам и прочим, обитающим на исконной территории, присоединились (парадокс заключается в том, что присоединились, отъединившись) бруклинцы, чикагцы, калифорнийцы, не говоря уже о новом русском племени, расселившемся на библейских холмах.

Речь идет о новой еврейской эмиграции из Советского Союза. Всю жизнь находясь в положении подозрительных чужаков на коренной терри-

тории, страдая от всех этих омерзительных “пятых пунктов”, эти люди вдруг оказались “русскими”, покинув свою родину. В Израиле и в Америке вас назовут русским, даже если ваше имя Давид Пейсахович Ципперсон. Никого не смутит в этом случае ни курчавость ваших волос, ни форма носа, ни картавость.

Не думаю, что это такое уж замечательное приобретение или предмет гордости — замечательным приобретением для этих людей является как раз возможность больше не смущаться своего еврейского происхождения, а напротив, гордиться принадлежностью к своей великой нации — это всего лишь данность; они не могли стать русскими среди русских, и они стали “русскими” среди нерусских.

Парадоксально в этой истории, однако, то, что, покинув современную Россию, эти люди оказались “русскими” не только номинально. Отряхнув с подошв пыль земли-обидчицы, они вдруг почувствовали, что убавили в своей “еврейскости” и прибавили в своей “русскости”.

Корни этого парадокса чаще всего уходят в советский опыт новых эмигрантов. В старой России еврейство стояло прежде всего на иудейской религии, в синагогах возникал дух национальной общности и приобщенности к древней культуре. Советские евреи на протяжении долгих послереволюционных десятилетий были фактически оторваны от иудаизма, их религия представлялась им как нечто дряхлое, мрачное и отжившее. Биологическое, генетическое для них неизмеримо важнее, чем духовное.

Религиозные организации американских евреев, очень много сделавшие для вызволения своих предполагавшихся единоверцев из русского (читай “советского”) плена и для приема прибывших, были разочарованы весьма слабым энтузиазмом этой публики в отношении синагог. В свою очередь новые эмигранты удивлялись — чего это их в какие-то там синагоги тянут. Один инженер из Свердловска рассказывал нам о беседе, которая была у него по приезде, с координатором еврейского центра в Чикаго.

“Поздравляю, — говорит мне этот “товарищ” (словечко это, между прочим, и по сей день еще в ходу среди советских беженцев), — теперь вы свободный человек и сможете ходить в синагогу, сколько вам заблагорассудится. Вот чудак человек, да на кой она мне, его синагога...”

Подобного рода бездуховность поражала американских евреев, но еще больше их сбивали с толку те интеллигенты, что были в какой-то степени приобщены к так называемому религиозному возрождению в Советском Союзе. Почему-то к иудаизму неопиты в своих духовных поисках обращаются далеко не в первую очередь. Гораздо чаще встретишь среди них буддистов, кришнаитов, эзотеристов всевозможных окрасок, толкователей Блаватской и Гурджиева. Не говоря уже о христианстве. Если уж тянет современного русско-еврейского интеллигента в храм, то это скорее православная церковь, чем синагога.

Широкие массы новых эмигрантов, хоть их вообще трудно еще пока назвать верующими, тоже тяготеют к исполнению православных обрядов. Обитатели “Малой Одессы” на Брайтон-Бич перед Пасхой отправляются в

русские церкви освещать куличи. В России это можно было бы объяснить мимикрией, а чем объяснишь здесь?

Чем объяснишь совершенно поразительную советскую культурную ностальгию, на которой предприимчивые антрепренеры делают здесь неплохие деньги? Когда-то в Союзе за американскими фильмами гонялись — здесь гонятся за советскими. В телевизионном репортаже о жизни эмигрантов однажды показали компанию пожилых евреев, просматривающих на домашней видеомашине старый фильм военной поры и вытирающих глаза при звуках песенки “На позицию девушка провожала бойца”.

В Москве это явление, очевидно, подвергается изучению, и из него делаются соответствующие выводы. Иначе как объяснишь то, что в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго, Филадельфии то и дело через эмигрантские развлекательные агентства устраиваются просмотры самых новых фильмов, на которых выступают подчас даже и участники, “звезды восточного блока”. Похоже на то, что прокат новых фильмов в американской эмигрантской аудитории стал предшествовать московским премьерам.

Года два назад в эмигрантской печати поднялась было кампания против концерта советской эстрады. На мачту был поднят могучий лозунг “Не будем голосовать нашими долларами за советский коммунизм!” Группы активистов пикетировали концертные залы, обижали публику, идущую на концерт. Публика между тем жаждала увидеть своих прежних кумиров, даже и пошлейшего “патриотического” певца Кобзона. К коммунизму, очевидно, это не имело никакого отношения.

Сейчас уже никому и в голову не приходит бойкотировать советских эстрадников. Сладкоголосый певец с внешностью типичного охотнорядца вызывает массовые всхлипывания бывших одесситов, киевлян и минчан песенкой о влюбленных лебедях. Евтушенко с присущей ему дерзновенностью читает в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе свои дерзновенности двадцатидвухлетней давности, показывает трехчасовой фильм о своем потревоженном детстве, и наши новые племена принимают его с восторгом и даже в ответ на критические отзывы в газете раздражаются письмами — не замай! Однако даже евтушенковские сантименты вряд ли имеют отношение к коммунизму.

Наиболее красноречивый показатель “русского патриотизма” этих новых — это, конечно, гастрономия. Например, тоска о твороге. Долгое время в эмиграции стоял сущий стон — где достать наш, настоящий русский творог, такой, как с Центрального рынка? Десятки всевозможных сортов американского творога в переполненных продуктах супермаркетах не удовлетворяли патриотов. Какая-то хозяйка натолкнулась на решение. Стали покупать некоторый вид йогурта, ставить его на малый огонь, и получался *настоящий* творог. Спустя некоторое время эмигрантские торговцы наладили массовое производство “настоящего” творога.

А уж что говорить о колбасах, как мягкого — ну прямо как настоящая “Докторская” в лучшие годы! — так и среднего, и твердого копчений. Все эти “качества и количества”, подвергшиеся столь сильной коррозии в пору “зрелого социализма”, расцвели новым цветом в многочисленных русских

лавках по всей Америке. В поисках *настоящих*, то есть русских, грибков торговцы бороздят пространства Нового Света, вступая в коллаборацию и с канадцами, и с поляками. Решена проблема и вишни в шоколаде, и зефира, не говоря уже о рыбных копченостях. Из страны победившего социализма вожделенно завозится все, что там еще осталось вкусенького, — консервы осетра и судака, балтийские кильки...

Говорят, что гастрономическая ностальгия связана с самой сутью этого явления, с неудовимыми изменениями биохимического состава, вызванными переменной среды обитания. Так или иначе, но похоже на то, что многим новым американцам — или, если угодно, “новым русским” — возможность удовлетворять эту ностальгию благодаря безудержности капиталистического рынка кажется событием более важным, чем возможность отправлять иудайские ритуалы.

Дело, конечно, не только в биохимии, ибо эстетические порывы к игре молекул все-таки не отнесешь. Посмотрите на названия всех этих новых ресторанов, открытых прибывшими в Америку русскими евреями. Никаких там “Эльдорадо” или “Лоунли стар”, одни только свои, родные — “Садко”, “Метрополь”, “Националь”, “Руслан”, “Калинка”... А оркестры там играют, а девицы там поют — ну просто сочинский Госконцерт! А уж дерутся там к утру по-настоящему, по-русски — с размахом, с хрустом, “раззудись плечо, размахнись рука”!

Как известно, можно и kloпа двумя пальцами растереть с блаженным вздохом — коньячком потягивает! Русский патриотизм еврейских эмигрантов из Советского Союза можно подвести под двоякое, тройкое, многоякое толкование. С одной стороны, можно выразить вполне понятную печаль по поводу ассимиляции евреев, по поводу утраты связей с древней культурой и религией, однако, с другой стороны, нельзя не увидеть в этом свидетельства того, как удивительно могут сблизиться народы, несмотря на предрассудки и провокации. Русские и евреи прошли вместе и ГУЛАГ, и великую войну, вместе они построили свой тошнотворный социализм, и вместе содрогнулись от содеянного.

Открыв газету “Новое русское слово”, можно увидеть бок о бок последние приветы такого рода.

“Союз старшин Кубанского казачьего войска и чины бронепоезда “Георгий Победоносец” с глубоким прискорбием извещают о том, что такого-то числа Волею Божьей скончался на 95-м году жизни хорунжий Егоров...”

“Такого-то числа ушла от нас после продолжительной болезни Цилечка Ниппельштром. Она была человеком большой души. Родственники в Чикаго, Хайфе и Одессе...”

Можно, конечно, ухмыльнуться и сказать — вот, мол, ирония судьбы, гримаса истории, а можно просто помолиться за две отлетевшие души.

Сталкиваясь с явлением этого, на первый взгляд, странного патриотизма, можно сказать, что евреи все-таки бежали не от русских, а от коммунизма. Не было бы коммунизма в России, сейчас в отличие от времен погромов, не было бы и бегства; были бы просто переезды.

РУССКОЕ ЛЕТО В НОВОЙ АНГЛИИ

В разгар лета в Вашингтоне температура стабильно подкатывает под сотню, то есть около сорока по Цельсию.

Столичный люд ныряет из кондиционированных автомобилей в кондиционированные офисы и обратно. У университетских же людей, к каковым и я отношусь, все-таки есть преимущество — неоспоримые летние каникулы. Семинар мой закончился в середине июля, и мы стали быстро готовиться к бегству. Куда же? Возникла идея — в Вермонт!

Почему же именно в Вермонт? Разве нет других прохладных штатов? Тот же Мэн, например, с его бухтами, островками и знаменитыми омарами? Та же Аляска, от которой и до родного Магадана рукой подать? Идея Вермонта, однако, преобладала и в наших собственных размышлениях, и в разговорах с русскими знакомыми. Выяснились любопытные совпадения. Не только нас потянуло в Вермонт, многие и другие братья писатели туда отправились. Саша Соколов вообще уже два года живет в этом штате, Солженицын с семейством еще дольше. Вот и Валерий Челидзе, по слухам, купил там где-то землицы, ферму зачинает человек, и Нина Берберова уж которое лето проводит в Вермонте, и Леонид Ржевский, и вот еще такие имена все время всплывали в вермонтских разговорах: Юз Алешковский, Анатолий Вишневский, Михайло Михайлов, Иван Елагин, Игорь Чинов, Ефим Эткинд, Симон Карлинский, Виктор Некрасов, Наум Каржавин, Анатолий Антохин, Виктор Соколов (не путать с однофамильцем, вышеупомянутым Сашей), совсем уж неожиданный молодой московский поэт Бахыт Кенжеев (а я и не знал, что он уже год, как на Западе), Михаил Моргулис, Лев Лосев, Игорь Ефимов... Эге, да это уже получается что-то вроде подмосковного писательского кибуца Переделкино, хотя, конечно, без литфондовой столовой и без циркулирующих по аллеям классиков соцреализма Феликса Кузнецова, Николая Грибачова, Сергея Залыгина.

Вермонт, эта "добрая старая Англия" с ее крошечными белыми дощатыми городками, лежащими в долинах меж не очень высоких и мягких зеленых гор... Многие здесь сходятся на том, что природа и ландшафт Вермонта напоминают Карпаты и предгорья Польских Татр. Нигде, пожалуй, за пределами России не найдешь такого количества белоствольных берез. Куда ни бросишь взгляд, на любом склоне наши "скромные красавицы", в горном воздухе четко рисуются ветви и ствол, как будто бронхи, дающие воздух этим зеленым массивам. Сколько помнится, дома душа сопротивлялась всем этим березовым тучам пошлости, включая танцевальный ансамбль и валютный магазин "Березка" (не назвали же его березой или попросту липой, а вот уменьшительной красотостью наградили), а вот сейчас смотреть на эти деревья приятно, ну и немного грустно, конечно.

Не исключено, что именно эти березы привлекли в Вермонт создателей двух старейших в Америке летних школ русского языка. Иначе, с какой стати именно здесь? Так или иначе уже много лет в двух вермонтских городках — Мидлбери и Норсфилде, разделенных семидесятью милями горных

дорог, в июле и августе собираются несколько сот американских студентов, одержимых идеей овладеть “великим-могучим-правдивым-свободным”, то есть ВМПСом имени Тургенева.

В старом колледже Мидлбери, кроме основной русской группы, есть еще группы французского, испанского, арабского, китайского и еще каких-то языков. В кафе и ресторанчиках здесь привыкли к группам молодежи, разговаривающим всяк на своей тарабарщине. Провинциальный городишко превращается в подобие олимпийской деревни.

Студенты другой школы размещаются на пустующем летнем кампусе военного университета Норвич, впрочем, о близости вооруженных сил говорит только маленький пузатый танк возле футбольного поля. Кажется, он участвовал в высадке в Нормандии или на Филиппинах. Существует, правда, одно строгое почти военное правило — в течение семи недель запрещается говорить по-английски. Этот метод в Союзе, кажется, назывался “погружением”, а студенты — “погружантами”.

Мы поселились между двумя этими школами, в Шугарбушвэлли, то есть в Долине сахарного кустарника. Сорок минут езды до Норвича через один перевал, час езды до Мидлбери — через другой.

Мы и не представляли, что “русская жизнь” в горах будет проходить с такой интенсивностью, что возникнет даже какое-то странное неэмигрантское ощущение. Поневоле вспомнилась идея “малой России”, которая время от времени и не очень интенсивно, но все же дебатировалась на страницах американской русской печати.

Идея, как говорят старые эмигранты, не новая, существовала с самого начала русского рассеяния, были даже какие-то эксперименты по созданию русских анклавов в Парагвае, в Югославии...

“Третья волна” все прежние русские идеи основательно взбудрила. Есть люди, которые говорят: нас в Америке очень много, несколько сот тысяч, но все разбросаны на огромных пространствах этой страны. Неумолимо идет процесс ассимиляции, подрастающее поколение теряет язык и т.д. Нужно попросить правительство выделить кусок земли для создания русского этнического округа. Поднимем там рядом с американским трехцветный русский флаг, выберем учредительное собрание, разрешим существование всех политических партий, кроме большевистской.

Помилуйте, господа, улыбаются скептики, а что если жители вашей мини-России, подобно гражданам Острова Крым из одноименного романа, потребуют слияния с Великим Советским Союзом?

Серьезные люди говорят: искусственное создание подобных “стран” всегда кончается вздором, как, например, это случилось со сталинской Еврейской республикой в Биробиджане. Необходима экономическая или культурная почва, а лучше все это вместе взятое. Вот если бы правительство помогло основать Русский университет, тогда вокруг него постепенно мог бы возникнуть русский город. Что ж, если этой идее когда-нибудь суждено сбыться, штат Вермонт для нее вполне подходящее место. Здесь даже есть городок под названием “Москоу”.

Саша Соколов и его жена Карен сняли нам студию в одном из современных поселений в долине Шугар-Буш на высоте примерно тысячи метров над уровнем моря. Едва мы вошли и включили радио, как густой баритон из Монреаля запел: "Средь шумного бала случайно, в тревоге мирской суеты..." — как бы давая соответствующий настрой вперед.

Берут с нас здесь недорого, всего лишь 400 долларов в месяц при всех удобствах, включая плавательный бассейн и сауну. В зимнее время, впрочем, эта цена поднимается втрое, а то и вчетверо, ибо этот "Сахарный кустарник" как раз и является зимним горнолыжным курортом.

Вокруг на дивных склонах тянутся парнокресельные подъемники. В лесах проложены трассы и для равнинных лыж. В последние годы курорт, как, впрочем, кажется, и все курорты на земле, бурно развивается. Там и сям на зеленых склонах видны живописные ультрасовременные деревушки пресловутых кондоминиумов. Рядом с кондоминиумами располагаются спортивные комплексы с бассейнами, огромным количеством теннисных кортов и поля для гольфа.

Я все еще сопротивляюсь гольфу, хотя в моем нынешнем возрасте лучшего спорта, ей-ей, не найдешь. Идешь себе по чудному зеленому рельефу, махнешь палочкой, мячик катится в ямку, такое отсутствие социалистического реализма. И все-таки поживаешься: это как-то все-таки слишком — гольф; это как-то уж чересчур для бывшего советского человека.

Любопытные все-таки на нас всех лежат печати и стереотипы "передового общества". Вот, например, сборы в дорогу. Три года мы уже живем на Западе, однако всякий раз, собираясь куда-нибудь на каникулы, невольно думаем, чем же нам надо на этот раз запастись, как бывало запастись растворимым кофе и мясными консервами перед отъездом в Коктебель. Жена недавно призналась, что у нее до сих пор все-таки слегка, как дома говорят, "не укладывается в голове", что в далеком Вермонте есть абсолютно все то, что есть в столичных вашингтонских магазинах, в Калифорнии, в Чикаго, на Аляске, в горах и пустынях. Приезжаешь в торговый центр деревушки Вэйтсфильд в долине Мид-ривер, видишь там даже разные стильные магазинчики и "Дары моря" со свежими устрицами, креветками и омарами и понимаешь, что мы, дети сталинской карточной системы и брежневского коррумпированного худосочия, никогда к этому не привыкнем.

Многие ресторанчики и магазинчики летом закрыты. Зимой, рассказывает Саша Соколов, долина преобразается, как будто вливается новая кровь, масса лыжников и гуляк толпятся в барах, двери все время открываются, в клубах пара входят все новые гости, среди них много европейских профи.

Саша и Карен окопались здесь два года назад с целью написания романа вдали от "тревог мирской суеты". Карен работает во французском ресторанчике. Саша в основном пишет, иной раз колет дрова, прокладывает лыжню, словом, почти как граф Толстой. За сущие пустяки они снимают две комнаты в мансарде дома, стоящего на отшибе в густом сосновом лесу. Хозяйева дома представляют собой что-то вроде коммуны стареющих амери-

канских хиппи шестидесятых годов. Для этой славной публики характерны доброжелательность и расслабленность. С мирными песнями они выращивают кое-какие растения и овощи, по вечерам “балдеют” в сопровождении музыки “регги”, весьма напоминающей колотун сибирских шаманов. Один из них, по имени Скип, еще и скульптор, производящий небольшие белые формы, которые вдруг видишь в саду и думаешь: а это что за зверь?

Саше Соколову сейчас сорок. Четыре первых года этого срока он провел в Канаде, родившись в семье советского разведывательного офицера. Восемь лет назад он покинул необъятные просторы своей советской не-родины, получил канадский паспорт и теперь представляет из себя характерную фигуру русского писателя-изгнанника. В этом месте можно поставить риторический вопрос — хватит ли двадцати, семи лет русской жизни для дальнейшего существования русского писателя, которого сейчас считают одним из самых многообещающих прозаиков нового поколения?

Помнится, еще при нас в Москве интеллигенция носилась с первым романом Саши “Школа для дураков”. Он написал его в Союзе, а издал в Штатах. “Новый автор, новая проза” — так говорили о нем. Владимир Набоков дал высокую оценку. Саша работает медленно, и второй роман “Между собакой и волком” появился едва ли не через пять лет после первого. Говорят, что и эта книга в Москве была принята на ура. В эмиграции читатель пресыщенный, к тому же немало здесь и того, что в Союзе называется социалистическим реализмом, а здесь именуется ханжеством, но тем не менее и здесь репутация “второго вермонтского отшельника” (первый, конечно, Солженицын) все более укрепляется.

Однажды вечером мы отправились через перевал Роксбери-Гэп в гости к профессорам Володе и Лиде Фрумкиным. Там собралась интеллигенция на литературные чтения. В программе вечера Саша Соколов с отрывками из нового романа “Палисандрия”. Автор основательно волновался: кажется, первое чтение на публике, представление пятисотстраничного романа, которому и отданы были вермонтские годы.

Герой романа, Палисандр Александрович Дальберг, незаконный племянник, а может быть, и сын маршала Берия, “кремлевский сирота”, как определил его автор, что-то вроде “сына полка” в крепости Кремль. Это как бы вневременной, но внутриисторический дух, кочующий в особого рода литературе. Отрывок представлял из себя кусок метафорической прозы, полной языковой игры.

Поразило многих, насколько глубоко внутри русской культуры и языка находится этот человек, который иной раз месяцами не видит ни одного русского, у которого и жена американка, который и сам уже больше говорит по-английски. “Я совершенно не боюсь отрыва от языковой стихии, — говорит Саша Соколов, — мой русский никогда от меня не уйдет”. Из этого следует, что молчит он по-русски.

Через неделю после приезда мы получили приглашение на Фестиваль русского искусства в Норвиче. Почетный директор русской школы в Норвиче — один из ее основателей, профессор Монреальского университета Ни-

колай Всеволодович Первушин. Ему восемьдесят четыре года, он бодр, доброжелателен и любознателен. Если бы мне предложили угадать происхождение этого человека по его внешности, я, наверное, недолго бы думал, прежде чем сказать: Казанский университет. Гадать не приходится, он откуда и происходит, то есть мы с ним оказались двойными, если не тройными земляками. Самое замечательное, однако, заключалось в том, что Николай Всеволодович был преподавателем моей покойной матери в Казанском университете, он и называет ее до сих пор Женей Гинзбург.

Когда знакомишься с преподавателями Норвичской школы, частенько слышишь благозвучные или, так сказать, основные русские фамилии: Осоргины, Родзянки, Волконские и даже Нарышкины. Ничуть не хуже рядом с ними, во всяком случае для любителей литературы, звучит фамилия Некрасов.

Виктор Платонович Некрасов тем летом прибыл из-за океана, чтобы сеять "разумное-доброе-вечное" среди американских студентов. В последние годы я привык его видеть за столиком парижского кафе в дыму сигарет "Голуаз", поэтому весьма странно было найти его на фоне буколического пейзажа, в шезлонге под чем-то развесистым. "Наверное, от скукиходишь, Вика?" — спросил я. "Напротив, — ответил он, — блаженствую. Вив ля Вермонт!"

Некрасов принимал гостей и среди них Светлану Гельман, которая когда-то в бытность редактором на киностудии "Ленфильм" работала вместе с ним над фильмом "Солдаты".

Вместе мы отправились в местный театр. Фестиваль уже начался. Хор американских студентов исполнял русские религиозные песнопения.

Танцам в фестивальной программе была отведена львиная доля. Их поставила бывшая солистка Мариинского театра Калерия Федичева. Любопытно было наблюдать, как эта "суперстар", выступавшая на лучших сценах мира, волнуется за своих, прямо скажем, не очень-то профессиональных и иногда просто неуклюжих учеников. Мальчишки и девочки, впрочем, компенсировали все свои недостатки избытком энтузиазма, ну а федичевская хореография была хороша.

Зрительный зал и сцена в этом театре очень были похожи на какой-нибудь заводской клуб или дом культуры в СССР, и иногда под звуки гопака или молдовеняски взгляд невольно начинал искать лозунг "Решения пятидесятого съезда партии выполним!" К счастью, взгляд этого не находил.

Звучали скрипки (Венявский) и рояли ("Картинки с выставки"), забавный долговязый Нэтан изображал русского профессора, девушка из довольно известного семейства Дюпон, работая под простушку, вела конферанс. С успехом были исполнены песенки Новеллы Матвеевой тремя студентками из колледжа Оберлин, где профессор Владимир Фрумкин активно знакомит студентов (в том числе и при помощи собственного исполнения) с творчеством современных советских бардов Окуджавы, Высоцкого, Галича и других. Особым успехом пользовалась песенка Новеллы Матвеевой "Миссури", воспевающая этот, между нами говоря, вполне бытовой штат. В Рос-

сии, да и вообще в Европе, все эти американские названия, все эти “оклахомы” и “миннесоты”, звучат как синонимы приключения, увы, многие из них не более романтичны, чем Тульская губерния.

В программе фестиваля были театральные представления Русского домашнего театра. Сначала был показан водевиль В.А.Соллогуба “Беда от нежного сердца”. Кари Эйнхаус, Лиз Херд, Пол Нильсен, Кэти Суза и Джим Шинник с товарищами разыграли немыслимой трогательности историю сироты Настасьи Павловны, отца и сына Злотниковых, Марьи Петровны Бояркиной и Катерины Петровны Кубыркиной. Акцент исполнителей в данном случае играл благую роль, придавая тексту нечто многозначительное.

Гвоздем сезона оказалась гоголевская “Женитьба” в постановке молодого драматурга Анатолия Антохина. Я не очень хорошо знаю его историю, но приблизительно она выглядит так. Лет пять назад за выдающиеся успехи в области советской драматургии Антохина приняли сразу в две отличные организации — КПСС и Союз писателей, а также наградили туристической визой в Италию. Последнее, так сказать, дополнительное отличие, оказалось основным: из Италии Анатолий домой не вернулся. История не столь уж нетипичная. Я знаю одного человека, который в течение нескольких лет делал комсомольско-партийную карьеру с одной лишь целью — получить визу на Запад... и проследовать вслед за многозначительным многоточием. Чего-чего, а историй вокруг хватает. Чуть ли не все наши знакомые русские — это ходячие сюжеты для небольших или больших приключенческих романов. Драматург Антохин, например, недавно женился на принцессе из дома императора Хайле Селассие, и вместе они дали жизнь еще одной эфиопской княжне.

В Норвиче Антохин умудрился с непрофессиональными актерами и — скажем мягко — с весьма ограниченными средствами сделать забавный спектакль. Начинается он прологом в стиле Театра на Таганке. На сцене восемь осуждающих господ в черных сюртуках и котелках и два Гоголя в простых рубашках — один оправдывается, другой молится. Трюк состоит в том, что пролог идет на великолепном английском языке, а затем начинается основное действие на косноязычном русском.

Режиссер ловко приспособился к обстоятельствам. Если в примитивке Соллогуба английский акцент актеров как бы выручает текст, то в замечательной комедии Гоголя акцент как бы еще прибавляет сюрреалистичности. Решая все это дело в буффонадном ключе, Антохин точно разработал движения актеров и даже в костюмах добился выразительности. Удачей спектакля был живой оркестрик с большой трубой, благодаря которому гоголевские герои очень естественно то прохаживались в танго “Кампарсита”, то подрыгивались в ритме буги-вуги. Словом, удача!

Следует сказать, что в ту же ночь за двумя перевалами гор, у соперников в колледже Мидлбери другой режиссер Слава Ястремский показывал спектакль по пьесе Евгения Шварца “Тень”.

Кончилась программа фестиваля, и послышались призывы: “Господа,

теперь к Пападжану!" Имелось в виду какое-то кафе. Откуда, думаю, армянское кафе появилось в центре Вермонта? Оказалось, что так называют здесь бар "Папа Джо". Все, кто пришел, уселись за длинными деревянными столами под лунной и, вняв тосту Некрасова, выпили за три волны эмиграции; пусть они плещутся вместе.

Однажды вечером в программе местных новостей, передающихся из самого большого (и все-таки не очень большого) города штата Вермонт Берлингтона, мы увидели репетицию компании скрипачей и виолончелистов. Это был довольно уже известный в Америке Камерный оркестр советских эмигрантов под управлением Лазаря Гозмана. Сам руководитель выступил и сказал, как им приятно репетировать на берегах чудесного озера Шамплейн, а также пригласил на концерт в собор Святого Павла и добавил: в качестве солиста выступит пианист Дмитрий Шостакович, внук великого русского композитора. "Митя!" — воскликнули мы и сразу решили поехать в Берлингтон, благо, что не так далеко, не более восьмидесяти миль по хайвею 89.

Несколько лет назад мы встретили Митю и его отца, знаменитого дирижера Максима Шостаковича в Нью-Йорке. Это был, кажется, один из их первых вечеров в "Большом Яблоке", вскоре после решения на возвращаться более в страну, где до сих пор еще официально не отменено сталинское постановление "Сумбур вместо музыки". Компанией бывших москвичей мы сидели в открытом кафе, в том квартале Манхэттена, что называется "Маленькой Италией". Там, между прочим, на наших глазах, будто по заказу для новоприбывших, произошло довольно страшное столкновение двух враждующих клик итальянской мафии.

Митя, тогда девятнадцатилетний мальчик, поразительно похожий на деда, смотрел, широко раскрыв глаза: вот это да, вот это Америка, вот это кино! В самом деле все выглядело похоже на фильм Копполы "Крестный отец", только без выстрелов: работали ножами.

Спустя несколько недель после этого эпизода мы видели Митю и Максима в белых фраках в вашингтонском центре Кеннеди. Они исполняли Первый концерт для фортепиано с оркестром деда и отца. Вот был триумф — дай Боже, не упомню второго такого в концертных залах.

В берлингтонском соборе Святого Павла любителей музыки собралось не менее тысячи. Публика на таких концертах, видимо, везде примерно одна, что в Ленинграде, что в Вермонте, такие специфические лица, явно не худшая часть человеческой расы.

В программе вечера, как объявил Лазарь Гозман, было четыре гения, два английских — Перселл и Бриттен, и два русских — Шостакович и Прокофьев. По поводу последнего Гозман рассказал своей аудитории поучительную притчу.

Сергей Прокофьев и Иосиф Сталин умерли в один день. Газеты в тот день были заполнены всенародной скорбью по поводу отхода великого отца народов и вождя прогрессивного человечества. В них не нашлось места даже

для сообщения о смерти музыканта. В марте этого года весь мир, включая и Советский Союз, отметил тридцатилетие смерти великого Прокофьева. В газетах всего мира появилось множество статей о его творчестве. О смерти тирана не вспомнил почти никто.

История красивая, но не совсем точная. Многие газеты мира напечата-ли статьи к тридцатилетию смерти Сталина, рассуждая на тему, как еще силен сталинизм в Советском Союзе, делая разные выкладки политического характера, и т.д. Другое дело, что никто не вспомнил чудовище добрым словом, это верно.

Оркестр советских эмигрантов (лучшего названия ребята не удосужились найти) составлен по принципу знаменитого баршаевского ансамбля. Сам Баршай тоже эмигрировал, но после эмиграции осел в Европе. Гозман и его друзья, однако, активно пользуются его оркестровками.

Митя Шостакович играл дедовский Первый концерт для фортепиано, ему “сопутствовала” на трубе приглашенная для этой цели Лорэйн Коэн. Концерт этот написан был дедушкой Мити, кажется, в середине тридцатых годов, когда он был близок к возрасту нынешнего исполнителя. Полное фантазии сочинение с вплетающимися джазовыми ритмами и какими-то урбанистическими конструкциями.

Когда концерт закончился, мы пошли в комнату музыкантов. Приятно было услышать знакомый жаргон — “чувак, чувак, эй, чувак”. Музыканты эти, Саша Мишнаевский, Дмитрий Левин, Леонид Кейлин и другие, уже лет по восемь-девять живут на Западе, а вот все еще говорят в своем кругу на советском лабухском жаргоне. С одним из них мы слегка повспоминали сезон 1967 года в Коктебеле.

Мы пригласили Митю погостить в горах, он сразу же согласился, и мы поехали. По дороге нас догнала гроза. Молнии освещали белые домики и островерхие церкви. Митя рассказывал о своей жизни. За эти годы он окончил Джульярдскую музыкальную школу в Нью-Йорке и вместе с отцом объездил уже полмира — Гонконг, Сеул, Мельбурн, Токио...

Сейчас собирается на гастроли в Австрию и Швейцарию. “Эх, Гонконг, — говорит он с чудеснейшим мальчишеским восторгом, — вот это город, такая там идет “тусовка”...” Снова выплывает московский жаргончик. “Ну а как, Москву вспоминаешь?” — “Да, вижу иной раз, когда играю кое-что, как идет поземочка по Манежной...”

На следующий день в горах сияло солнце, и при виде ясных небес вспомнили популярное среди русской художественной интеллигенции слово “шашлык”. Собралась большущая компания на пикник к Ирландскому озеру. Мы еще не знали некоторой специфики этого маленького круглого водоема, окруженного густым кустарником.

Верховодил шашлыком, разумеется, Юз Алешковский, известный своими кулинарными способностями не менее, чем своей густо наперченной прозой. Нагруженная припасами наша многочисленная экспедиция с женщинами, детьми и собаками медленно продвигалась вверх по горной дороге к озеру Айриш-Понд. Медлительность ее движения была обусловлена беско-

нечными и довольно увлекательными спорами о... — как когда-то писал поэт Евтушенко — “о путях России прежней и о сегодняшней, о ней”. Наконец мы приблизились к озеру, и тут вдруг обнаружилась особенность этого места. Из кустов на шум наших голосов вышли голые люди: здесь, оказывается, располагался лагерь нудистов. Один из них спросил:

— На каком это языке вы разговариваете, народы?

Прошу прощения за повторение своей собственной шутки, но я ответил:

— Пушкин.

— Бушкин? — удивился голый гигант. — Это где?

— Между Китаем и Германией, и далее — повсеместно.

ШТРИХИ К РОМАНУ “ГРУСТНЫЙ БЕБИ”

1980

Боевой революционер Владимир Ленин Фиделькастро Карл Энгельс в майке Казанского университета по ночам гонял свой голубой “порше” в богатых кварталах. Даже вот и так, даже вот и просто нарушая сон буржуазии, ты приближаешь мировую революцию.

1983

В жизни ГМР произошел странный эпизод. В компании TWA он стоял за тремя японками.

— Пожалуйста, наши транзитные билеты, — сказали японки на понятном английском кассирше.

Та любезно улыбнулась и предложила японкам доплатить по пятнадцать долларов. Те ни слова не поняли и забормотали что-то между собой едва ли не в панике.

— Она говорит, что вам нужно доплатить по пятнадцать долларов, — любезно подсказал ГМР.

Японки просияли — дошло! Кассирша поблагодарила любезного господина за помощь. Последний остался в полном недоумении — на каком языке говорил с японками? Кажется, все-таки по-русски.

Пицца для обобщений.

Радио в машине: “...Весь наш приход молится за то, чтобы семья Вильсонов поскорее преодолела трудности с водоснабжением... сгущение транспорта, начиная от выхода № 27 на протяжении пяти миль... молимся за то, чтобы Дэвисы выжили после бракоразводного процесса... Мич Снайдер закончил пятидесятидневную забастовку, которую он предпринял с целью убедить правительство открыть в дистрикте еще один приют для бездомных... Меня интересует, Тэд, какая сейчас погода в Бейруте. Такая же, как у нас, или еще хуже?.. Столкновение трейлера и грузовика. По поверхности разбросаны канистры с токсическим материалом. Обсуждается вопрос об эвакуации населения... Сад чудес приглашает на бесплатную пищу... новая гипотеза связывает происхождение торнадо с правосторонним движением... молимся за Линдона Хукса, начавшего ремонт своей фермы...”

1983

Когда бежишь, тебя никто не тронет. Кому ты нужен в беге в состоянии? Даже самому тупому ясно, что с тебя нечего взять, кроме пригоршни пота. Надо всегда бежать. Если бы я всегда бежал, я бы не попал сейчас в такое дурацкое положение.

Так рассуждал русский бегун Лев Грошкин, стоя под мушкой пистолета на темной улице Санта-Мелинды, возле дома вдовы профессора Девоншира, в котором он снимал за символическую плату альков, гардероб и душ. В гардеробе, между прочим, висели неплохие вещи покойного профессора, и вдова, которая души не чаяла в своем жилище, молчаливо улыбающемся русском, не возражала против их использования. Может быть, как раз из-за твидового пиджака Лева и был остановлен в тот вечер тремя практически революционерками, направившими на него свой большой пистолет.

— Give me your wallet, man! — сказал старшой. — Or I'll make your jar fixed for good!*

— Простите, ребята, я не понимаю по-английски, — улыбнулся Лева революционеркам в стиле международной молодежи.

Ствол пистолета красноречиво пошевеливался, модуляции голоса были вполне убедительными, однако Лева и этого не понимал, потому что не понимал по-английски.

— You mother fucker, give me your money, your watch, your jewelery, give all you possess, or I'll squash you on spot!**

— Неужели непонятно, что мне ничего непонятно? — пожал плечами Лева и даже немного рассердился. — Идите на хуй, ребята, в самом деле!

Он повернулся и пошел прочь, думая о том, как в данном случае сбалансировать уровень адреналина в крови, чтобы предотвратить легкое дрожание лопаток. Над этим в будущем придется поработать.

Выстрела в спину не последовало. Революционеры сообразили, что ошиблись: думали, что пожилой буржуй идет в твидовом пиджаке, а оказалась — свой, молодой и в чужом.

1985

С труппой странствующего театра ГМР однажды оказался на юге Виргинии. Местные интеллектуалы показали ему холмы, на которых сто двадцать лет назад проходила битва Северной и Южной армий. Пока повествовали, впали в крайнее возбуждение, забыли и о гостях в яростных спорах, откуда наступала пехота, когда подвели пушки, и где сшиблась кавалерия.

А какие же тут были потери, не без некоторой снисходительности спросил ГМР, но, получив точную цифру потерь, только присвистнул: побольше, чем при Бородине!

* Гони кошелек... или я начину тебе физиономию будь здоров!

** Не твою мать, гони монеты, часы, побрякушки, все, что у тебя есть, не то от тебя останется мокрое место!

“Любопытное тут отношение к этой их Гражданской войне, — подумал ГМР. — С одной стороны, с таким пылом о ней говорят, будто она в прошлом году только закончилась, а, с другой стороны, никакой особенной ненавистью к противоположной стороне не пылают. Герои, и южные, и северные, почитаются вместе. У нас же там (то есть там, у них) все наоборот. Гражданская война для людей едва ли не так же отдалена, как Ливонские походы Ивана Грозного, однако невозможно ведь себе представить в советском городе памятники “белым” Колчаку и Деникину рядом с “красными” Фрунзе и Котовским, как это можно увидеть, скажем, в Вашингтоне, где конные фигуры “северян” располагаются неподалеку от “южан”. Советская хромограмма явно несравнима с американской магнитной стрелкой”.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

— Ты не возражаешь, если у тебя сегодня будет outdoor*? — спросила Ольга.

Февральское солнце заливало стены ее кабинета. Февральские цветы за окном чуть-чуть колебались под февральским деликатным бризом. Февральские зрелые грейпфруты по соседству отягощали ветви столь весомо и естественно, что, казалось, без них вид из окна будет нелеп.

В такие “зимние” калифорнийские дни “индорное” местонахождение тоже представляется несколько нелепым. Разумеется, я не возражал. Мы покинули департамент русского языка и литературы и пошли по кампусу Южнокалифорнийского университета в сторону лужайки, на которой посреди магнолий и агав возвышалось несколько королевских пальм, из тех, что всегда вызывают в душе некоторый, пожалуй, уже курьезный, романтический сдвиг.

— Я должна тебя предупредить, — сказала Ольга со смешком. — Твои сегодняшние студенты будут немножко необычными.

— Они пока еще все для меня довольно необычные, — сказал я: это был мой первый академический семестр после эмиграции.

— Ну а сегодняшние, пожалуй, будут из ряда вон выходящими, — загадочно произнес мой женский друг, профессор Ольга Матич, и погрузился в свои административные бумаги.

Мы сидели под пальмой. Множество колибри порхали в ветвях. Приятно то, что экскременты этих крошечных созданий совершенно невесомы; падая на тебя, они не оставляют следов, а их запах ничем не вредит всеобщему благоуханию.

— Что-нибудь вроде кентавров? — пошутил я, потому что в этом пункте полагалось пошутить.

* Урок на свежем воздухе.

— Что-то в этом роде, — буркнула Ольга и подняла голову. — А вот и один из них. Джошуа.

К пальме приближался черный юнец семи футов ростом. Вслед за ним появились два белых богатыря, косая сажень в плечах, Мэтью и Натан. Вскоре вокруг пальмы набралось десятка два гигантов и богатырей — Тимоти, Натаниэль, Бенджамин, Джонатан, Эбрахам и прочие, баскетболисты и футболисты спортклуба “Троянцы”; позвольте не продолжать список славных имен.

— Дело в том, что в университете поднялась кампания против наших спортсменов, — шепотом объясняла мне Ольга. — Стали говорить, что парни совершенно не учатся, а только гоняют мяч, превращаются в профессионалов. Президент обязал всех атлетов записаться на учебные программы, и вот, вообрази, почти все они записались на русский факультет. Впрочем, что это я шепчу, они же не понимают ни слова.

Расположившиеся вокруг пальмы в сидячих, стоячих и полулежащих позах “троянцы” являли бы собой зрелище грозное и античное, если бы не их яркие T-shirts и мальчишеские улыбки.

— О чем же мне с ними говорить?

— Ну, расскажи хотя бы об альманахе “Метрополь”, — сказала Ольга и похлопала в ладоши. — Ребята, мистер Аксенов, который всего лишь полгода, как уехал из СССР, расскажет вам о попытке организовать независимый журнал “Метрополь”.

— Странно, что вы называетесь “троянами”, — сказал я студентам.

— Что же тут странного, сэр? — спросил Мэтью.

— Странно то, что существует какая-то очевидная юмористическая связь между, казалось бы, космически отдаленными явлениями. Дело в том, что альманах “Метрополь”, редактором которого я имел честь быть, в Москве на партийном собрании советских писателей назвали “троянским конем империализма”. Словом, у вас, “троянцев”, сегодня появилась возможность узнать обо всех этих делах from the Trojan horse's mouth...*

Раскаты атлетического хохота качнули стволы пальм. Странно было рассказывать о наших московских вечных непогодах и слякотных литературных страстях этим столь прекрасным организациям, олицетворяющим, казалось, только лишь весь этот “sup & fun”** Южной Калифорнии, еще страннее было видеть на их лицах интерес к “метропольской” истории.

— А почему это вас не отправили в лагерь? — спросил Тимоти.

— В лагерь? — удивился Бенджамин. — Ты говоришь “в лагерь”, Тим?

— Это не тот лагерь, о котором ты думаешь, — вмешался Натаниэль, — не спортлагерь, а концлагерь, как во времена Сталина.

— В чьи времена, Нат? — спросил Джонатан.

— Сталина. Передаю по буквам — Эс, ти, эй, эл, ай, эн...

Я поинтересовался у ребят, с какой стати они взялись именно за изуче-

* Из уст троянского коня.

** Солнца и удовольствия.

ние русского. Пригодится, ответили они с весьма неопределенными улыбками. Восемнадцатилетний великан Эбрахам, уроженец острова Самоа и “текл” футбольной команды, сказал, что русский, возможно, понадобится, когда придется играть в футбол в СССР.

— Однако в СССР, Эйб, не играют в этот футбол, — возразил я. — Там никто даже и не представляет себе этот ваш плечевой футбол.

Юноша нахмурился.

— Вы, конечно, шутите, мистер Аксенов? Давайте лучше поговорим о Достоевском.

С этого февральского “урока” прошло уже около пяти лет. За это время я повидал множество университетских кампусов по всей территории США: Berkely, UCLA, Stanford, Sonoma State, Irvine, Santa Cruz, Occidental, the University of Washington, Indiana University, the University of Michigan, the University of Kansas, Oberlin, Vanderbilt, Miami University, Ohio State, the University of Virginia, the University of Richmond, Columbia, CUNY, Hunter, Amherst, the University of Maine, Dartmouth, the University of Chicago, Boston University, Norwich, Middlebury, Sweetbriar, Princeton, Georgetown, George Washington, Johns Hopkins, and Goucher... по крайней мере полсотни городов американской молодости.

В общем и целом, несмотря на то, что для коровы иронии и в кампусах найдется хорошее пастбище, все-таки можно сказать, что университеты — это чудесная, ободряющая, очень положительная струя в американской жизни.

Само понятие “кампус” как крошечной автономии внутри гигантского государства звучит необычно и вдохновляюще для пришельца с Востока. В России некоторые старинные университеты (в частности, моя alma mater — Казанский университет) еще сохранили некоторые жалкие, чисто территориальные — скажем, ворота, скажем, забор, — следы прежней автономии от тех времен, когда ввод городской полиции на территорию университета вызывал скандал в либеральной прессе, однако это всего лишь жалкие следы, и миллионам советских студентов даже и не снится жизнь, похожая на кампус. Традиции тщательной заботы за счет свирепой дисциплины и комсомольской воспитательной работы, почти все учебные заведения растворены в больших городах, из аудитории в аудиторию часто добираются городским транспортом, да и не в этом дело — понятие университетской автономии звучит в СССР абсурдно.

Никогда прежде не думал, что буду заниматься просвещением юных умов. В Союзе писатель вообще далек от университета, а уж меня-то с моим статусом, который в течение последних лет быстро деградировал от “противоречивого прозаика” до “подрывного элемента”, к учебному процессу и на пушечный выстрел бы не подпустили.

В американских кампусах фигура писателя привычна, как кокер-спаниель на лужайке перед домом. Престижная школа обязательно должна иметь одного или даже пару подобных субъектов, которые теоретически как бы облагораживают своим присутствием образовательное пространство, как

бы вносят изюминку в тесто, парадокс — в коктейль-парти, чудачковатость — в общую панораму лиц, практически же — сидят на лагуне с отвисшими ушами, с полуоткрытым ртом (желательно, в нем трубка) и с теоретически невинным взглядом.

Кто больше выигрывает от этого симбиоза — университет или писатель? Я выигрываю от этого симбиоза ежемесячное жалование, которое позволяет мне оплачивать хорошую квартиру в центре Вашингтона. Университет, оказывается, тоже имеет кое-какую экономию, если его писатель более-менее известен. Вот, например, Гаучер-колледж, где я уже третий год состою “писателем-в-резиденции”. За рекламное объявление в “Балтимор сан” он платит цену, превышающую мое годовое содержание, между тем в любой статье обо мне или моих книгах гордое имя этого столетнего института упоминается бесплатно.

Отвлекаясь, однако, от “низких” (как в России говорят) материй, и, не будучи вполне уверенным в том эффекте, который производит на жизнь кампуса мое приѳутствие, присутствие моей жены и нашего щенка Ушика, вечно проносающегося по школьным полянам с огромными палками в зубах и пытающегося постоянно (писательский пес!) снискать аплодисменты у студенток, могу лишь сказать, что главным своим выигрышем от пребывания в кампусе считаю неизменный подскок настроения, когда обнаруживаю себя среди веселой и здоровой, как правило, благожелательной и любознательной молодежи.

МЭРИЛЕНДСКИЕ АМАЗОНКИ

Гаучер-колледж — одно из немногих оставшихся в стране сегрегированных по полу учебных заведений. Тысяча юных девиц — вот наш состав. В президентах у нас тоже женщина, историк Рода Дорси. К этому следует добавить, что вся мужская часть факультета — убежденные феминисты.

Америка, как известно, гораздо юнее России, она обделена многими нашими историческими активами вроде татарских набегов, сражений на льду озер с рыцарями Тевтонского ордена, вроде корабельных побоищ со шведами под многотысячными парусами и тому подобным, однако в смысле университетского образования мы стоим в историческом смысле почти наравне. За исключением средневекового Дерпта, старейшие русские школы ненамного старше американских, так что Гаучеровское столетие, которое празднуется в этом году, и для России звучит солидно.

Кампус расположен возле окружной дороги “Балтимор”, и, для того чтобы добраться до него от моего дома в районе Адамс-Морган, что в центре столичного дистрикта, я трачу час с четвертью, катя в неиссякаемом потоке “комьютинга”.

Включаясь в программу “advertising”*, сообщу, что кампус — это 340 акров полян, паркинговых площадок и леса. На нем расположены учеб-

* Объявлений.

ные корпуса, включающие даже собственную астрономическую лабораторию, лекционные холлы, спортклуб с бассейном, библиотеку, экуменический храм; можно отправлять какие угодно обряды, за исключением посещения мумии Ленина, да и то лишь по причине нетранспортабельности оной.

Кроме того, имеются три поля для игры в травяной хоккей и лакросс, шесть теннисных кортов и конный клуб с соответствующими площадками для конкура.

Лошади, надо сказать, весьма украшают наших студенток, да и сами выигрывают в изящности от присутствия на их спинах грациозных юных леди. В довершение ассоциации с амазонками надо сказать, что стрельба из лука является здесь наиболее популярным видом спорта.

На этом сходство с мужикоборческими племенами, можно сказать, заканчивается. Особой враждебности к худшей половине человеческого рода мы здесь не заметили. Благодаря консорциуму с университетом "Джон Хопкинс" в наших классах можно видеть и мальчиков, а в автобусе shuttle, курсирующем между двумя школами, общение полов вообще нередко выходит из-под гуманитарного контроля.

Я уже упоминал в этой книге о панической стороне американской статистики. Каждый десятый студент в американских кампусах — алкоголик! Поверьте, господа, за все время своей академической активности, в поездках по всем этим многочисленным кампусам, перечисленным выше, я не видел ни одного студента, который был бы пьян в том смысле, что придется этому слову во Франции или Германии, не говоря уже о России.

Мои студенческие годы в Казани и Ленинграде были неизменно сопряжены с очень серьезными драками. Мы дрались из-за девушек на танцевальных вечерах или по спортивным причинам, или (чаще всего) без причин. Дрались поодиночке, группа на группу, курс на курс, факультет на факультет, институт на институт. Однажды движение на Каменноостровском проспекте было остановлено грандиозной дракой горного факультета Ленинградского университета и Первого медицинского института, в другой раз "электротехи" форсировали городской канал, чтобы неожиданно напасть на бал "Техноложки".

Даже намек на что-либо подобное я не заметил в американских университетах. Трудно себе представить, что когда-то эта публика или, вернее сказать, их молодые родители бунтовали в кампусах и жгли какие-то чухла. Американские студенты (нынче?) весьма благовоспитанные молодые люди. Наши девушки в Гаучер-колледже, пожалуй, сродни благородным девицам из Смольного института, впоследствии, увы, утратившего свое благородство до нулевой степени, когда девиц разогнали, а дортуары заняли большевистские комиссары. Надеюсь, что история не повторится на северной окраине Балтимора, возле beltway 695.

...В поисках "русской комнаты" я прохожу по коридору студенческого общежития. Мое движение по этим заповедным краям вызывает легкую панику. Хлопают двери, высовываются носы и щеки девчонок. Кубарем

прокатывается из комнаты в комнату кто-то, не совсем одетый, мелькают розовые пятки и прочие окружности. “Девочки, девочки, мужчина явился!”

Хоть и смущен, а все-таки лестно. Отражаясь в разьежающихся стеклянных поверхностях, внезапно заявившийся, а значит, интригующий *мужчина* в тренчоуте, в авангарде несущий пучок усов и трубку, в арьергарде шарф и зонт.

Появляются две панковые панночки, слева фиолетовый клок, справа — зеленый. “Хелло, сэр, не хотите ли с нами проехаться в местный “Трезубец”?” Разноцветные хохлы дрожат от дерзновенности. Мямлю что-то неопределенное: спасибо за приглашение, как-нибудь в следующий раз, когда я немного повзрослею. Тут открываются все двери. Весь состав уже в полном порядке и высокомерен, как Мадонна. Ложная тревога, girls. Это всего лишь Аксенов, наш писатель.

Засим я уже волокусь вдоль стены, стеная, на манер апдайковского кентавра...

Да, пожалуй, невзирая на все эти так называемые сексуальные и наркотические революции, американские студенты на удивление чисты, благовоспитанны и даже — пусть в меня бросят камень — целомудренны. Сладкой травкой кое-где, может быть, и попахивает, но гораздо чаще попкорном. На семинарах вроде бы нет закрытых тем, однако трудно заподозрить наших девиц и парней из “Джона Хопкинса” в чрезмерно открытых отношениях. Скорее, уж можно вообразить “воздух всеобщей влюбленности” — Наташа, Соня, Николая, Денисов, Долохов, весь этот вальс начальных глав “Войны и мира”.

Скорее, уж можно сказать, что советские комсомолки более развратны, чем наши “амазонки”.

Благодарение Богу, поле американской славистики неимоверно широко. Обыгрывая русскую поговорку, можно сказать, что его и за несколько жизней не перейдешь. Пашут по этому полю, может быть, и не так уж глубоко, но с размахом: всходы кустистые. Не рискуя впасть в преувеличение, можно сказать, что американская славистика по масштабам не имеет себе равных в мире, включая и Советский Союз. Съезды двух основных ассоциаций американских славистов проходят в огромных отелях и напоминают атмосферу кинофестивалей.

Советским идеологическим держимордам эти масштабы не очень-то по душе. Среди них бытует мнение, что все славянские факультеты американских университетов — это филиалы ЦРУ. Для этой публики, надо сказать, весьма характерно, что они очень быстро начинают всерьез верить ими же изобретенной лжи. Еще охотнее они выделяют из какой-либо среды “козлов отпущения” и начинают их бурно, всеми своими “партийными фибрами” ненавидеть.

По сути дела все ученые-слависты США под подозрением — но самыми коварными, подрывными и злостными считаются Морис Фридберг (университет в штате Иллинойс) и Деминг Браун (университет в штате Мичиган).

Почему выделены именно эти два почтенных ученых джентльмена, сказать трудно. Скорее всего их сочинения когда-то попались на глаза какому-нибудь цэковскому дядьке, скажем Альберту Беляеву, известному в Москве под кличкой “Бульжник — орудие пролетариата”. Возмущенный отсутствием марксистского подхода, то есть несогласованностью с вышестоящими инстанциями, БОП вставил мичиганца и иллинойца в свои списки. С тех пор они там и фигурируют как главные враги, хотя за это время немало и других “врагов” появилось, покруче.

Разумеется, ЦРУ участвует в разработке некоторых программ, и некоторые выпускники-слависты идут на работу в американские разведывательные ведомства, однако доля этих государственных дел на поле американской славистики невелика. Количество студентов, “берущих русский”, из десятилетия в десятилетие колеблется, и трудно сказать определенно, в зависимости от чего — спутник, детант, “холодная война”, культурная эмиграция из СССР, туризм, обмен женихами и невестами? Количество преподавателей же неизменно увеличивается.

Беженцы из России всегда находили приют в университетских кампусах. Легко ли придумать после всех революций, бегств, тюрем, расстрелов, чекистского любопытства лучший refuge, чем описанный Набоковым. “...Слегка провинциальная институция, характерная своим искусственным озером в центре хорошо продуманного пейзажа, пересекающими кампус увитыми плющом галереями, настенной живописью, представляющей местных ученых мужей в процессе передачи факела знаний от Аристотеля, Шекспира и Пастера”. Набоковский профессор Тимофей Пнин вновь появляется в облике московских и питерских интеллектуалов 80-х годов.

Мне все-таки удалось избежать полного “пнинства”, и дело тут не в том, что мне не случалось предлагать аудитории wrong lectures*, а в том, что университет вообще не был для меня единственным якорем. Можно было найти и альтернативы этому типу существования, однако все эти альтернативы посягали в большей степени, чем университет (во всяком случае мне так казалось), на мое писательское время, и потому они меня раздражали.

Кроме того, по ходу моей так называемой академической деятельности я стал испытывать прежде мне неведомое чувство.

Честно говоря, на университет я поначалу смотрел только лишь как на меньшее зло, однако со временем я вдруг стал получать прежде неведомое удовлетворение своей университетской работой. Раздумывая над этим, я вдруг пришел к вполне старомодному заключению — я нашел свою работу здесь *благодарной*.

Американская молодежь, в принципе, космически отдалена от моего предмета — современной русской литературы. Даже у самой интеллигентной ее части, которая имеет о нашей словесности хотя смутное, но все-таки какое-то понятие, существует подход к этому предмету, как к калеке. Да-

* Пнин прочел “не ту” лекцию и не в том университете.

да, конечно, имеются в наличии и благородные чувства, и симпатия, и желание помочь, но... — ну, что тут поделаешь... все-таки скучно, ребята, согласитесь, не очень-то весело все время иметь дело с унылыми, пришибленными, ущербными, такими... хм... угнетенными...

Мне важно было показать, что в литературных событиях России трех последних десятилетий кипела такая страсть, какую здесь и не видели.

Вот основные вехи одного из моих первых семинаров "Существование равняется сопротивлению". 1956 год — альманах "Литературная Москва", бунт против литературного сталинизма. Пастернаковский кризис. Первая: Нобелевская премия. Глумление над Пастернаком. Противостояние "Нового мира" и "Октября" как отражение духовной борьбы шестидесятых годов. Возникновение журнала "Юность", молодая проза, и ее развитие до открытого антиконформизма. "Поэтическая лихорадка", суперзвезды поэзии. Магнитиздат, советские барды, "человек с гитарой" как символ сопротивления. Солженицынский кризис, вторая Нобелевская премия. Изгнание Солженицына, исход писателей, последующие высылки. Самиздат и Тамиздат. Альманах "Метрополь" как последняя попытка прорыва через идеологические надолбы. Эмиграция...

...Когда говоришь с этими мальчиками и девочками из американских пригородов, которые могут быть без риска преувеличения названы страной массовой роскоши и благоденствия, о творчестве своих старых товарищей, говоришь о жизни, прежде им полностью неведомой, когда вместо туманного и пугающего пятна, именуемого Россией, перед ними начинает вырисовываться картина сложной духовной борьбы, сопротивления человеческого достоинства тоталитарному нахрапу, тогда понимаешь, что университет — это не просто тихая заводь, место, где ты получаешь свой ежемесячный чек; понимаешь, что игра все-таки стоит свеч.

Семинар по программе "Писательское мастерство" в большом средне-атлантическом университете. Я прихожу на первое занятие и получаю от секретарши обескураживающую информацию: на ваш класс записалась одна студентка, но она, к сожалению, сегодня как раз бракосочеталась с другим (то есть не со мной) нашим профессором.

Очень хорошо, говорю я. Получается, значит, меньше, чем единица. В самом деле, какая прелесть. Надеюсь, мой счастливый коллега не будет возражать против наших редких встреч с его молодой супругой. А вообще-то с какой стати юная леди записалась в русский семинар накануне замужества? Перепутала с Индией?

На самом деле я, конечно, злюсь: не хотите ничего знать о моем предмете, ну и не надо. Паршивые *обобщающие* мысли — все, мол, *они* таковы.

Заглядываю в комнату, где должны проходить мои занятия с любознательной молодоженой. Там, оказывается, двадцать душ меня дожидается. Оказалось, университетский компьютер немножко ошибся.

— Господа, молодые американские писатели, будущие коллеги, скажите мне, что вы знаете о современной русской литературе.

В ответ — девять мужских улыбок и одиннадцать женских: ничего не знаем.

— Ну хорошо, кто в конце концов может похвастаться, что он что-нибудь знает о литературе? Чтобы начать наш разговор, мне нужно хотя бы знать, какие имена современных русских писателей вам знакомы.

Общая молчаливая улыбка. Потом вверх полезла чья-то бровь:

— Как это? Солженищкин?

Я, признаться, многого и не ждал, но все-таки был удивлен, обнаружив, что выпускники университета, берущие уроки по классу писательского мастерства, то есть господа молодые американские писатели, не знают ни Ахматовой, ни Пастернака (тут, правда, кто-то поднял еще одну бровь — ах, да-да, “Доктор Живаго”... Джулия Кристи, Омар Шариф...), ни Мандельштама, ни Булгакова, ни даже наших эстрадных звезд Евтушенко и Вознесенского, не говоря уже об Ахмадулиной, Искандере, Трифонове, Битове...

Меня-то они как раз знали: в ту весну “Ожог” продавался во всех книжных магазинах, и обо мне чуть ли не каждую неделю писали в больших газетах. Потому-то и записались в мой семинар, что я был, как говорится, *issue of the day**.

— Стыдновато как-то, *guys*, — мягко пожурил я их.

Они мягко согласились: да-да, немножко стыдновато. Я видел, что на самом деле им не стыдновато.

Среди американской публики (тут, кажется, *generalization* допустимо, и не только в отношении американской, но и вообще западной публики) распространился страннейший снобизм. Если она чего-нибудь не знает, то это как бы означает, что это “чего-нибудь” просто еще недостаточно сильно, хорошо, примечательно, чтобы пробиться к просвещенному вниманию. Не публике должно быть “стыдновато”, что она не знакома с предметом разговора, а самому предмету должно быть не по себе.

Слишком много всего, возражаю я сам себе, слишком много вещей, информации, рекламы. Однако, если этот снобизм уместен в отношении сортов шампуня, он все-таки в отношении русской литературы попахивает просто-напросто цивилизованной деревенщиной.

Однажды молодой профессор-славист рассказал мне со смешком о лекции хорошего русского писателя. Он, понимаете, старается вовсю, а в аудитории его никто и не знает, ни разу даже имени не слышали. “Экие невежды”, — сказал я. “Невежды?” — изумился профессор. “Ну, конечно, профессор, ничем другим, как невежеством, это не назовешь”.

Позднее на семинаре, о котором я сейчас веду речь, снобистская улыбочка как-то естественно испарилась. Ребята вдруг поняли, что и в самом деле оказались невеждами: они, впрочем, в этом не виноваты, просто никто прежде им об этом не говорил, ведь не знать сейчас современной русской литературы — это все равно, что не знать литературы американской.

* Злобный день.

Меня поразило, с какой скоростью они проходили материал. Разговор шел о начальных творческих импульсах, о том, что будит воображение и что толкает писателя к перу, о том, что превалирует в разных случаях — эмоция или идея, о мере факта и вымысла и т.п., однако разговор носил далеко не абстрактный характер, ибо, он базировался на анкете, которую я провел среди десятка первоклассных писателей еще в 1975 году.

Как из “ничего” возникает “нечто”? На этот вопрос, противореча друг другу (а очень часто и самим себе), отвечали Белла Ахмадулина, Андрей Битов, Андрей Вознесенский, Анатолий Гладилин, Юрий Нагибин, Фазиль Искандер, Валентин Катаев, Юрий Трифонов, Анатолий Найман, Булат Окуджава.

Все эти авторы для моих студентов поначалу были пришельцами из terra incognita. Прошло, однако, не более двух недель, когда я получил первые papers.

Питер Оу написал о романе Фазиля Искандера “Сандро из Чегема”, недавно вышедшем в английском переводе в издательстве “Рэндом хаус”. Роман этот, по сути дела, нескончаемый эпос, посвященный родине автора, крохотной стране Абхазии, о которой Питер Оу даже и не слышал до нашего семинара. И вдруг, оказывается, наш Питер уже полностью в курсе дела, уже знает, что Абхазия, расположенная на восточном берегу Черного моря, в предгорье Кавказа, не что иное, как страна Золотого Руна, за которым плыли аргонавты. Он уже соединяет Искандера с общими корнями среднеземноморской культуры, уходя и в античные времена, к Гомеру, и к ренессансной традиции плутовского романа, говорит о специфике русскоязычного письма в сочетании с нерусской национальной сутью и о метафизике сталинского злодейства.

Сьюзен Кей взялась за Катаева, восьмидесятисемилетнего патриарха русской авангардной прозы, по сути дела, совершенно неизвестного в этой стране. Она откопала в библиотеке немногочисленные британские переводы катаевских книг и пришла в неопишуемый восторг: “Guys, this is something!”* Далее она углубилась в весенние катаевские времена, в “золотые двадцатые”, и вышла на Булгакова, чтобы построить свою, вполне оригинальную концепцию: молодые писатели двадцатых годов пытались преодолеть клаустрофобию советского быта.

К концу нашего семинара студенты уже запросто называли Ахмадулину “Беллой”, бодро расшифровывали криптограммы ее прозы и сравнивали метафору ее стихов с цветаевской и ахматовской, вникали в рефлексии битовских героев, проникали в трифоновские сумерки, прощупывали космические связи Вознесенского, попутно подвергая грибы и ягоды Евтушенко весьма тщательной инспекции.

На одном занятии мы устроили общую дискуссию на довольно веселую тему: “Есть ли будущее у русской литературы?”

Начал Крис Даблю. В отличие от всех других основных языков мира, а

* Ребята, в этом что-то есть!

именно: от английского, арабского, испанского, французского, китайского, немецкого и даже португальского, — русский язык является языком только одного государства. Эта особенность роднит его только с японским. Печальная особенность, вздохнул Крис. Из нее проистекает, что русская литература может развиваться только в СССР, правящие круги которой не понимают литературы.

В спор вступила Лиз Кью. Однако, сказала она, русская литература может развиваться и в условиях диаспоры. Мне, например, литература русской диаспоры кажется более интересной, чем литература метрополии. Не исключено, добавила Лиз, что лучшие произведения конца двадцатого и начала двадцать первого века будут написаны как раз в русском зарубежье.

Почему бы нет, сказал Джордж Оу, но, с другой стороны, можно легко себе представить, что диаспора не создаст шедевра, и что через поколение русская литература за пределами России просто исчезнет. Давайте взвесим отрицательные факторы. Эмигранты оторваны от единственной русскоязычной страны. Этот момент не может не оказывать отрицательного воздействия на их творчество. Теперь возьмем другую сторону “низкой прозы” — зарабатывать на жизнь пером в таких условиях чрезвычайно трудно. Следующее: вступает в силу процесс ассимиляции, который особенно интенсивно идет в таких странах, как США или Израиль, менее интенсивно во Франции и Германии. Этот процесс в конечном счете сработает, и второе поколение, ну, в лучшем случае, третье — уже потеряет способность к воспроизводству русской литературы.

Давайте взвесим теперь положительные факторы, предложил Патрик Ди. Литература некоторых народов, евреев, например, или армян неплохо выживала в условиях диаспоры. Кроме того, число русских за рубежом сейчас, возможно, превышает население Англии времен Шекспира. Довольно значительная публика, и процент интеллигенции в ней очень высок. Следующий довод. Если на протяжении семидесяти лет пришли три волны эмиграции, почему нам не ждать четвертую? В шестидесятые годы в наших университетах беспокоились, что случится, когда преподаватели, чей родной язык русский, выйдут на пенсию. Точно вовремя СССР оказал нам братскую помощь путем третьей эмиграции. Может быть, он и еще раз войдет в наши обстоятельства.

Аудитория писателя-эмигранта, заговорил Хью Эм, необязательно только эмигранты. Так или иначе, всегда существуют некоторые возможности перевода на язык страны-гавани, а в случае успеха и на другие языки. Нельзя упускать из виду и возможности распространения книг в Советском Союзе, или с разрешения режима в периоды возможной либерализации, или без разрешения путем радиопередач, самиздата, тамиздата, проникновения через кордон. Развитие современной технологии расплывает идеологический забор. Космическое телевидение и передача информации в памяти микрокомпьютеров еще более расширяет эти возможности.

Основное преимущество, которое есть у русской зарубежной литературы, сказал Черил Си, состоит в том, что автор не скован нормами социали-

стического реализма, то есть советской цензуры. Кроме того, все, что он пишет, немедленно выходит в свет, ему не нужно писать “в стол”, его не страшат наблюдающие органы.

Ну, хорошо, вступил Мелвил Ар, давайте теперь поговорим о положении внутри Советского Союза. Один западный литературовед недавно писал, что, в принципе, советский режим ничего не имеет против хорошей литературы. (В этом месте, должен признаться, все присутствующие захохотали.) Этот ученый, продолжал Мелвил, пишет, что режим просто требует от литературы полного подчинения, а если такая подчиненная литература будет еще к тому же и хорошей, что ж, тем лучше. Даже при Сталине иной раз появлялись неплохо сделанные произведения, нет оснований не ждать их при Горбачеве или при следующем генсеке. Репрессии, “закручивание гаек” в СССР носят волнообразный характер, нельзя исключить неожиданной и более-менее устойчивой либерализации. В истории было много неожиданных поворотов. Ленин в 1914 году кряхтел, что вряд ли доживет до революции. Поворот в СССР может быть любого свойства: технократический, военный, националистический, а может быть, и без всякого поворота возникнет такая олигархия, которая наконец поймет, что литература — не такое уж серьезное дело, что она даже может быть полезной отдушиной для народного беспокойства.

Я бы тут добавил, сказал Роберт Эйч, что у писателей внутри Советского Союза, несмотря на “закручивание гаек”, все еще остаются каналы самиздата и тамиздата. К сталинским временам сейчас вернуться трудно, сопротивляется прежде всего современная технология, магнитофоны, копировальные машины. А что если лет через двадцать и до советского населения дойдут микрокомпьютеры с программированием словесного производства, не знаю уж, как перевести то, что здесь называется word processing? Какой шаг вперед сделает самиздат! А что если в недалеком будущем сама книга как таковая начнет принимать форму маленького мягкого диска?

Вот так они спорили три часа напролет, молодые американцы из среднеатлантических штатов. У всех был чрезвычайно умный и позитивный вид, а я все время спрашивал себя: неужели не возникнет? Все-таки возник! Такова была, видимо, природа предмета, что не мог он не возникнуть, и в конце концов в кондиционированном воздухе американского университета появился русский метафизический душок. Вскочил южанин Мэтью Эл и сказал, что, по его мнению, русской литературе необходимы репрессии! Без угнетения, без страдания она лишится свежести и выразительности, перестанет быть в традиционном понимании властительницей дум.

Что будем делать с этим Мэтью? Выгоним из класса? “Дайте ему подумать, дайте ему подумать!” — послышались голоса.

Мэтью с минуту постоял в задумчивости, а потом сказал, что снимает свое предложение. Русская литература и без советских закрутчиков всегда находила свои внутренние репрессии и страдания. Именно они дали ей место в мировой культуре, куда она со временем, рано или поздно, должна вернуться.

ВРЕМЯ ПРОБУЖДЕНИЯ: ВОСТОК И ЗАПАД

...Если бы случился в тот день на территории Гаучер-колледжа какой-нибудь советский визитер, и если бы пришлось ему оказаться возле аудитории Kraushaar, не поверил бы он своим ушам: благопристойное учебное заведение для американских девочек оглашалось хриплым неистовым голосом Владимира Высоцкого, советского полулегального барда, кумира улицы, ставшего после своей смерти в сорок два года народным мифом и символом неофициального единства.

Идет охота на волков, идет охота!
На серых хищников, матерых и щенков!
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты,
Кровь на снегу и пятна красные флажков...

Проходит некоторое время, и в той же аудитории звучат тоже не очень-то respectable, но все-таки более подходящие к обстановке песни Боба Дилана, Джоан Баэз, Симона и Гарфункеля.

Так проходил полугодичный семинар на тему: “Шестидесятые — время пробуждения: Восток и Запад”.

Перед аудиторией из ста девиц сидели четыре лектора — Фред Уайт, Руди Лентулей, Богдан Сагатов и Василий Аксенов. Нетрудно догадаться, что я на этом форуме представлял Восток. Не будет хвастовством и сказать, что Гаучер-колледж вряд ли нашел бы в окрестностях Балтимора более подходящего человека для этой темы: я и в самом деле типичный представитель “советских шестидесятых”, и меня, как и многих моих товарищей по постленинскому литературному поколению, в советских условиях называли “левым”.

Мои коллеги — профессора Фред и Руди, между тем, были типичными представителями “американских шестидесятых”. Четвертый же, Богдан, американец русского происхождения, был молод и снисходителен.

...Мне вспомнился август 1968 года, когда внезапно, в одну ночь, за два года до срока, кончились “советские шестидесятые”. В партийной газете “Правда” в те дни можно было увидеть очерки собственных корреспондентов из Праги и из Чикаго. Тот, что сидел в Праге, писал: “Советские воины научились различать контрреволюционеров по внешнему виду. Джинсы, длинные патлы, усы и бороды — вот отвратительная примета контрреволюции...” Советский кор из Чикаго сообщал, пылая восхищением негодованием: “Чикагская полиция, зверски работая дубинками, преследует демонстрантов. Джинсы, бороды, длинные волосы — вот приметы “возмутителей спокойствия!”

Как видим, было что-то общее между Востоком и Западом, а тот год, который мы называли “шестьдесят-проклятым”, в странной степени оказался критическим для обеих частей света.

Некоторые исследователи полагают, что у “американских шестидесятых” прослеживается больше сходства с “русскими шестидесятыми” *прошлого века*, чем с нашим временем. Мне случилось однажды быть на лекции профессора Тома Глисона в Кеннановском институте, когда он успешно сравнивал взгляды и вкусы американских либералов-шестидесятников с базаровыми и рахметовыми российского девятнадцатого века. Столь успешные сравнения, возможно, не пройдут в отношении времен нашего постсталинского ренессанса хотя бы из-за путаницы с понятиями “левый” и “правый”.

Советский опыт трудно сравнивать с каким-либо другим периодом истории по причине его уникальности. Даже германский нацистский эксперимент несравним, ибо он состоял только из взлета, завершившегося катастрофой, но не содержал в себе бесконечного периода гниения.

Два десятилетия назад Восток и Запад весьма смутно ощущали друг друга, процессы пробуждения Америки и России были различны, хотя временами просто диву даешься, как много было общего, особенно в сфере так называемой молодежной субкультуры.

Помнится, в сумерках Невского проспекта, у подъездов домов, где проходили запрещенные концерты рок-н-ролла, нам казалось, что Америка-то уж вся поголовно от мала до велика отплясывает вслед за Элвисом Пресли. Официальная пропаганда только подливала масла в огонь, изображая “американского империалиста” эдаким дергающимся рок-н-рольным ублюдком. Вместо Святой Троицы этот жестокий дикарь поклоняется изобретенной им самим тлетворной триаде — “дурманной кока-коле, оглупляющей трудящиеся массы, жвачке “гуинго” и шумовой музыке — “джаст”. Разумеется, мы не знали, что столпы пуританского общества не очень-то поощряли свободные ритмы и в самой Америке.

В одном из первых фильмов, показанных на семинаре, я с удивлением увидел эпизод, в котором отцы какого-то провинциального города обсуждают репертуар юного Элвиса. Без большого напряжения эта сцена могла быть перенесена в отдел культуры Ленинградского обкома, и, что самое удивительное, — того же периода.

На этом семинаре профессора тоже были учениками. Мне, например, он дал немало пищи для размышлений. От чего пробуждалась Америка в шестидесятые годы? Может быть, прежде всего от своего провинциализма? Может быть, именно тогда великая страна, корчась в каких-то чуть ли не родовых муках, сметала рогатки изоляционизма, пробивала пелену застоя, чтобы стать не только экономическим и военным лидером Запада, но и его духовной частью, войти в интеллектуальное, нравственное и эмоциональное движение, называемое сейчас “свободным миром”, войти и возглавить его не только как самое сильное, но и самое свободное, самое открытое общество?

Чтобы представить себе силу этих родовых мук, надо вспомнить и предшествующее десятилетие, пятидесятые, когда погоду здесь делали консерваторы, и не те современные, просвещенные консервативные либералы, которым нынче я нередко аплодирую, а довольно дремучие ребята.

Речь идет не столько о пресловутой комиссии сенатора Маккарти, число жертв которой за все годы ее существования нельзя сравнить даже с одним днем деятельности славных сталинских "органов", а о всей той атмосфере ханжества и затхлости, которая тяготила выросшую американскую интеллигенцию.

Одним из ключевых моментов семинара был показ фильма "Выпускник". Символическая сцена, в которой юный Дастин Хоффман стальным распятием разбивает двери церкви, чтобы похитить из-под венца свою "настоящую любовь", дочь его "светской любовницы", поразила меня своей наивностью, столь же неподражаемой, сколь и наивность юного московского актера Олега Табакова, рубавшего в каком-то фильме того же времени дедовской кавалерийской саблей дорогую мещанскую мебель в квартире родителей.

Дальнейшие параллели. Литература "битников". Сомневаюсь, что она оказала какое-либо значительное влияние на современную ей русскую литературу нашего времени (то есть на нас), однако весь стиль и синкопированный образ жизни "битников" и в самом деле отразились на образе жизни их сверстников в Восточной Европе, в Москве, Ленинграде и Львове. Проследив же родословную всех этих молодежных неконформистских движений, мы неизбежно придем к футуристическим группам предреволюционной России. Любопытно, что образ жизни студенческой коммуны провинциального советского университета (все эти Филимоны, Парамоны, Спиридоны и Евтихии, называвшие себя именно "футуристами" и культивирующие "авангард") не очень-то отличался, в принципе, от жизни "битнической" среды.

Марши и фестивали протеста. Явлений, подобных американским, в Советском Союзе, конечно, быть не могло по причинам вполне понятным: там, где в США в ход шли дубинки, в СССР неизбежно пошел бы свинцовый дождь, однако "Бульдозерную выставку" русских художников по ее экстраординарности легко можно приравнять к самым дерзким эскападам американских радикалов.

Американская сторона на семинаре вспоминала романы Хеллера, Воннегута, Мейлера, русская (то есть ваш покорный слуга) говорила о Вознесенском и Солженицыне.

От какого кошмара пробуждался Советский Союз в шестидесятые годы? Вот тут уже все параллели растворяются в неевклидовом пространстве, ибо нельзя сравнить ни с чем неопишуемые злодеяния революции на ее подъеме и на их вершине, когда под руководством Сталина было создано безнадежное, казалось бы, общество стукачей, жалких конформистов и тугих карателей. Советский "сон" при самом бурном воображении нельзя было сравнить с "American Dream", против которого бунтовали здешние радикалы. Это был кошмар ночных звуков и теней, застойная инерция страха.

В принципе, огромная кровавая работа, проделанная революцией, предвещавшая возникновение поколения рабов. "Пробуждение" российской

интеллигенции было категорически не предусмотрено, это было просто самое настоящее чудо.

Этот семинар открыл перед двадцатилетними американцами прежде совершенно неведомый мир. Они и свои-то шестидесятые еле различали сквозь калейдоскопическое мелькание ежедневных событий и лиц, а о советских-то вообще не имели никакого понятия. Достаточно сказать, что Никиту Хрущева многие из них полагали просто-напросто героем моего романа "Ожог".

Вдруг оказалось, что в Советском Союзе, стране тошнотворных даже для невинных мэрилендок социалистических соревнований, колхозов и обкомов, бушевала когда-то какая-то странная "поэтическая лихорадка", пели неофициальные барды, устраивались выставки запрещенных художников и тайные концерты джазистов, функционировал самиздат, это, пожалуй, уникальное явление мировой культуры, вспыхивали кампании так называемого подписанства, когда тысячи представителей прежде столь послушной советской интеллигенции ставили свои подписи под письмами протеста против возрождения сталинизма.

Карнавал американских шестидесятых принес в страну довольно сильное и продолжительное похмелье, однако и огромные достижения того времени очевидны. В целом можно сказать, что поколение шестидесятых в этой стране добилось своей цели, если видеть этой целью развитие американского либерального общества. Может быть, есть и какое-то разочарование, но там, где у американцев разочарования, у нас, "советских шестидесятников", — крушение. Искоренение вольных надежд того времени — основная забота власть предержащих. Так что для Советского Союза — это время следует назвать не "временем пробуждения", а скорее временем блаженного короткого сна.

ШТРИХИ К РОМАНУ "ГРУСТНЫЙ БЕБИ"

1983

— Ложись! — крикнул ему встречный — джентльмен в костюме "Поло".

— С какой стати? — пожал плечами ГМР.

Комок уплотненного воздуха толкнул его в ухо. При отсутствии опыта уличных перестрелок не сразу разберешься, что мимо пролетела пуля.

Любезный встречный сам уже лежал, засунув голову за автомат "Кокаколы". Все, случившиеся быть в этот момент на перекрестке 19-й стрит и L, тоже лежали, одна лишь бойкая старушка в зеленых тонах сохраняла вертикальное положение, маскируясь кустом пирамидального можжевельника, что призван был придавать этому городскому перекрестку идиллический колорит. Только ГМР не лег и не замаскировался, не успев сообразить в течение этих очень важных секунд, что мечущийся по перекрестку черный юнец — вот именно, — стреляет куда попало из пистолета.

Взвыли сирены, эти постоянные спутники нашего городского уютя.

Черный "мент" прыгнул сзади на черного "урку". Второго "урку" уже выволакивали из подъезда с заломанной назад рукою. Предвидя телевизионное око, он закрывал лицо полой разорванной рубахи. Телевизионщики и впрямь уже неслись, опережая и "скорую помощь", и тюремную карету. Камеры четырех конкурирующих компаний заработали, и все сразу заиграли для вечерних новостей — и комиссар, и детективы, и санитары, и копы оцепления, и публика.

— Восемь человек убиты наповал! — завизжал женский голос по-русски.

Кричала популярная в этом районе нищенка-эмигрантка, которая вот уже три года требует от американского правительства материальной компенсации за вывезенный из Витебска страшный химический секрет коммунизма.

— Что это все такое? — удивлялся ГМР. — Киносъемка какая-нибудь дурацкая или просто экзистенциализм в действии?

— Ни то ни другое, мой друг, — сказал ему тот первый доброжелатель, джентльмен в костюме "Поло", отряхивающий с колен прилипшие пластмассовые вилочки и ложечки. — Просто те два "гайз" решили сделать "холд ап" в ювелирном магазине "Свадебные кольца", а их там ждала засада. Весь беспорядок вызван именно этим недоразумением.

1985

Неудержимое развитие этнической кулинарии порой приводит к какой-то неслыханной дерзости. Чего стоит, например, французский ресторан, представивший на своих стенах панораму города Ларошели с только что выловленной из портовых вод зеленоватой мясистой русалкой на первом плане? Невольно усомнишься в благочестивости гугенотов.

Ну а в непальском храме еды по соседству можно неожиданно столкнуться с пренебрежением научными законами развития истории. Молодой хозяин вдруг начинает изъясняться с тобой настоящей московской скороговорочкой. Оказывается, пять лет проучился в Университете имени Патриса Лумумбы, но вот вместо продвижения передовой теории в практику "третьего мира" решил посвятить себя пищевому бизнесу в "цитадели капитализма". Знали бы товарищи из ЦК КПСС, куда порой уходят спецфонды.

Курьезы и курьезы. Всему миру Эфиопия представляется полем голода, а у нас, в Адамс-Моргане, один за другим открылись три эфиопских ресторана. Афганские муджахеддины и советские вертолетчики охотятся друг за другом в той далекой горной стране, а в ресторане "Кабул Вест", что в Бетесде, можно порой встретить советских любителей шашлычка.

Это сближает, как говорили когда-то в Москве, это и с толку сбивает: ведь русскому борцу нередко приходится отдуваться за немецкие мудрости с перцем.

1990

Спазмы ностальгии.

Из всего состава астронавтов на орбитальной станции “Америка Спейс” мистер Флитфлинт считался наименее сентиментальным, однако и он расхлюпался на концерте землянина Славы Ростроповича, а когда виолончелист закончил выпиливание своего Бетховена, Флитфлинт попросту попросил:

— А теперь, друг, сыграй нам, пожалуйста, “Грустного беби”!

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Однажды мы ехали вверх, из Флориды в Вашингтон. Радио внутри машины без перерыва несло какую-то местную чушь про “суперпиццы” и “гипербарбику” и передавало так называемую музыку, какое-то будто компьютеризированное варево из “регги” и “рока” с тяжелым грохотом и кошачьим подвыванием. Иногда я переходил на другую волну, но везде было то же самое.

Кончался зимний сезон во Флориде, и фривей выглядел, как Коннектикут-авеню в час пик, с той только разницей, что все бесчисленные машины шли со скоростью 65 миль в час.

По сторонам неслись символы цивилизованной глухомани, призывы бензина, жареного мяса, сластей и пощипывающих язык напитков.

Как вдруг я испытал острейшее ностальгическое чувство. Будто воочию, я увидел ночные пустынные улицы вокруг старого здания Московского университета, снежные сугробы вдоль тротуаров, луну в морозном кольце... ночная пустынька, конец первой молодости, очередная влюбленность...

В недоумении я даже замедлил бег. Боже правый, что вызвало столь острую московскую ностальгию на границе Флориды и Джорджии? И вдруг догадался — джаз! Станция университета в Джексонвилле пробилась в мое радио с саксофоном Джерри Маллигана. Редкий гость американского эфира, американский джаз напомнил проезжающему по Джорджии эмигранту московскую ночь двадцатилетней давности.

Оказалось, что джаз не так уж и популярен на своей родине. Его едят здесь люди только определенного сорта — подпорченный чувством международного города сорт людей.

Для моего поколения русских американский джаз был безостановочным экспрессом ночного ветра, пролетающего над верхами “железного занавеса”.

Почему нацисты и коммунисты ненавидели джаз? Может быть, из-за его склонности к импровизациям? Может быть, если бы все игралось по нотам, они были бы терпимее?

Первые выловленные из эфира на программе “Голоса Америки” в пятидесятые годы звуки “би-боп” распространялись в России на самодельных пластинках, сделанных из рентгеновских пленок. Труба Гиллеспи и кларнет Гудмана проходили через тени грудных клеток, бронхов и потревоженных силикозом социализма легочных альвеол. Подпольная индустрия этих пластинок так и называлась “Джаз на костях”.

Вот вам картина из далекого советского прошлого. Юнцы в свитерах с оленями вокруг чехмоданного патефона. Придавленная в центре, чтобы не вспучивалась, перевернутым бокалом крутится самодельная пластинка с тенью здоровенной фибулы или мандибулы.

В 1967-м ведущий программы “Час джаза” Уилис Канонер приехал в СССР на первый международный фестиваль джаза. За ним ходили, как за мессией. Бархатный голос американца в невероятном клетчатом пиджаке повергал в сущий трелет, слышался эллингтоновский “Take “A” ...все эти наши платонические рандеву со свободой.

Переносясь в Европу, особенно в ее восточную часть, джаз становился чем-то большим, чем музыка, он приобретал идеологию, вернее, антиидеологию...

В шестидесятые годы второй, после Штатов, джазовой страной мира была Польша, третьей, наверное, Россия.

Вначале играли на танцевальных вечерах, в каких-то занюханных клубах и арендованных школьных спортзалах. Постоянные скандалы с комсомольской дружиной. Потом стали устраиваться специальные джазовые концерты в научных институтах. Комсомол вдруг объявил себя “спонсором” джаза при одном лишь условии — не играть “фирменных”, то есть американских тем, развивать “джаз с русским акцентом”. Джаз без американских тем, то есть как бы русская тройка без лошадей...

Образ джазового музыканта кочевал из одной моей книги в другую. Больше всего поражала меня преданность русских джазистов своему искусству. Эти немногословные юноши играли джаз без всяких надежд на успех, на деньги, на признание. Порой во времена сильных “зажимов” они, подобно древним христианам, уходили в буквальное подполье, играя в котельных и подвалах. Они как бы и не пытались оправдываться, выискивать объяснения своей преступной страсти, просто уходили, если их гнали, являлись без колебаний, если за ними посылали. Что поделаешь, как бы говорили их не особенно выразительные лица и согбенные фигуры, такой уж мы народ, джазовые.

Отделяясь от основной, здоровой массы, они даже выработали свой “птичий язык”. Иные из них старели, другие оставались юношами всю жизнь.

Что я писал о джазе в разные времена?

1970-й. “Нью-Орлеанские поминки на Новом Арбате”...

“...Я посмотрел вокруг и увидел сотни две или три знакомых лиц, му-

зыкантов джаза и наших девочек. Все постарели немного, но все еще были красивы, а некоторые даже стали лучше...

...Все пришли в тот вечер и играли и hot и cool, как будто и виновник тризны, погибший барабанщик, с нами, как будто просто шикарный jam, и только лишь временами из темных глубин заснувшей кухни просвистывал ветерок пронзительной печали...

...Вот так иногда хочется обратиться к широкой публике. Прошу вас, съядьте! Прошу вас, прекратите стучать, хрустеть, цокать, шелкать, сморкаться и ржать! Прошу вас, дайте музыкантам играть: ведь жизнь коротка, а музыка прекрасна!"

1969-й. "...Из полуоткрытых окон неся жуткий вой, это играл на своем баритоне Сильвестр. Он заглушал все звуки и перекрывал аплодисменты... когда он дует в свою кривую трубу, кажется, что это нечистый дух... всю жизнь ему закрыл джаз... Переоценка ценностей. Как тебе не стыдно все это играть? Никакой ведь это не джаз и не музыка. Власть все-таки права — "русских мальчиков" нельзя никуда пускать, ни в джаз, ни в литературу, везде они будут вопить селезенкой и выхаркивать обрывки бронхов, и джаз превратят в неджаз..."

1977-й. "...Майским вечером на открытой веранде литературного ресторана "Набоков" Антон играл на саксофоне для своей беременной жены. Выпросил инструмент у музыкантов — дайте немного поиграть для жены, она у меня очень беременная. Дали, попросили только слюни не пускать... Кумир подземного перехода на станции метро "Шатле" заиграл в стиле "ретро" мелодию "Сентиментальное путешествие"...

...Хватит с меня политического дурмана, забуду все русское, буду на саксофоне играть... есть в самом деле другая, сентиментальная память..."

1963-й. "...Строителям коммунизма джаз не нужен, вся эта херня не чужна. Им песня нужна, романтика!

— Это ошибка, товарищ! Заблуждение! Джаз может помочь и строителям. Джаз ведь это тоже романтика! Я берусь со своим кларнетом за два часа привить вам любовь к джазу!

— Проверьте документы у этого товарища!..."

.....

Американцам трудно представить размах этого довольно странного увлечения советской молодежи. В этом и в самом деле есть нечто загадочное — почему "русские мальчики" так страстно полюбили музыку столь отдаленной страны? Может быть, отгадка как раз и состоит в ее отдаленности, почти стопроцентной недоступности? "Западничество" русской молодежи уходило за дальний горизонт, Америка вбирала в себя все обертоны и синкопы Запада, американская музыка придавала русскому мечтателю "лица необщее выражение".

МОСКОВСКИЕ ОБИДЫ

В середине семидесятых в Москву приехал Оскар Питерсон со своим трио. В аэропорту его встречали какие-то дубы из Госконцерта, которые, очевидно, никогда ничего о великом пианисте не слышали. Очевидно, они думали, что это просто очередная негритянская делегация, ну а раз негритянская, значит, *прогрессивная*, стало быть, можно не церемониться.

Питерсона и его ритм-секцию отвезли в клоповник по названию "Урал" да еще, кажется, поселили по двое в комнату. Пианист начал волноваться, потребовал другой гостиницы, первоклассной, ибо такой он и заслуживал. Ничего не получив, пригрозил уехать. В Госконцерте ухмыльнулись — никуда, мол, не уедет "чурка". На следующий день еще и другие посыпались удары по самолюбию "звезды" — не пустили репетировать в том зале, где предстояло играть, привезли на репетицию в какой-то клуб, где рояль еле стоял на ногах из-за постоянного выколачивания на нем гопака и молдовеняски. Больше всего Питерсона поражало, очевидно, полное равнодушие Москвы к его приезду — ни прессы, ни телевидения, ни фанов...

Между тем люди полуподвального московского джаз-клуба носились по городу, высунув языки, пытались установить, где живет великий и любимый.

Разъяренный Оскар собирает ноты. Видавшие виды полы гостиницы "Урал" прогибаются под его гневными шагами. *Come on, guys! Let's go out of here!** Квартет, ничего никому не сказав, отчаливает в Лондон, к Ронни Скотту. Больше в эту слякотную промозглую бездушную Москву ни ногой!

Не знаю, справедливо ли оскорбился пианист или немножко слишком капризничал, может быть, расовое чувство как-то было ущемлено: в Москве нередко негры ловят на себе нехорошие взгляды, но все-таки не думаю, что он вот так запросто улетел, сорвал концерты, если бы увидел тех, кто пришел его слушать.

К вечеру на Берсеневской набережной, вокруг Театра Эстрады, собралось несколько тысяч человек. Билеты были в лучшем случае лишь у одной трети толпы. Остальные "скупчовались" только лишь для того, чтобы приобщиться, подышать хотя бы чуть-чуть воздухом мирового джаза. Многие прилетели из других городов, была даже целая когорта из Хабаровска. Грузинские фанаты, конечно, предлагали за билет любые деньги, коня, кинжал, жену...

Когда мы туда приехали с друзьями за полчаса до начала концерта, по толпе уже рябью пошли тревожные слухи. Концерта не будет! Разумеется, предполагалось поначалу, что власти запретили джаз. Опять *они* не дают

* Давай, ребята, отваливаем отсюда!

нам слушать музыку. Вот гады, что им дался джаз?! Экое издевательство — пригласить Питерсона, а потом запретить! Вас только это удивляет? Да чем они там думают? Ты что, не знаешь, — чем?

На ступенях у входа в театр можно было видеть массивную фигуру известного в наших кругах пианиста. Зажав в зубах паршивую сигарету, он хранил молчание. Всю жизнь его называли “московским Питерсоном”, он даже и похож был немного на черного прототипа. Приученное к огорчениям, его лицо, казалось, медленно сейчас свыкается с очередным фиаско, с крушением надежд увидеть *Ego* своими глазами.

Я сказал, что слушал Питерсона в 1975 году в Лондоне в Роял Фестивал-холл. Кто-то рядом услышал эту фразу. Слух быстро распространился — здесь есть человек, который слушал Оскара *живьем!* Толпа вокруг меня уплотнилась. “Расскажите, пожалуйста, как это было”.

Я стал рассказывать о том лондонском вечере и отвечать на вопросы.

— Какая там была публика?

— Молодежи было мало, в основном сорокалетняя публика и старше. Треть мест была пуста.

— Слышите, ребята, треть мест была пуста! А что он играл? Товарищ, что он тогда играл?

— В основном классику играл, золотой фонд.

— А ритм-секция в каком была составе? Басист такой-то? Ударные — такой-то?

На эти вопросы я не смог ответить. Они знали джазовые имена гораздо лучше, чем я.

— Там потом появился еще один старый саксофонист, — припомнил я. — Питерсон сказал, что это сюрприз.

— Как?! — вскричали фаны. — Прямо так и сказал?!

— Ну да, встал и сказал: сюрприз для почтеннейшей публики. Он очень хорошо играл, этот старик.

— Кто же это был?

— Да вот что-то не помню, имя как-то вылетело...

— Черный или белый?

— Простите, ребята, — сказал я не без смущения, — что-то не помню, черный или белый... помню только, что с седой козлиной бородою... Колмен Хоукинс! — вдруг вспомнил я. — Да-да, это был именно он.

— Колмен Хоукинс! — вскричали люди в толпе. — Да как можно забыть это имя?! Братцы, этот товарищ в Лондоне слушал Питерсона и Хоукинса *живьем!*

Неожиданно я оказался в центре внимания. Мои не очень-то толковые воспоминания передавались из уст в уста в глубину толпы. Я чувствовал себя неловко, как будто что-то стащил с алтаря джазовой славы. Народ, однако, смотрел на меня с неподдельным восхищением и, как в Советском Союзе говорят, с “хорошей завистью”. Никто, кажется, не понимал, что перед ними довольно известный писатель, я был здесь просто “товарищем, который Питерсона и Колмена Хоукинса слушал *живьем!*”. Стоявший вплотную к

рассказчику провинциальный интеллигент снял шапку и вытер ею потное лицо.

— Ну вот, все-таки не зря прилетел из Саратова, — вздохнул он. — Все-таки хоть вас послушал, товарищ... Ну а в Америке вам не приходилось джаз слушать?

Для сохранения правдоподобия я соврал:

— Нет, не приходилось.

Толпа на Берсеневской набережной, охваченная общим и несколько пьянящим чувством разочарования, не могла разойтись в течение нескольких часов. Через реку на нас, словно бесстрастная стража, смотрела группа кремлевских башен.

В это время Оскар Питерсон в самолете приближался к Лондону. Праздные в тот вечер, его гениальные пальцы чуть-чуть пошевеливались на коленях, как бы нащупывая минорную импровизацию “Московские обиды”...

Среди новых русских иммигрантов в Америке есть некоторое число людей, которые оставили СССР и прибыли сюда не в последнюю очередь для того, чтобы слушать джаз. Удастся ли им на родине этого искусства, где легендарные имена их кумиров волей-неволей утрачивают часть своего серебристого звучания, сохранить свой энтузиазм сродни тому, которым, например, всю жизнь пылает мой одноклассник Генка Кваркин, ныне генерал Советских Военно-Воздушных Сил?

СТРАСТЬ ГЕНЕРАЛА

За полгода до выезда из СССР я встретил Генку Кваркина в подземном переходе на Манежной, и он пригласил меня в гости. Надо сказать, я удивился: меня уже тогда далеко не все друзья приглашали в гости, а тут еще советский генерал со здоровенными звездами на плечах. Впрочем, если он и слышал о моих делах, то уж только краем уха. В ушах у него и в самом деле не очень-то много места было для посторонних звуков. Он всю жизнь был джазоманом и всегда напевал, насвистывал или просто пальцами постукивал по столу в такт джазовым мелодиям типа: “I’m beginning to see the light” или “Those foolish things”.

В студенческие годы, когда я учился в медицинском институте, а он в военно-воздушном училище, мы оба были вовлечены в увлекательный бизнес “джаз на костях”, обменивались рентгеновскими снимками и последними новостями, почерпнутыми из программ Уиллиса Кановера и “Радио Монте-Карло”.

Позднее, когда я уже стал писателем, а Генка делал свою военную карьеру, мы временами встречались и всякий раз начинали разговор с джаза. Рентгеновский период уже ушел в прошлое. Музыка переписывалась на магнитофонах с контрабандных западных пластинок. С увеличением звезд на плечах Генки Кваркина увеличивалась и его джазовая эрудиция, увели-

чивался и его энтузиазм. Однажды он даже прочел мне какие-то джазовые стихи, сочиненные, по его словам, каким-то его другом, но не исключено, что и им самим. Что-то в таком роде:

Трубит Армстронг в свою трубу,
А во дворе играют дети...
Предугадавшему судьбу
Не так-то просто жить на свете...

или

...Но Майлзу Девису сказали,
Что вряд ли кто-то в этом зале
Его каденции поймет,
И он, встревоженный и хмурый,
Всю ночь сидит над партитурой,
Ошибку ищет... не найдет...

Любопытно, знало ли командование об этом увлечении офицера стратегической авиации, предназначенной в конце концов для бомбардировки страны джаза, то есть Соединенных Штатов Америки?

В истории советского джаза еще предвоенной поры есть одно удивительное имя высшего морского офицера, флаг-связиста Балтийского флота капитана Колбасьева. Он был, без преувеличения, самым крупным знатоком джаза, к его уникальной фонотеке в квартире на Моховой улице в Ленинграде обращались профессиональные джазисты. Следуя американской традиции, один из них написал для капитана Колбасьева пьесу "Блюз Моховой улицы". Трудно сказать, как реагировало флотское начальство на увлечение своего флаг-связиста, одно вполне можно вообразить, как реагировали на это чекисты Ленинградского НКВД, в 1937 году арестовавшие и убившие славного капитана.

Времена нынче все-таки другие. Карьера Генки Кваркина развивалась вполне успешно, звезды на плечах через соответствующие промежутки времени увеличивались и числом, и достоинством.

Вот одно из преимуществ военной службы — жизнь отмерена пространством чина. Расхлябанное лицо свободной профессии теряется в годах, путает ориентиры — когда было это, когда случилось то...

Военному несколько легче: это было тогда, когда я был майором, а случилось уже в бытность подполковником... Генка Кваркин, например, может сказать: я встретил своего одноклассника Ваську Аксенова через месяц после того, как получил генеральскую звезду.

"Приходи, — сказал он мне, подмигивая, — есть чем угостить".

Кроме новой квартиры и ужина с армейскими антрескотами, он угощал, разумеется, джазом. Предмет неслыханной гордости — квадрифоническая система. Звуки обрушиваются на гостя из всех углов. Генерал гордо демон-

стрировал одну пластинку за другой. Торжественная процессия королей и герцогов американского джаза.

Поскольку в магазинах Военторга этот товар не в ходу, постольку совершенно очевидно было, что генерал поддерживает прочные связи с миром музыкальной фарцы.

Подобно многим другим военным летчикам, Генка Кваркин имел страсть к высоким децибелам и не ограничивал звуковых возможностей своей аппаратуры. Никаких разговоров за ужином, разумеется, не велось. Знаками мы спросили мадам Кваркину, как она с этим справляется. Она молча вынула и показала нам на ладони специальной конструкции ушные затычки. Генерал ел мало, только лишь сидел с туманной улыбкой на странном, все еще мальчишеском лице (во всяком случае, мне оно казалось таким), только лишь глазами запрашивая восхищения в ключевых моментах пьес.

Когда возникла пауза, моя жена неопределенно вздохнула. Генка положил ей ладонь на плечо.

— Не вздыхай, Маечка, это еще не все. Сейчас еще будет Джонни Ходжес, а потом немного Каннонбол Эдерли.

После ужина, провожая нас к машине, он спросил:

— Ну как?

— Здорово, — сказал я. — Между прочим, знаешь, Генка, через месяц я уезжаю из России.

— Слышал, слышал, — кивнул он.

— Не исключено, что я буду жить в этой стране, — сказал я. — Буду слушать всю эту братию живьем...

Он посмотрел на меня, потом отвлекся взглядом в небо, за плоские крыши подмосковного жилого массива, где среди тяжелых ночных туч виднелся вытянутый длинным и нелепым крокодиллом проем закатного неба.

— Это не то, — вдруг убежденно сказал он и в ответ на мой удивленный взгляд дал несколько неохотных пояснений. — Я вовсе не хочу их слушать живьем. Я и здесь-то не хожу на их концерты, а уж тем более не хочу, чтобы их было много, чтобы они превратились в живых, таких же, как я сам, субъектов. Это, понимаешь ли, разрушит мой мир. Я хочу, чтоб их было мало, чтобы они были недоступны, где-то там, за закатом, чтобы оттуда шли эти звуки...

...И вот сейчас я живу на этой земле и могу любым вечером без всякой спешки, без всякого ажиотажа отправиться погулять по джазовым местам, скажем, Джорджтауна, могу зайти в "Чарли" послушать Мэла Торме или, пройдя еще пару сотен метров, купить за 15 долларов стул и "дринк" в "Блюз Алли" и сидеть там, едва ли не упираясь коленкой в баншмак легендарного Вуди Германа, или, совсем уж по-свойски, завалиться в ресторанчик "Одна ступенька вниз" и поболтать там с Янушем Маковичем и Лэсом Мак-Эном... Меня уже не поражает, что эти супер-

звезды играют здесь запросто в маленьких кафе и здесь никто их не окружает, задыхаясь от восторга, как это происходит в Восточной Европе и в России...

ТАКИЕ КИСКИ...

“Мне приходилось играть в Советском Союзе, — сказал черный музыкант. — Русские — такие кисы”...

Вряд ли он имел в виду физическую красоту или кошачью гибкость нашего народа, подумал я, скорее всего его теплые душевные качества.

Вообще-то сначала нас в этом подвале почему-то приняли за португальцев, несмотря на то, что среди нас были две блондинки — украинка и финка. Подошла хозяйка заведения — в темноте видны были только зубы и белки глаз, остальное сливалось — и спросила вежливо:

— Вы, наверное, из Португалии, фолкс, или из Бразилии?

Когда недоразумение выяснилось, пианист спустился к нам с эстрады.

— Русские — такие кисы, — сказал он. — Я там играл. Клево было.

Это был известный джазовый пианист, и я вспомнил, что он действительно лет шесть-семь назад гастролировал в СССР в составе какого-то замечательного трио или квартета. У меня тогда не было времени его послушать, и вот случайно наткнулся на этого пианиста вечером в Вашингтоне.

Ну, в общем-то, это не такая уж суперзвезда, не Оскар Питерсон, не Чик Кория, но все-таки достаточно известный, чтобы создать панику среди любителей джаза и круглосуточную очередь за билетами.

Он стал рассказывать, как было в России. Ему явно повезло больше, чем Питерсону. Еще в аэропорту их встретили советские джазовые музыканты и фаны.

— О, Боже Всемогущий, они нас всех знали по именам, знали, кто с кем и когда играл, названия наших альбомов, даты выпусков, все клубы, в которых мы когда-либо играли, они и про других лабухов спрашивали, поверьте, они больше знали о джазе, чем мы сами. Среди них были два парня из Сибири, прилетели нас слушать — воображаете? — и одна девушка из Китая...

— Из Китая, Брайант? — переспросили мы его.

— Кажется, из Китая, — кивнул он. — В общем, из Азии. Ташкент, Ташкент! — вдруг вспомнил он со счастливой улыбкой. — Чудо из чудес, все они говорили по-английски, так что нам и переводчики не требовались. Они нам принесли цветы, а один даже вынул из кармана бутылку водки и пустил по кругу, чтобы все сделали по глотку. Такие кисы...

Я подумал, что, наверное, почти всех людей, о которых сейчас, спустя семь лет, рассказывал Брайант, я знал лично. Откуда взялась в России такая страсть к джазу?

— Мы с ними встречались после концертов, — продолжал пианист, — и очень хорошо выпивали и разговаривали. Но нас в гости к себе они почему-то не приглашали. Эта девушка из Ташкента, знаете ли... я спраши-

ваю — а вы где остановились, мисс? — а она говорит — это не имеет значения... Потом они говорят, давайте играть “джем-сэшн”. Мы с восторгом соглашаемся и в свободный вечер едем с ними в какой-то клуб, предвкушаем удовольствие. Однако в клуб нас не пускают. Вокруг толпа фанатиков стоит, а в дверях несколько таких персонажей с красными повязками и говорят: ньет, ньет, ньет.

— Значит, не все русские кисы? — спросили мы Брайанта.

После некоторого размышления он сказал:

— Нет, не все, решительно не все. Впрочем, после этой неудачи один русский, как бы разозлившись, пригласил нас к себе домой, и мы там немного все-таки поиграли, и опять хорошо выпили, и поговорили... Мне кажется, что некоторые русские становились еще большими кисами, когда другие русские показывали себя такими некисами... Вот такое, в целом, впечатление.

Он вернулся на сцену, подмигнул нам и снова бурно взялся за клавиши в своем, как сейчас говорят, “фанкующем стиле”. Мы стали делиться джазовыми воспоминаниями. Илья Суслов рассказывал о первых концертах в кафе “Аэлита” на Садово-Самотечной. Боевое было местечко в начале шестидесятых годов. Стерто с лица земли бульдозерами. Алик Гинзбург сказал, что он недавно сфотографировался с Уилисом КанOVERом. Здесь, в Америке, его мало кто знает, а ведь для нас-то это был просто кумир, думал ли я, сидя в Потьме, что когда-нибудь сфотографируюсь с человеком, который еще в юности из невысказанного далека глубоким бархатным голосом объявлял каждую ночь “Час джаза”?

Почему американский джаз после войны больше всего развился в двух славянских коммунистических странах, Польше и СССР? Один музыкант в Москве считал, что славянину легче понять, чем кому бы то ни было, музыкальную идею негра и в целом формулу джаза как постоянного раскрепощения...

Джаз приходил к нам с Запада, он читался в контексте какой-то смутной свободы. Он был запретным плодом. Играть и любить джаз было, кроме наслаждения, еще и сопротивлением.

Мы вспомнили тех, кого наш новый приятель Брайант назвал “русскими кисами”. Стыдно признаться, но наш интерес к тому, что играли они или приезжающие поляки, был острее, чем к первородному “фирменному” американскому джазу, который нынче для нас просто, так сказать, “дверь по соседству”. Может быть, общими были только позывные, а потом шла своя музыка, так называемый славянский джаз?

Кончив свою программу, Брайант вернулся к нашему столу. Мы вспомнили, что неподалеку в отеле “Пятый сезон” играет в пиано-баре русский его коллега Борис, такая же, как мы все, “эмигрантская сволочь”.

— Мечтаю с ним познакомиться, — сказал Брайант. — Пойдемте туда.

Мы поднялись на поверхность, прошли пару кварталов и вошли в шикарный отель. Из глубины холла доносились очаровательные звуки. В России Борис был заядлым авангардистом, но играть свой авангард там он не

мог, вернее, мог, но редко. Слушателей-то было навалом, спрос явно превышал предложение, но власть авангарда не поощряла. Здесь власти наплевать на авангард, однако, увы, здесь как раз наоборот — предложения превышают спрос, своих авангардистов навалом, вот и приходится Боре играть популярные мелодии, создавать для гостей отеля приятственный фон. Неплохо, в общем-то, зарабатывает.

Едва мы вошли и увидели его огромную полуседую гриву, как Брайант воскликнул:

— Я его знаю, фолкс! Это один из тех, кого мы тогда встретили в России, один из симпатичных кис!

Нынче джаз хоть и жив, но задвинут куда-то (а именно: в надлежащее ему место) в уголок американской жизни гигантским коммерческим роком.

Любопытно, что джаз каким-то образом умудрился не подчиниться требованиям дурного вкуса, тогда как рок почти полностью адаптирован развзной, невымытой, мастурбирующей толпой.

Так же как Элвис Пресли сменил когда-то свою молодую кожаночку на дурацкий наряд какого-то африканского марксистского царька, так и коммерческий нынешний рок, предав свинговую эстетику "Битлз", разукрасился блестками, мушечками, перчаточками, оборочками, кружевами, набрал в свой состав бесконечное число бездарностей с огромными губищами, с квадратными задами, с дурной кожей, с жалким вокалом и бездарной хореографией, а самое главное, с полным отсутствием юмора... тычет указательным пальцем в лицо кейфующей от плебейского вкуса толпы, похабным речитативом что-то тупое вопрошает...

Джаз между тем, так и не став достоянием плебса, скромно, но бодро живет в стороне от этой толпы, и для нас, беглецов с Востока, как ни странно, он часть нашей восточной ностальгии.

ШТРИХИ К РОМАНУ "ГРУСТНЫЙ БЕБИ"

1985

Разгар лета. Влажность сто процентов. Наш герой с американской девушкой садится в такси.

Девушка — хорошо тренированное создание лет сорока, поток волос, сокровищница зубов, то ли княжна TV network, то ли баронесса военно-промышленного комплекса. "Ха-ха-ха, дайте-ка я вам галстук развяжу! Если до вас дойдут слухи о моем распутстве, не верьте: я только лишь люблю мужчинам галстуки развязывать".

В доме, где они только что познакомились, произошла кража. Украдена бутылка.

— Этого принципа алкогольной клеptomании, моя дорогая, я придерживаюсь еще со времен строительства Академгородка в Новосибирске. Хотите пососать?

— Вы всегда так бесцеремонны со знаменитостями?

— О, нет-нет, только в эмиграции!

Шофером в ту ночь у них оказался Луи Армстронг. Он печально смотрел в зеркальце на два хохочущих рта, один первоклассный, другой сомнительных качеств. Откуда такие?

— Мы с русской парти возвращаемся. Вам приходилось, Луи, посещать такие?

Мистер Армстронг вздохнул всеми альвеолами:

— I've a Russian party in my soul...*

Из непригодившегося набора эпитафий:

“...Северо-Американские Штаты обращают на себя внимание людей, наиболее мыслящих... Америка спокойно совершает свое поприще, доньше безопасная и цветущая... гордая своими учреждениями. Но несколько глубоких умов... занялись исследованиями, и их наблюдения возбудили вновь вопросы, которые полагали давно уже решенными...”

А.Пушкин

“...Америка представляет образ демократии как она есть — со всеми ее недостатками и достоинствами, предрассудками и страстями... Эта проблема касается не только Соединенных Штатов — но и всего мира...”

А.Токвиль

“США — гл. страна соврем. капитализма... Экономика США подвержена циклическим кризисам... После окончания вт. мир. войны империалистич. круги США развернули “холодную войну” против СССР и др. социалистич. гос-в... В условиях изменения соотношения сил в мире, благодаря гл. обр. росту могущества СССР, США вынуждены были пойти на ряд шагов в направлении нормализации...”

Советский энциклопедический словарь

“...США могут оказаться последней крепостью капитализма...”

В.Маяковский

“...Мы все хвалили (в Америке)... Раз мы едем, а человек полез в мой карман, вынул мою головную щетку и стал причесываться; мы только переглянулись...”

Ф.Достоевский, “Бесы”

1985

Думая однажды о премиях и наградах, полученных его сверстниками и коллегами, которых он почему-то полагал ниже себя, ГМР не без раздражения окинул стены своего жилища. Пустовато.

Вскоре заказана была рамочка красного дерева, и квартира украсилась высшей наградой нашего персонажа.

* Русская вечеринка у меня в душе.

Указ Президиума Верховного Совета СССР

Учитывая, что NN (т.е. ГМР) систематически занимается враждебной Союзу ССР деятельностью, наносит своим поведением ущерб престижу СССР, Президиум Верховного Совета СССР постановляет:

На основании статьи 18 Закона СССР от 1 декабря 1978 г. "О гражданстве СССР" за действия, порочащие высокое звание гражданина СССР, лишить гражданства СССР NN (ГМР) N-ского года рождения, уроженца города N, проживающего в США.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Л.Брежнев

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М.Георгадзе

Примечание автора:

Не следует отождествлять эту награду, полученную персонажем, с аналогичной, полученной автором. Первый порочил высокое звание и наносил систематический ущерб, действуя на театральных подмостках, второй — в сфере словесности.

1985

Есть одно явление, ускользнувшее от вездесущей статистики: двуязычие многих собак, зарегистрированных Американским обществом собаководов. Вот, например, наш щенок. При слове "собака" он немедленно бросается к окну; при слове "dog" — та же реакция.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Зимой 1968 года в Крыму, сидя на террасе, висящей над верхушками кипарисов, и предаваясь восхитительному зимнекрымскому пьянству, трое приятелей решили написать "шикарный шпионский роман", советский вариант приключений Джеймса Бонда с красотками, погонями, ЦРУ, КГБ, с различными этническими кулинариями и, разумеется, с морем разлитым виски, джина, водки и шампанского.

Бикфордов шнур воображения, как витиевато они выражались, должен был ветвиться через Россию, Францию, Вьетнам, ну и, конечно же, через Соединенные Штаты Америки.

Из трех соавторов двое (поэт Г.П. и прозаик В.А., то есть ваш покорный слуга) в Америке никогда не были. Зато третий, автор немало уже числа приключенческих книг О.Г., был, так сказать, настоящим американцем, знал английский язык не хуже своего родного и нередко, закрыв глаза, со-

вершал мысленно прогулки по Пятой авеню, стараясь не пропустить ни одного питейного заведения, где когда-то сиживал то ли в воображаемом, то ли в реальном шпионском качестве.

В начале работы одному из соавторов, а именно мне, почему-то пришло в голову написать сцену на ипподроме. На американском, разумеется, ипподроме. Конечно, я не имел ни малейшего понятия, какие в Америке ипподромы, где они расположены и существуют ли они там вообще. Направился к нашему знатоку: найди мне, пожалуйста, какой-нибудь подходящий к случаю ипподром в Америке. Он открыл свои справочники. Вот тебе, изволь, самый подходящий — ипподром Лорел, штат Мэриленд.

...Могло ли мне тогда, в феврале 1968 года, на склоне Крымских гор, прийти в голову, что я буду по меньшей мере дважды в неделю проезжать мимо этого самого ипподрома по дороге из дистрикта Колумбия в Гаучерколледж, что на окраине Балтимора?

Не так давно в журнале “Комментари” некая писательница Фернанда Эберстадт (не исключено, что приятельница Бернадетты Люкс) представила общественности ядовитый разбор моего романа “Ожог”, сопровождаемый еще более ядовитым жизнеописанием автора.

В лучших традициях советской литературной “коммуналки” Фернанда поведала читателям некоторые неблагоприятные факты моей биографии и представила на обозрение неоконсервативной общественности мои сомнительные политические склонности и отвратительные черты характера.

Здесь, разумеется, не место говорить подробно ни об обвинениях миссис Эберстадт, ни о том, что ее писания поразительно отличаются от привычного стиля американской журналистики и напоминают скорее словесный блуд иных моих соотечественников — доброжелателей как из эмигрантской, так и из советской среды; уместно, может быть, лишь остановиться на одном эберстадтовском пункте.

После того, пишет она, как Аксенов в 1963 году лицемерно покался в “Правде”, он в течение двадцати лет наслаждался благоволением Кремля и непрерывными поездками за рубеж, в том числе в 1975 году в Калифорнию, а именно (очевидно, в соответствии со своими анархическими склонностями — В.А.) в пресловутый Беркли.

Тут очень много неправды, которую можно отнести и за счет неведомых мне “русских консультантов” Эберстадт, а можно, впрочем, оставить и на ее совести. Во-первых, с 1963 года (“покаяние”) до 1980-го (высылка и лишение гражданства) двадцати лет явно не прошло, во-вторых, в течение этого периода я, по крайней мере три раза, на многолетние сроки становился “невъездным”; даже в Польшу тогда не пускали, гады!

Что касается поездки 1975 года в Калифорнию (в UCLA, а не в Berkeley), то за эту поездку я “бился” едва ли не целый год, писал бесконечные заявления, ходил на приемы к различным “бульжникам” и даже инсценировал что-то вроде истерики в секретариате Союза писателей с крика-

ми: “Я вам не крепостной мужик!” Так или иначе — каюсь, Фернанда! — я и в самом деле провел тогда два месяца в США и по приезде написал книгу американских очерков “Круглые сутки нон-стоп”.

Любопытно мне было сейчас, когда я завершаю свою вторую книгу об Америке и нахожусь в преддверии своего “американского романа”, прочитать те очерки 1975 года. Забавно прежде всего то, что в них, напечатанных в советском журнале “Новый мир”, не содержится почти никакой критики американской жизни.

Весна 1975 года в Калифорнии была для меня, может быть, самым беззаботным временем моей — прости еще раз, Фернанда! — хлопотливой и суетной жизни. Дважды в неделю семинар на родном языке, а потом Санта-Моника-Бич, “многопартийная система”, всякого рода шлянья — как будто молодость вернулась. Может быть, эта беззаботность и сказалась прежде всего на карнавальном и — Фернанда! — конечно же, гедонистическом характере книги “Круглые сутки нон-стоп”, а может быть, тут что-то присутствовало и посерьезнее, а именно нежелание чужака замечать изъяны здешней жизни.

Подсознательно я как бы отшвыривал стереотипы многолетней антиамериканской пропаганды и, изображая волшебную карнавальную Калифорнию, как бы бил по “социалистическому реализму”. Как еще я мог писать тогда о самом западном Западе, после которого снова уже начинался Восток? Вся моя критика тогда направлялась в адрес родины, что и окончилось, как уже было сказано, потерей родины.

Сейчас я уже почти американец. Я привык к тому, что меня раньше раздражало, например, к запаху попкорна в кинотеатрах, к слабому американскому кофе, к тому, что футболом называется не футбол, я привык ставить месяц впереди числа, говорить “у-упс” вместо “оп” и “ауч” вместо “ой”, потряхивать кистью правой руки, будто обжегся, если что-нибудь непомерно дорого... Будучи американцем, я уже свободен от безоговорочного восхищения, я вижу не только светлые окна, но и затхлые углы моего нового дома, будучи им “почти”, я все-таки временами почесываю себе башку: а не вышвырнут ли меня и отсюда за критиканство?

Вот Фернанде Эберстадт мое ворчание явно ведь не нравится. Сидит, дескать, в Вашингтоне какой-то развязный анархист, бывший “комсомольский хиппи”, прохлаждается, да еще и денежки получает за критику американской массовой культуры.

Консервативная дама, впрочем, не высказывает своих соображений по поводу моего правового положения в этой стране, но вот К.-Е. Матиас из Атенса в ответ на мою статью в “Нью-Йорк таймс мэгэзин” пишет: “...мы не выбросим Аксенова из нашей страны, но мы ответим более суровым возмездием на его мрачные размышления о нашей художественной жизни, мы будем игнорировать их!” Это заявление дает мне повод предположить, что, если Матиас вдруг смягчится и воздержится от “более сурового возмездия”, меня все-таки выбросят.

Боги! Куда же мне тогда деваться, “куда нам плыть”, ведь дальше вроде и некуда, ведь Америка же это вроде как бы last frontier*, на которой предполагалось отбиваться до конца?..

“Круглые сутки нон-стоп” были напечатаны в Советском Союзе на пике детанта. Теплые капли разрядки шлепались на плечи государственных деятелей, в космосе соединились серпасто-молоткастый и звездно-полосатый корабли, и полковник Леонов, вопреки ожиданиям, не попросил в американском салоне политического убежища.

Теперь таких книг об Америке в Советском Союзе не печатают. В последние, брежневские, андроповские и черненко-ские годы в советской прессе воцарилась одна лишь черная ложь. Альтернативность американского образа жизни советскому социализму выводит из себя вершителей “исторического прогресса”.

Примитивность лжи, очевидно, вполне устраивает заказчиков: новых умов она не заморочит, а призвана заморочить дальше уже замороченных, еще плотнее укрепить в их сознании знак Соединенных Штатов как извечного и окончательного врага.

В принципе та же идея, хотя и выраженная более изощренным способом, живет в антиамериканских высказываниях определенной советской литературно-бюрократической группы, известной теперь под условным наименованием “национал-большевиков”.

Для выражения своих идей “нацболы” часто используют жанр литературной критики. В этом поле нередко старается поэт Станислав Куняев, квазирусский (хоть и с татарской фамилией) враг мирового космополитизма. Бдительно он выискивает по страницам советской прессы мельчайших блох американофильства и космополитизма. Постоянное и пристальное внимание С. Куняева приковано к собрату по советскому поэтическому цеху Андрею Вознесенскому, он подкарауливает каждый неосторожный шаг этого “абстрактного гуманиста”. Последний в поисках метафоричности, достойной в самом деле лучшего применения, сравнивает Россию и Америку с двумя ладонями, обхватившими лоб планеты.

“Две страны, две ладони тяжелые, предназначенные любви...” Легкий морозец политической пошлятинки пробегает по коже при чтении этих строк, однако не это волнует “нацбола” Куняева. Вознесенский виновен в том, что, оказываясь, “предъявляет равный абстрактно-гуманистический счет разным системам”, из которых Америка “олицетворяет в сегодняшнем мире культ насилия и террора”, а Россия, очевидно, олицетворяет противоположное, то есть культ терпимости и либерализма. Две такие ладони вместе быть не могут, считает Куняев. Планета, стало быть, обречена на одноладонную любовь, б-р-р...

Даже и в лучшие свои времена Америка, продолжает “нацбол” Куняев,

* Последнее пристанище.

не держала среди своих лозунгов идею любви, но культивировала насилие и захват. Вот вам и пример — судьба коренного, то есть индейского населения. В российской истории, стало быть, подобных примеров не найдешь, а завоевание Сибири, Средней Азии, Кавказа, Прибалтики, многочисленные разделы Польши были лишь распространением российской поглаживающей ладони.

Другой советский поэт того же направления Игорь Шкляревский в декларативной поэме тоже не обходит Америку своим вниманием. У него все-таки еще хватает совести вспомнить добрым словом американскую продовольственную помощь во время войны (обычно по этому поводу изрыгается лишь сарказм — мы-де воевали, а они-де только свиную тушенку давали), но и он предъясняет Америке какой-то, самым мягким образом говоря, дурацкий и наглый счет.

Америка, ты богатая,
 На бабах ты не пахала,
 Не воевала ты на своей земле,
 Наше горе твоим не измеришь.
 Сегодня ты все имеешь,
 Только — воображения хочу тебе пожелать:
 Нас не будет, и вам не бывать.

К американскому “богатству” “нацболы” относятся так, будто оно свалилось на США с неба, а не было создано колоссальным трудом народа, энергией и предприимчивостью дельцов, пафосом строительства принципиально нового в истории цивилизации сильного, но либерального общества. Им кажется, что при раздаче “богатства” матушка Россия была просто-напросто несправедливо обделена, а вот Америка при дележе нахапала.

Не лучше ли было бы не злопыхательствовать на чужое богатство, а всерьез подумать о своей бедности: откуда она?

Объявив древнее дело грабежа и разрухи “величайшим событием в истории человечества”, задушив собственную демократию в самом зародыше, беспрекословно подчинившись самой лживой и самой неумолимой власти, приняв самую идиотскую систему экономики, став диким пугалом всей земли, они не хотят даже задать себе вопрос: “Кто же пашет на русских бабах?”, а вот с русской наглостью полаять через забор на богатого соседа — за милую душу!

В недостатке воображения, что здесь как бы предполагается Шкляревским, содержится и априорная агрессивность, нацеленность на уничтожение оппонента. Поэтическое же воображение “нацболизма” не выходит за пределы им же созданного обмана.

Вообще в отношении Америки там, за Беринговым проливом, бытуют мифы собственного изготовления редкой устойчивости. Даже и высококолобые интеллектуалы “нацболизма” пребывают (не исключено даже, что и

искренне) в их плену. Для того чтобы расшевелить в данном случае “американское воображение”, не мешает бросить взгляд на то, как эти идеологи представляют себе интеллектуальную и литературную ситуацию в Соединенных Штатах.

Согласно “нацболовской” классификации (классификация — это главная одержимость марксизма всех времен; иной раз кажется, разреши ему все проклассифицировать, и он оставит человечество в покое) — итак, согласно этой классификации культурные силы США делятся на две основные группы: “космополиты” и “национально мыслящие”. Нетрудно догадаться, к какой группе направляет “нацбололизм” свои симпатии.

К “национально мыслящим” критик Селезнев относил таких писателей, как Фолкнер, Фрост, Колдуэлл, Стейнбек, Уоррен, Уайдлер, Гарднер. Критик Петр Палиевский, что слывет вожак “нацболовской” теоретической мысли, считает Фолкнера чем-то вроде американского Шолохова, хотя и в несколько ухудшенном варианте, ибо он “предлагал не больше, чем мог предложить: старые человеческие ценности”, тогда как Шолохов был выше гуманизма, этого наследия “устаревшего девятнадцатого века”.

Все-таки Фолкнер хорош как представитель глубинки, истинно народной жизни и, таким образом, как антипод “космополитам-авангардистам” типа Джойса. Выстраивая свою схоластическую схему, дьячки “нацбололизма” объявляют суть современного конфликта: космополиты против России, космополиты против Америки, космополиты против мира, космополиты против самого бытия.

В американской культурной жизни, по мнению другого кита “нацбололизма” Кожина, существуют сейчас “здоровые возрожденческие” силы и “темные силы распада”; к последним относятся “постмодернисты”. К постмодернистам же, злокозненным, что язвительно противопоставят “истинным ценностям американского народа”, московский мудрец относит народ такого типа: Ален Гинзберг, Джек Керуак, Лоуренс Ферлингати, Курт Воннегут, Джером Сэлинджер, Джон Апдайк, Филип Рот, Норман Мейлер, Питер Брукс, Джерри Рубин, Джеральд Дворкин, Пол Гудман, Дениз Левертов, Карл Шапиро. Процент еврейских имен, как мы видим, в списке “темных сил” весьма высок; так у “нацболов” всегда.

В том факте, что многих писателей из этого списка в шестидесятые и в семидесятые годы публиковали в СССР, Кожину видится некое звено мирового космополитического заговора. Люди, публиковавшие их, делали вид, что имеют дело с бунтарями против капиталистического общества, а на самом-то деле их бунт направлен “в равной степени — а подчас даже в большей — против социалистического образа жизни”.

Постмодернистский бунт, по Кожину, являлся орудием “заправил мирового империализма”, “Бельдербергского клуба (?) и ЦРУ” и способствовало выработке зловещей политики Рейгана.

Чуть-чуть споткнувшись на “неоконсерваторах” — ведь они, настоящие “враги социализма” и друзья президента Рейгана, на дух не переносят постмодернистов, — Кожин пускается в их перечисление: “Норман Под-

горец, Ирвинг Кристол, Роберт Элтер, Чарлз Френкель, Дэвид Рисмен, Натан Глейзер” — ах, как будоражит эндокринную систему “нацбола” само звучание этих имен! — и тут с легкостью и (согласимся) полной естественностью приходит к выводу: и те, и другие являются антикоммунистами, космополитами, действующими в полной стачке друг с другом, сначала одни, потом другие, ибо “перед нами две стадии (!) развития одного литературного и, шире, идеологического явления. Цель и на той, и на другой стадии одна: превратить американский народ в послушное орудие международного империализма и сионизма”.

Последнее слово кожиновской аргументации нам следовало бы подчеркнуть трижды, в нем содержится корневая идея всех этих дубовых “нацболовских” построений: “Бей жидов, спасай Россию и Америку!” Главный враг нацизма любой окраски остается все тем же.

Любопытно, что в этих невежественных бреднях впервые как бы проявляется какой-то смутный призыв к “здоровым силам Америки”. Раньше предполагалось, что всякая американщина должна быть искоренена ходом исторического прогресса, сейчас у “здоровых сил” появилась слабая, но все-таки надежда на выживание и даже на сотрудничество в борьбе с “темными силами распада”; им нужно лишь отбросить “старые человеческие ценности” да вывернуться антисемитизмом, а потом-де договоримся.

Невежество “нацболизма” в оценке американской культурной ситуации, возможно, является идеальной канвой для примитивного рисунка модернистского, космополитического и в конечном счете еврейского заговора. Выделив почему-то покойного Джона Гарднера в качестве символа “здоровых, национально мыслящих сил”, Кожинов не может даже удержаться от намека, что трагическая гибель писателя была не случайна, что за ней можно увидеть “поистине страшный смысл”, разглядеть зловещие тени постмодернистов и неоконсерваторов.

Невежество, мифотворчество и вульгарность в оценке американской ситуации, увы, не являются достоянием одних только “нацболовских” умников. Официальная советчина (может быть, даже и специализированные по Америке соответствующие учреждения и личности вроде спецкоров и обозревателей) также не очень-то ясно представляют себе американскую жизнь. Охотно берутся на веру самими же изобретенные стереотипы лжи. Массовый агитатор, говоря об американской прессе, употребляет выражение “машина американской пропаганды”, но даже такой эксперт, как Георгий Арбатов, сдается мне, не понимает степени независимости здешней прессы от правительства.

Придушив у себя в стране всякие открытые проявления инакомыслия, советские аппаратчики хотят и Америку представить тоталитарным царством, а главное, они сами хотят поверить в это, всячески избегая мысли о том, что если бы меру непокорности, нужную в СССР для определения “антигосударственности”, можно было приложить в США, “антигосударственным” оказалось бы едва ли не все американское население.

Среди советских чинов в моде высокомерное презрение в адрес Соединенных Штатов, идущее, без сомнения, от определенного комплекса неполноценности. Это высокомерие, между прочим, — сравнительная новинка стиля. Когда-то на Америку (хотя бы в производственном смысле) равнялись; Ленин призывал сочетать “русский революционный размах с американской деловитостью”, всю жизнь слышались призывы из-за кремлевской стены “догнать и перегнать Америку”, Хрущев даже отмерил для этого дела двадцатилетний срок и к этому времени как раз и приурочил построение вождя коммунизма. После падения Сайгона, однако, Америку как мировую силу как бы уж и списали со счета, тогда-то и появился этот стиль взгляда свысока, разговора с темной презрительной ухмылочкой. (В скобках замечу, что этот стиль, который практикуется и сейчас, все-таки был в последнее время, а именно, сдается мне, после Гренады, несколько поколеблен.)

Вспоминается, как однажды на прибалтийском писательском курорте появился крупный цэковский чин, только что вернувшийся из Америки. Основательное брюшко товарища нависало над новенькими стоящими коробом джинсами Levi's, “молния” застегивалась только на полхода. На груди товарища висела американская камера “Полароид”. Время от времени он фотографировал свое полностью американизированное семейство и с довольной улыбкой превосходства над окружающими (большинство из которых никогда не видело в глаза полароидного чуда) держал двумя пальцами быстро подсыхающий снимок.

После обеда, за коньячком, он рассказывал писателям об Америке. Эта страна идет в ложном направлении... Презрительно выпяченная нижняя губа... У них кишка тонка... Смешок... Все, что они выдвигают, просто несерьезно... *Misleading and misled country**, добавлял он почему-то по-английски...

Пренебрежение силой Америки и вообще Запада весьма характерная (и очень опасная для всех) черта “нацболлизма”. С Европой вообще для них вопрос как бы уже решен — надо будет, сдуем, как пыль! Откровенно понацистски взирает на Европу новый мессия “нацболов” поэт Юрий Кузнецов.

Тем, “кто молод”, он предлагает уже сейчас снаряжать лошадей, “скакать во Францию-город, на руины великих идей”. Нет ни военных, ни нравственных преград — “нам едино, что скажут потомки золотых потускневших людей”!

“Только русская память легка мне!” — восклицает далее поэт и завершает пассаж соображением о том, что “чужие священные камни, кроме нас, не оплачет никто!”

Трудно не увидеть здесь “нацболовской” мечты о глумлении над разрушенной и поработенной Европой. Только зря готовит лошадок Кузнецов. Никто этих всадников с их крокодиловыми слезами во “Францию-город” не пустит, а сунутся, так получат такого леща, что копыт не сосчитают. “Нац-

* Впавшая в заблуждение и заблудшая страна.

болизм“ хоть и зловещ, но ублюдочен от рождения, и не только потому, что загода разгадан, но и потому, что опирается на дурную идеологизированную память, не понимает современного мира, не может оценить реальной мужской силы демократии, включающей и отменную мощь европейских армий, и, между прочим, сознание нескольких миллионов инакомыслящих русских.

Широко практикуется в этих кругах миф о том, что “американцы — плохие солдаты“, что они изнежены и декадентны. Этот очень опасный миф основан на чрезвычайно низком уровне знания американской психологии, на недооценке американских парней. Рискну заметить, что приведенные выше “нацболовские“ соображения об американских интеллектуалах, возможно, вполне соответствуют соображениям (если таковые вообще имеются) о мире американских стадионов и пивных салунов, о всех этих red necks, tough guys и прочих потребителях пива “Бадвайзер“, которые, собственно, и составляют костяк страны.

Америка в принципе не любит проигрывать. Американские парни во Вьетнаме не проиграли ни одного сражения. Эта война, увы, попросту оказалась полем внутриамериканского спора. Поводов для высокомерия у сов-аппаратчиков в связи с Вьетнамом нет никаких. Им лучше бы лишний раз сообразить, что у Америки есть все шансы, чтобы защититься от шантажа, что, разлетевшись на Америку, вечно на ней расплющивались — слава Богу! — разные нахрапистые трутни с казарменными идеями “самых передовых обществ“.

Далее следуют соображения “единства“. Советское общество едино, американское общество раздроблено, то есть как бы слабее. В этой системе пропущен один немаловажный момент. В так называемой раздробленности Америки живет ее магнитная сила, сильнейшее желание ее защищать.

Если бы Америка была “едина“ по советскому или иранскому образцу, ее защита не стала бы духовной целью современного человечества. Нужна не только решимость, но и страстное желание защищать Америку с ее многоликостью, ее разбродом, ее идейными и эстетическими шатаниями, защищать ее гедонизм, ее щедрость, ее этническую пестроту и англо-шотландский фундамент, ее неравенство, ее технологию, ее стихийную контрреволюционность, в которой до сих пор живет надежда на новую либеральную пору цивилизации, ее экуменизм, ее капиталистов и ее бродяг, ее суперстарз и ее фермеров, профсоюзников, журналистов, политиков, феминисток, священников, проповедников, культуристов, гомосексуалистов, лесбиянок, сектантов, гадалок, постмодернистов, борцов, уличных музыкантов, игроков казино, беглецов с Востока, панков и хиппи, манекенщиц, киношников, биржевых брокеров, девиц “гоу-гоу“, налоговых инспекторов и даже ее агентов по продаже недвижимости...

Я пишу эти строки во время очередного бейрутского кризиса, когда бесноватые муллы и ублюдочные террористы пустились во все тяжкие, чтобы

унизить Америку, а значит, унизить все законы Эллады, заповеди христианства, кодексы рыцарства, все, что еще осталось достойного защиты. Будь я молод, я бы записался сейчас в американскую морскую пехоту, чтобы провести какое-то время своей жизни в прямой борьбе за свободу.

Называя лопату лопатой, я скажу, что в наши дни антиамериканисты, даже и такие, как писатель Габриэль Гарсия Маркес, являются врагами свободы и друзьями мирового концлагеря, хотя парадокс Америки заключается в том, что она должна защищать и своих "антиамериканистов".

Дождь в Джорджтауне, все замедленно, машины наплывают одна за другой в ритме долгого дождя, почти элегически мы движемся в своем "беби-бенце" в поисках местечка, чтобы пришвартоваться, мимо маленьких домов с медными ручками дверей, с фигурками уток и фламинго на крыльцах, с окнами, за которыми видны картины, камин и лампы, мимо этнических ресторанчиков и маленьких лавок, демонстрирующих фокусы обувной, табачной, мебельной и прочих элегантностей и экстравагантностей, вдруг слегка вздымаемся, оказавшись на мостике через канал, где еще уцелели деревянные шлюзы — в конце улицы в сумерках серой полосой прокатывается Потомак, — появляется расплывающийся красный светофор, обзор закрывается складками плащей, разноцветными клиньями зонтов, мелькают два-три смеющихся лица, ритм внешнего движения вдруг совпадает с блюзом внутримашинного радио...

"Ах, американский дождь..." — вздыхает наша московская приятельница. Третьего дня мы случайно натолкнулись на нее возле памятника Линкольну. "Вот, посмотри, — сказала Майя, — на ступенях сидит женщина, как две капли воды похожая на Галю Груздеву".

В первые годы после эмиграции, надо сказать, перед нами то и дело мелькали в американском калейдоскопе знакомые московские лица: то сенатор какой-нибудь на газетной странице оказывался похож на Женьку Р., то бартендер в ресторане — на Витьку Е., то банковская кассирша смахивала на Ирину Д. и т.д. Даже в чертах баскетболистов на экране TV нам виделись наши прошлые Жорки, Таньки, Светки, Мишки.

Двойник Галки Груздевой встала и оказалась Галкой Груздевой. Оказалось, что большевики вдруг расщедрились и отпустили ее в Америку, и вот именно в Вашингтон, на научный конгресс. Нет, она нам не звонила, у нее и телефона нашего не было. Ну, конечно, она могла бы достать наш телефон в Москве, спросить у друзей, но не спрашивала, боялась, трепетала над своей визой, как над фарфоровой: как бы не кокнуть, а вдруг отберут, если узнают, что с Аксеновыми дружна.

И вот такая встреча. "Я о вас думала, а вы вдруг материализовались, нет-нет, я теперь не боюсь, ведь это уже Америка". В дождливые сумерки мы едем вместе ужинать в Джорджтаун. Она, не отрываясь, смотрит в окно на брызги дождя и, очевидно, замечает гораздо больше, чем мы, в окружающей столь влажной действительности. Немолодая женщина, ученый-биолог, умная и уже основательно усталая, как и все немолодые советские

женщины-биологи. Она впервые в Штатах и, кажется, впервые вообще на Западе.

Вдруг — уд! ча! Какой-то бравый мальчик бодро подходит к своему “камарро” — значит, мы сможем встать на его место. Я открываю окно. Are you leaving, sir? Он улыбается. Your luck!* Галя смеется. “Мне все еще забавно, что вы разговариваете по-английски”. В самом деле, забавный образ жизни, соглашаемся мы: внутри ты говоришь на своем языке, открываешь дверь и оказываешься как бы в другом составе воздуха.

...Мы ужинаем в китайском ресторане. Наша приятельница разглядывает других едоков, вполне обычный подбор джорджтаунских dining parties**.

— Знаете, ребята, я иногда думаю, — говорит она, — что американцам, наверное, гораздо труднее умирать, чем нашим людям.

— Ты думаешь, здесь мало беды?

— И все-таки... — она вздыхает. — Здесь, может быть, не меньше драм, но меньше тоски, худосочия, унижения. Жизнь здесь человечнее, из нее уходит труднее, чем из нашей...

— Однако они не знают ведь другой, для них эта жизнь вполне обычна, они не помещают себя в ту жизнь, которую ты, Галя, столь метафорически называешь “нашей”...

Апрельским полуднем (так и хочется сказать “афтернуом”) я гуляю с нашей собакой в Рок-крик-парке. В этой его части нет ничего культивированного, возникает иллюзия леса, хотя по берегам каньона в десяти минутах ходьбы располагаются иностранные посольства. Ручей, тропинка, склоны, кусты орешника и вишни, стволы огромных дубов, каштанов и кленов.

Мы одни. Ушик хлопотливо что-то выискивает в камнях и траве, бросает задними лапами прошлогодние листья. Полное отсутствие ветра. Все неподвижно во всем объеме леса и неба. Рассеянный серый свет. Крутой склон прилегающего к каньону парка “Дамбертон оакс” в полном цветении: все оттенки розового перемешаны с пятнами яркой желтизны и пучками белого, и все пронизано нежнейшей зеленью. Я долго смотрю на этот цветущий склон, и вдруг меня посещает уверенность в том, что это не что иное, как душа моей недавно скончавшейся в Казани девяностодвухлетней тетки Ксении.

Она умерла полгода назад, но я узнал об этом только за неделю до этой встречи. Письма из Казани почти не доходят, телефонные звонки из Вашингтона, думаю, поднимают по тревоге полный состав местного ГБ.

Сестра моего отца, она росточком не доходила ему до плеча, некрасивая, нос картошкой и удивительно голубые глаза. Муж ее погиб, господи, еще в первую мировую войну, и с того времени она была одинока, если не считать оравы чужих детей, которых ей, поколение за поколением, пришлось воспитывать.

* Вы уезжаете, сэр?... Вам повезло!

** Дружеских обедов.

Я оказался в ее доме после ареста родителей пятилетним детдомовцем, и она воспитывала меня до шестнадцати лет, пока я не отчалил в свое магаданское юношество, к ссыльной маме. Во время войны в казанском доме остались одни женщины и дети. Чтобы прокормить всю ораву, тетя Ксения отпиралась и в дождь, и в стужу на местную "барахоловку". Она торговала там чужими вещами и получала с продажи какой-то процент. Дети ждали у окна ее возвращения. Вот она появляется сквозь пургу, кургузая, маленькая, тонкие губы упрямо сжаты. Иногда она приносила краюху хлеба, луковицу, иногда пару килограммов картошки, иногда ничего.

Вернувшись после десятичасового стояния на рынке, она рубила сучковатые дрова — ее натужные выдохи, от которых нам всем становилось стыдно, — варила еду, иной раз устраивала общую баню.

Запомнилась сцена. Я стою в корыте. Она мне трет немисливо грязную ногу мочалкой, потом отстраняется, как бы любящая результаты своего труда, и говорит: "Ну, вот, сравни теперь ту и эту, какая же лучше?" Мы оба смеемся. Счастливейший момент детства — тетка меня любит!

При жизни о тете Ксении говорили: "У нее большая душа". Встретив ее в цветении склона "Дамбертон оакс", я увидел, какая это была спокойная и мирная красавица.

Большевики изгнали меня с моей родины, отрезали путь к дорогим могилам, однако души витают вне их власти и встают перед изгнанниками в воспарениях американской земли.

ШТРИХИ К РОМАНУ "ГРУСТНЫЙ БЕБИ"

1985

Из дневника ГМР

Внезапно я обнаружил себя лежащим на ложе, жестковатость и малопружинистость которого вызывали странные ощущения *той* жизни. Это ощущение усугубилось пятном на стене, до странности похожим на то, что образовалось *там* в 1969 году, когда Виктория швырнула в меня банку с майонезом, но промазала, после чего в течение долгих лет это невыводящееся пятно служило мне доброй опорой: стоило только выразительно взглянуть на него, как Виктория прекращала спор и покидала комнату.

"К счастью, все это лишь капризы подсознания", — подумал я. В окно с прежней яркостью жарит солнце Бетховен-стрит, стоит одно из тех утр, не таких уж редких *здесь*, когда кажется, что за ночь мир переменялся к лучшему или уж во всяком случае не сподличал в очередной раз — никто не взорван, никто не похищен.

Если только я сам не похищен. Будто похмельная спазма прошла по коже, показалось, что откуда-то хоть и стороной, но вполне отчетливо прошла фраза "нарастает темп уборки урожая, труженики полей по достоинству оценили меткие замечания товарища Горбачева".

Как обычно, большим пальцем левой ноги я включил телевизор. От сердца отлегло: на экране оказался Брайант Гамбл. Он хоть и сказал по-рус-

ски “доброе утро”, но все-таки с *нашим* акцентом. Просто Эн-би-си ведет очередную “живую” программу из Москвы, вот *наш* парень и научился немного вякать *по-ихнему*.

На кухне не оказалось ни пива, ни кофе, чтобы *поправить голову*. Снова взяла оторопь: это ведь тоже *оттуда*, это выражение, *здесь-то* давно уже муки похмелья в отставке.

Отправился на угол в магазин “7-11” купить себе кофе. Бетховен-стрит выглядела странновато. Куда-то исчез филиппинец, торговавший с коляски “хотдогами” и мороженым, весь бизнес которого держался на людях, коим не с руки было пройти лишнюю сотню метров за тем же товаром в “7-11”. Вместо него стоял богато одетый узбек с золотым орденом Чойболсана на лацкане цэковского спинжака. Чего он тут стоит, к чему приценивается? Откуда вообще взялся этот персонаж среди нашей хипни? Ага, должно быть, просто член делегации “парламентариев”, вышел из “Хилтона” пробздеться, мечтает о девке...

А вдруг?.. Прошиб лошадиный пот. Влетаю в лавку. Сердце стучит, как лошадь. Цепляю со стенда свеженький “Пентхаус”, бодро себя смешком: интересно, какие тут сегодня лошади, какие ляжечки на обложечке? В зеркале вижу лошадиную загнанную рожу, в руке журнал “Советский экран”. Швыряется в глаза фраза передовицы “нынче вряд ли найдется в нашей стране человек, неверяющий себя решениями Апрельского (1985) Пленума ЦК КПСС...”

Неужели влопался? За ночь перевезен из *нашего* города в *их*, то есть в нашу *ту* из *этой* их, иными словами в эту вот прежнюю из той настоящей?

Что-то все-таки вокруг еще вращалось, подмигивало и предлагалось, продуктов и товаров было вокруг еще немало, однако не оставляло ощущение зыбкости и незаконности.

Надо срочно брать такси и мчаться куда-то. Если есть еще хоть малый шанс удержаться, надо его использовать!

Такси различных фирм пока предлагались в избытке. “Желтый кэб”, “Атлас”, “Пять звезд”, “Голубая вершина”... Выбираю почему-то без надписи на борту, но зато оливкового цвета и с шашечками. “Гони!”

Таксист сразу начал ругать правительство и делал это с провокационным упоением: хмыри, мол, аферисты, поганой, мол, их метлой! Парирую: “Если вам не нравится правительство, выбирайте другое!” Он радостно сверкнул цыганским глазом: “Помоги друг, достать произведения Солженицына!” Нет, этот номер не пройдет, не спровоцируешь! Начинаю мычать что-то вроде “этих превосходных полетов”, а получается генетически опротивевшее: “Мы красная кавалерия и про нас...” Машина останавливается у подъезда “Союза творческих союзов”. Вижу часовых с четвертой и второй буквами русского алфавита на погонах. “Куда ты меня привез, распиздяй?” — “Кажется, по адресу”, — отвечает раб, подавляя рыдания. “Нет, не выйдет, вези туда, где у меня еще остался шанс!” — “Куда? Где этот ваш шанс? Сами не знаете!”

...Площадь вздымалась брусчатым горбом и сплющивалась по краям

будто в широкоугольной оптике. Агарофобия окаймлена была клаустрофобией громоздящихся строений, все эти красные кирпичи и плиты шлифованного лабрадора, все эти зубцы, шпильки, козьи ножки карнизов, витые турбаны куполов, вся эта социалистическая Византия.

Нескончаемая очередь тащилась по краю площади и утекала в прямоугольную черноту. Предполагалась торжественность, но кто-то тихонечко жевал, кто-то, заглядывая в рукав, читал книжку. При полном отсутствии шансов люди все-таки не хотели даром терять времени. А может быть, каждый, как и я, лелеял последнюю надежду?

Из-за угла дома, похожего на сундук персидского царя, вдруг стали выползать круглый нос и крутой лоб “Боинга-747”. Кажется, это и есть мой шанс, нужно только пересечь площадь. Однако я не смогу этого сделать в одиночку — агарофобия сдует, как мотылька. Все-таки оторвался от вечной очереди, шатким шагом достиг вершины бугра и там закачался под ветром. На счастье, из башенных ворот вдруг появилась толпа авиапассажиров и зашагала ко мне, персон не менее трех сотен.

Они шли в ровном темпе, неся через плечо или в руках свои сумки, фотокамеры, туалетные ящички и брифкейсы, и прочее, то есть теннисные ракетки и клюшки для гольфа. Выглядели они как-то вразнобой — иные загорелыми и цветущими, будто прямо из Майами, другие бледными и задроченными, будто не иначе, как из Нью-Йорка. Одни шли по-простецки, едва ли не на босу ногу, другие — по всем законам клуба, одни беззвучно хохотали, демонстрировали сильнейшее возбуждение, будто только что освободились из бейрутского плена, другие шагали с сосредоточенной вяловатостью, словно возвращались из деловой командировки в Чикаго.

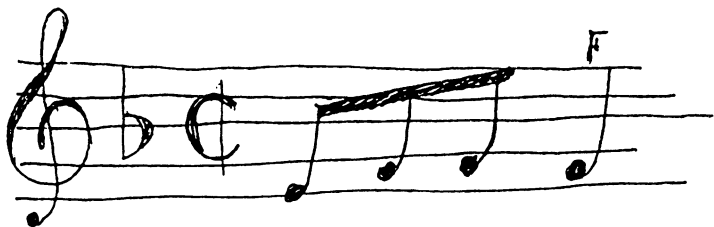
Вот вам два-три портрета. Милейшая толстуха-буфетчица в растягивающихся джинсах и в майке с надписью: “I’m sexy”; задниц таких не видел ни Крым, ни Кавказ. Трудящийся миллионер в длинной шубе из скандинавских мехов шествовал, потупив глаза, как всегда, немного смущаясь своего богатства, будто “роллс-ройс” среди “фольксвагенов”. Стройная женщина-“экзекьютив” с негативным выражением лица, но зато с великолепнейшим, до складочки, разрезом на юбке; смущало некоторое несоответствие — лицо намеренно отталкивало, нога намеренно привлекала. Длиннорукий выпуклоглазый малый в майке с надписью “Пума”, с изображением оной и с пучками рыжих волос, из-под майки выпирающих.

Вот к этим своим *согражданам* я попытался подвалиться, стараясь отвалить подальше от *соотечественников*, безучастно взиравших из очереди на агарофобический пейзаж. Шатко и неуклюже я шагал вровень с авиатолпой, срезая понемногу, осторожно сближаясь, стараясь не привлечь чрезмерной резкостью внимания сторожевых башен.

Вскоре я заметил, что слился с этой беззвучно шагавшей, жестикулирующей и артикулирующей толпой. Я оглядывался во все стороны, и мне казалось, что я вижу среди идущих немало то ли знакомых, то ли примелькавшихся лиц: своих соседей по “кондо”, “джогтеров”, шоферов грузовиков, патрульных, профессоров-либералов-консерваторов, стареющих хиппи,

двух поэтов и пяток киношников, дипломатов из Ди-Си, китайских кулинаров, директора, адмирала, писательницу романтического направления, адвоката и чиновницу, водителя "скулбаса", студентов-тройнецов и студенток-амазонок, пару кандидатов в президенты, болельщиков футбола, женских активистов, нищих, "яппи", фотографа с тремя котами, грабителей, священника, синклит русистов, джазменов, нудиста, Джейн Фонду, ЗАПа, Ромео, Меркуцио, няню... Неужто мой шанс сработал, а если это так, то почему бы и другим с того дальнего берега площади, из тех зубчатых теней не попытаться соединиться с идущими и не топтать вместе? "Не жди ответа, — сказал я себе, — ни на первый вопрос, ни тем более на второй".

Рыжий в майке с надписью "Пума" — мистер Флитфлинт? — вытянул губы и стал что-то насвистывать. Тут включился звук.



Июль 84-го, Вермонт — июль 85-го, Париж





ЮРИЙ ДОМБРОВСКИЙ

* * *

Так мы забываем любимых,
И любим не милых губя,
Так холодно сердцу без грима,
И страшно ему без тебя.
В какой-нибудь маленькой комнате
В далеком и страшном году
Толкнет меня сердце: “А помните...”
И вновь я себя не найду.
Пойду, словно тот неприкаянный,
Тот жалкий, растрепанный тот,
Кто ходит и ищет хозяина,
Своих сумасшедших высот.
Дойду до надежды и гибели,
До тихой и мертвой тоски,
Приди ж, моя радость, и выбели
Мне кости, глаза и виски!
Все вычислено заранее
Палатою мер и весов —
И встречи, и опоздания,
И судороги поездов.
И страшная тишь забвения,
И кротость бессмертной любви,
И это вот стихотворение,
Построенное на крови...

В следующем номере альманаха “Конец века” читайте стихи Юрия Домбровского (1909—1978 гг.), известного русского писателя, автора романов “Хранители древностей” и “Факультет ненужных вещей”, других прозаических и поэтических произведений.

Публикация подготовлена Кларой Домбровской-Турумовой и Игорем Штокманом.

СОДЕРЖАНИЕ

Письмо русского офицера к царю	3
Виктор СУВОРОВ. Аквариум	5
Николай ИВАНОВ. Рассказы	93
Саша ЧЕРНЫЙ. Потомки	155
Владимир МАКАНИН. Там была пара... ..	157
Игорь ИРТЕНЬЕВ. Елка в Кремле	174
Борис ВАСИЛЕВСКИЙ. Валдай	177
Анатолий ГОРЮШКИН. Стихи и баллады. Книга поэзии	207
Василий АКСЕНОВ. В поисках грустного беби. <i>Окончание</i>	209
Юрий ДОМБРОВСКИЙ. Так мы забываем любимых... ..	333

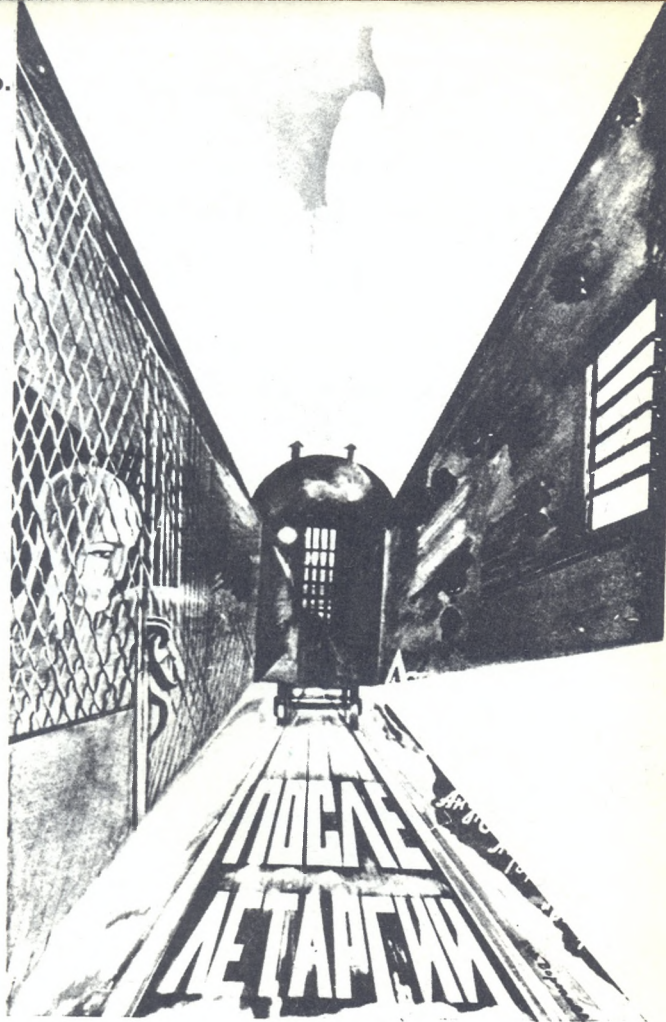
Технические редакторы

Григорьева О.И., Карпова М.Д.

Корректоры

Гальперина Н.Б., Звездочетова Н.В.,

Красильникова С.В.



Смотрите в видеосалонах страны!

Документально-художественный фильм "ПОСЛЕ ЛЕТАРГИИ", студия "Видеофильм". Авторы — братья Александр и Андрей НИКИШИНЫ, оператор Александр ГОРЕМЫКИН. "С успехом был показан в Австрии, ФРГ, Голландии, Японии, куплен в США. Притча о солдате Сакалаускасе проходит через весь фильм. Катит по стране спецвагон-тюрьма: зарешеченные окна, клетки с замками. Затравленные взгляды, страх, ненависть. Страх рождает ненависть, ненависть — насилие... Еще не было Тбилиси, Степанакерта, Ферганы, Баку..." ("Советская молодежь", 30 июня 1990 года).

Автор плаката — художник-монументалист, участник многих международных выставок Валентин ВОРОПАЕВ.